Лита Грей Чаплин ИНТИМНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

МОЯ ЖИЗНЬ С ЧАПЛИНОМ

Когда ей было двенадцать, Чаплин взял ее под свое крылышко, а в пятнадцать затащил в постель.

История нимфетки, ставшей прообразом набоковской Лолиты.

Шокирующие откровения жены Чарли Чаплина!

АНФ
альтернативная фикция

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — больше чем история несчастливого брака великого артиста с нимфеткой и последовавшего скандального развода. Это история непреодолимых искушений, страстей и пороков. Это летопись Голливуда 1920–1930-х гг. с портретами выдающихся людей того времени, от Греты Гарбо до Альберта Эйнштейна. Их характеры, отношения, судьбы в эпоху, когда кинематограф делал свои первые шаги, поразительно напоминают современный мир кино, шоу-бизнеса и светской жизни. Говорят, что история Литы Грей Чаплин легла в основу романа Владимира Набокова «Лолита».

- Лита Грей Чаплин
  -
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19
  - Глава 20
  - Глава 21
  - Глава 22
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

○ 6
○ 7
○ 8

Лита Грей Чаплин
Моя жизнь с Чаплином
Интимные воспоминания

Во время съемок фильма «Золотая лихорадка» я вторично женился. Поскольку от этого брака у нас два взрослых сына, которых я обожаю, не стану вдаваться в детали. В течение двух лет мы были женаты и пытались быть счастливыми, но дело оказалось безнадежным и не принесло нам в конечном счете ничего, кроме горечи.

Чарльз Чаплин

«Моя Автобиография»

За окном спального вагона чернела ночь, и свистел ветер. Я лежала в постели, уставившись в потолок тускло освещенного салона, и остро ощущала каждый звук — колеса, отбивающие ритм на стыках рельс, хищное завывание ветра, смех в соседнем купе, звук воды в ванной в трех шагах от меня.

Я тихо лежала, охраняя дитя внутри себя, когда пронзительный свисток паровоза заставил меня в ужасе сесть. Страх сжимал горло. Я так хотела, чтобы Чарли почувствовал мой страх и вышел из ванной обнять и успокоить меня.

Но он не шел. Дверь по-прежнему была приоткрыта, и вода по-прежнему текла и текла.

Ритмичные звуки льющейся воды продолжались. Я откинулась, уже менее напуганная, но теперь меня мутило, как это было все время, пока мы находились в Мексике.

Все было продумано так хорошо. Когда тайное бракосочетание и секретное пребывание в Эмпальме были завершены, казалось должно пройти и чувство горечи. Мама говорила мне: «Не надо винить его в том, что он бесится, дорогая. Ни один мужчина, когда его заставляют жениться, не прыгает от радости. Наберись терпения и дай ему немного времени. Он успокоится. Он поймет то, что и так всегда знал в глубине души: даже если бы у него была волшебная палочка, он не смог бы

отыскать такую чудесную девочку, как ты».

«В том-то и дело, — рыдала я, — что он не искал меня! Ох, мама, я чувствую себя такой — низкой!»

«Никогда не произноси при мне этого слова! — предостерегла меня мать. — У тебя достойная родословная. У нас в семье не было и не будет низких людей. То, что вы оба сделали, было роковой ошибкой, но низость тут ни при чем. Теперь это в прошлом, и хватит об этом, дорогая».

Качка в поезде отнюдь не успокаивала мой растревоженный желудок. Внезапно я почувствовала отчаянную жажду. Я начала с трудом вылезать из постели, чувствуя, словно руки и ноги скованы цепями. Ничего не получалось. Сдавленным до неузнаваемости голосом я прокричала: «Дай мне воды, пожалуйста!»

Краны закрылись, и из ванной выглянул мой муж, вытирая свои выразительные руки полотенцем. Я смотрела на человека, который уже тогда, в ноябре 1924 года, был — и еще долго оставался — самым обожаемым и знаменитым человеком в мире. Еще несколько месяцев назад он говорил мне: «Я известен в таких уголках на земле, где люди не слышали даже об Иисусе Христе». Трудно было усомниться в этом. На всех континентах и в каждой стране был кинопроектор и экран, и его знали и смеялись над ним. Он был маленький человек, неудачник, безмолвный бродяга в драных, неуклюжих, неподходящих по размеру башмаках с видавшей виды, но по-своему элегантной бамбуковой тростью. Он был маленьким человеком со щеточкой усов и с временами беззаботной, временами развязной походкой. Он был символом неотвратимой победы добра над злом.

Здесь, в этом салоне вагона, несущегося в Лос-Анджелес, это был безукоризненно аккуратный, преждевременно седеющий тридцатипятилетний кокни-самоучка, единственный обладатель созданной им пятнадцатимиллионной империи, с безупречными манерами и любовью ко всему человечеству.

И это был человек, вынужденный жениться на мне, испуганной шестнадцатилетней девочке по имени Лиллита Макмюррей, из-за того, что я была беременна от него.

— Ты действительно хочешь, чтобы я дал тебе воды? — спросил он.

Я кивком подтвердила, что да.

— А ты не боишься, что я могу попытаться отравить тебя?

Тошнота опять подступила к горлу, и я уткнулась носом в подушку.

Сменив рубашку, он предложил:

— А почему бы тебе не встать? Надень что-нибудь на себя,

выйди и подыши воздухом. Давай — экскурсионный вагон как раз идет следом за нашим. Я провожу тебя.

С тревогой и недоверием, но все же надеясь, что он смягчится, я оделась, пока он молча облачался в пиджак и пальто. Он открыл для меня дверь, и я поплелась за ним на своих отечных ногах к экскурсионному вагону.

Ноябрьская ночь была холодной, но мне стало немного лучше. Хватаясь пальцами за перила, наблюдая, как стремительно уносятся в темноту обрывки пейзажа, чувствуя, как ветер треплет мои волосы, я молилась, чтобы он смягчился. Пока мы ехали в Мексику, он избегал меня. Во время брачной церемонии, он был угрюм, и потребовалось попросить его повторить «да», поскольку приглашенный впопыхах судья не расслышал его с первого раза. В течение долгих трех дней и ночей он старательно избегал меня, и всего один раз за все это время я услышала от него хоть что-то. Это были его слова, обращенные к одному из его помощников: «Ну, я догадываюсь, конечно, что это лучше, чем тюрьма, но это не надолго».

Сколько раз я видела его милым и нежным, когда он был первым мужчиной в мире, сказавшим: «Я люблю тебя», а я была первой женщиной в мире, которая услышала это. Он сделал меня женщиной, несмотря на мои годы, нежно и бережно. Были моменты, когда любовь заставляла умирать нас всякий раз, когда мы расставались больше, чем на один день.

Я мысленно умоляла его проявить хоть немного былой нежности.

Я скорее ощущала, чем видела его на платформе.

— Как ты? — спросил он, не касаясь меня.

— Уже лучше, — ответила я.

— Но по-прежнему несчастна, так ведь? И ты знаешь не хуже меня, что собираешься и дальше быть несчастной.

— Нет, я не знаю этого, — я трясла головой, все еще не смея повернуть лицо к своему мужу. — Все будет хорошо.

— Все будет хорошо — усмехнулся он. — Если ты не в состоянии совладать с жалостью к себе, остается три раза повторить «Все будет хорошо», и облака рассеются над нашими головами.

Он приблизился ко мне.

— Прекрасный момент положить конец твоим несчастьям. Почему бы тебе не прыгнуть? — произнес он.

В ужасе я отступила назад от защитной дверцы, доходящей мне до пояса, и взглянула на него. Он стоял в тени, и я не могла видеть выражение его лица, но знала: он не шутит Его спокойный, сухой и почти сочувственный тон испугал меня гораздо больше,

чем если бы в его голосе был гнев. Его не было. Он сказал «Почему бы тебе не прыгнуть?» так, словно это предположение было вполне здравым.

Глава 1

Впервые я увидела Чарли Чаплина 15 апреля 1914 года. Это был мой шестой день рождения, и чтобы отпраздновать его, мама взяла меня в Голливуд. Для этого нужно было проехать на троллейбусе совсем недалеко от нашего дома в центре Лос-Анджелеса. Если повезет, сказала она, мы сможем увидеть кинозвезд.

Он и еще один человек сидели в глубине ресторана, куда мы вошли. Мама мгновенно вычислила его и спросила хозяина: «Как вы думаете, можно побеспокоить м-ра Чаплина и представить ему мою дочь? Она смотрит все его фильмы». И обернувшись ко мне, сказала: «Ты же хочешь рассказать своим друзьям, что познакомилась с Чарли Чаплином, Лиллита?»

Я беспокойно заерзала. Как-то раз бабушка водила меня смотреть фильм «Зарабатывая на жизнь» (Making a Living) с этим смешным человеком в черных усах и больших башмаках, но он не был живым человеком, это было что-то нереальное — прыгающая картинка на белой стене в темной комнате. А теперь он со своими усами и гримом на лице сидел и обедал в своем потрепанном костюме. Он был здесь, а значит, был живой. Но он не походил ни на кого из тех, кого мне приходилось видеть прежде, и я холодела при мысли о необходимости подойти к нему ближе.

«Я спрошу у него, но уверен, что все будет в порядке, — сказал хозяин, провожая нас к столику неподалеку от входа. — Ему лестно, когда дети хотят видеть его, но он стесняется взрослых». Он удалился и через несколько секунд вернулся обратно. «Пойдем, милая», — пригласил он меня, одобрительно улыбаясь и протягивая мне руку.

Я взглянула на маму с мольбой: «Это обязательно?» Она кивнула. Сделав глубокий вдох, я поднялась и, держась за руку хозяина, отправилась к столику в глубине ресторана.

Человек с усами и гримом на лице, подавшись вперед, собрался было взять меня на руки, но остановился, похоже, почувствовав, что маленький ребенок может испугаться взрослого незнакомца, который слишком бурно приветствует его.

— Ну, а как, интересно, зовут юную леди?

— Лиллита Макмюррей.

Своему другу он сказал: «Какие чудные темные глаза и волосы, правда?» — и пригласил меня жестом сесть подле него. Я стояла, словно аршин проглотив. Он усмехнулся и предложил: «Я знаю отличный фокус со спичками. Хочешь посмотреть?» Он вынул из кармана несколько спичек и разложил их на белой

скатерти: «Так, эта спичка идет сюда, и…»

Тут я услышала собственный крик: «Я хочу к маме!» — и побежала к ней, чувствуя себя сбитой с толку и несчастной.

Мама все видела, и надо признать, мое поведение не доставило ей удовольствия. Хозяин ресторана шел за мной следом, бормоча: «Это же дети. Что они могут сказать такому человеку, как Чарли Чаплин? Как им вести себя? Она, наверное, испугалась его грима и этого костюма бродяги, да всего… Конечно, в этом-то и дело. М-р Чаплин снимает свои картины здесь за углом, и прямо в таком виде приходит сюда обедать».

«Может быть, ты извинишься?» — мама чеканила слова, нахмурив брови. Огорчить ее для меня было настоящим бедствием. А я очень расстроила ее в тот день, ведь ни она, ни папа не учили меня таким плохим манерам.

Мы ели в молчании, и ни разу я не осмелилась взглянуть в сторону дальнего столика. Мы все еще ели, когда человек по имени Чарли Чаплин и его друг проходили мимо нас к двери. Чарли Чаплин просто вышел из ресторана, болтая со своим другом. Это должно было означать, что он зол на меня.

Мама показала мне несколько достопримечательностей Голливуда, как и обещала. Но день был безнадежно испорчен.

В отличие от детства Чарли в трущобах рабочего района в Англии, мое собственное — в Лос-Анджелесе — было относительно благополучным. Лишения были скорее эмоциональные, чем материальные, поскольку всегда был дедушка Уильям Эдвард Карри, который мог предоставить кров и пищу, когда очередной брак моей мамы расстраивался.

Пока я не встретила Чарли снова — шестью годами позже и совершенно при других обстоятельствах — дедушка был единственным мужчиной, которого я видела постоянно. Он родился на море, на корабле с британским флагом. Получив образование в Королевском колледже в Лондоне, он отправился в Америку, в 1885 году стал гражданином Соединенных Штатов и в тот же год женился на моей испанской бабушке, Луизе Сеймурфине Карильо, принадлежавшей к известному роду Дона Антонио Луго, одного из первых, испанских поселенцев в Калифорнии. Они обосновались в Лос-Анджелесе, где он с партнером открыл салун «The Barrel House». Благодаря этому заведению и другим вложениям в недвижимость он всегда мог обеспечить семье достойную жизнь.

Их семья состояла из Лиллиан, моей мамы, и ее брата Фрэнка. Лиллиан походила на отца с его британскими, уэльскими и ирландскими корнями, а Фрэнк — на маму-испанку, хотя у

обоих были мамины темно-коричневые волосы и глаза. Когда Лиллиан было четырнадцать, ее послали на год во Францию, в монастырь в Фонтенбло. По ее возвращении дедушка, ставший к тому времени диабетиком, ушел из бизнеса и переехал со всей семьей в Голливуд, где купил семь акров земли в холмистой местности, известной как Уайтли-Хейтс. Он первым построил дом в этих окрестностях — здание в испанском стиле, а бабушка посадила вокруг пальмы и другую зелень.

Лиллиан, живой и прелестной девочке с большими выразительными глазами, было восемнадцать, когда она встретила моего отца, Роберта Эрла Макмюррея, на год старше себя, — и влюбилась. Дедушка не был от него в восторге, но после года ухаживаний, происходивших преимущественно в гостиной под неусыпным дедушкиным оком, — они поженились. А через год, в 1908-м, родилась я.

Брак продлился два года в бесконечных ссорах и пререканиях, и по приглашению дедушки, чье недовольство маминым браком еще более накаляло атмосферу, мама, прихватив меня, вернулась жить в Уайтли-Хейтс.

Бабушка никак не выражала своего отношения к маминому браку, это была маленькая, неунывающая женщина, которая, насколько я знаю, не настаивала особенно на соблюдении приличий. Дедушка, напротив, был суровым пуританином и был потрясен, когда услышал, что он и Чарли (которого он в какой-то момент стал презирать, а однажды угрожал убить) — в некоторых отношениях похожи друг на друга. Оба были воплощенными британцами, считавшими, что одежда должна быть вычищена к определенному времени дня, а машина должна быть отполирована к определенному дню недели. Оба, если это удавалось, ели ежедневно одно и то же на завтрак и на ужин. Оба, каждый на свой лад, почитали науки. Когда я стала старше, дедушка начал заставлять меня читать замусоленные экземпляры Диккенса, Теккерея и, насколько я могла осилить, — Шекспира. Хотя мой дед формально не был религиозным, он требовал, чтобы я читала Старый и Новый Заветы, наставляя меня: «Никто не может считать себя образованным человеком, пока не прочтет Библию».

Помимо внимания к моему чтению и убежденности, что я должна освоить хорошие манеры, ничем другим в отношении меня он не интересовался. Очевидно, я для него что-то значила, поскольку время от времени он обнаруживал признаки гордости за меня — он научил меня читать, когда мне было четыре. А однажды он сказал маме: «Эта девочка умна не по годам, схватывает все на лету, не всякий из моих взрослых знакомых так

соображает». Но в целом его отношение ко мне исчерпывалось ролью наставника и учителя.

Мама, все еще молодая и хорошенькая, часто оставляла меня вечерами и уходила на свидания. Ей вечно звонили молодые люди, а в глазах светилось какое-то особое кокетство. Мама всегда старалась познакомить меня с очередным поклонником, а тот непременно говорил, какая я хорошенькая, брал меня за подбородок и изображал огромный интерес. Но было ясно, что интерес этот мимолетный, и что тот ждет не дождется, когда останется наедине с мамой. Ни в ком из них я не чувствовала заботы, в которой так отчаянно нуждалась.

Один из маминых кавалеров был привлекательный, добродушный человек по имени Хэл Паркер. Он приглашал ее чаще других, и при виде него мамины глаза просто светились. А еще он отличался от других тем, что разговаривал со мной с некоторой искренностью в голосе.

Помню вечер — как раз вскоре после того, как мы встретили Чарли Чаплина, и я удрала от него — когда меня разбудили громкие, сердитые голоса, идущие с нижнего этажа. Я встала с кровати, которую мы делили с мамой, и прокралась на лестницу. Мама с дедушкой спорили.

«У тебя уже был один неудачный брак, какого черта ты торопишься опять?» — ревел дедушка.

Мама, обычно мягкая и уважительная с дедушкой, была в ярости: «Я не потерплю, чтобы ты говорил о Хэле в таком тоне!» — кричала она.

«Не потерпишь? А как еще мне говорить об этом лоботрясе? Я сразу раскусил твоего прекрасного м-ра Макмюррея, разве нет? А ты готова была на все и вышла за него. Вот и получила кукиш с маслом!»

«У меня есть дочь!»

«Да, дочь у тебя есть, — признал дедушка, но сразу же опять возвысил голос и заявил саркастически: — Прекрасная причина связаться еще с одним бездельником — и завести еще одного ребенка. Лучше не придумаешь!»

«Не смей называть его бездельником! Хэл любит меня и хочет жениться. Ты не знаешь его. Ты ничего о нем не знаешь!»

«Как и ты, Лиллиан! Ты вечно настаиваешь на своем. Ладно, я тебя предупреждаю: на этот раз я не собираюсь стоять и смотреть, как ты разобьешь свое сердце. Если этот молокосос покажется здесь, Я…»

Дедушка увидел, что я стою на лестнице, и велел мне вернуться в постель. Я подчинилась и юркнула под одеяло. Собирается ли мама замуж за Хэла Паркера? Даже несмотря на

то, что дедушка против? У всех моих знакомых детей, с которыми я играла, были отцы. Я тоже хотела иметь отца, пусть даже не настоящего. Но если это будет ненадолго, а потом он уйдет?

Когда наконец мама вошла в комнату, я притворилась спящей. Она скользнула в постель и прижалась ко мне. Нам было тепло и уютно вместе.

В тот год Голливуд всерьез вознамерился стать киностолицей Америки. Совсем недавно тихая и ухоженная часть Лос-Анджелеса теперь являла собой бурно растущий город, где, казалось, царил круглосуточный карнавал, и куда отовсюду стекались сотни людей, чтобы, вложив немного денег на одной неделе, сделать фильм и продать его с фантастической прибылью на следующей. Вокруг было изобилие дешевой земли, идеально подходящей для киносъемок. В свежем воздухе Южной Калифорнии было растворено ощущение, что достаточно иметь несколько долларов и пару извилин в мозгу, чтобы выпустить пару короткометражек и уйти на покой.

Это было не совсем так, но в 1914 году множество людей, обладавших скорее решимостью, чем художественным мастерством, обогатились в Голливуде. Зрители выстраивались в очереди, чтобы посмотреть любой фильм, и владельцы кинотеатров по всей стране расхватывали все фильмы подряд, хорошие или (что было еще чаще) плохие. Были такие фильмы, как «Муж индианки» (Squaw Man), сделанный на Вайн-стрит Сэмюэлем Голдвином, Сесилом Де Миллем и Джесси Ласки. Бывали такие картины, как комедии и погони с ковбоями и индейцами, которые пачками выпускали по всему Голливуду. Каждый день поезда выгружали взбудораженных пассажиров, приехавших на волне повального увлечения кино, — клерков, удравших от прилавков универмагов, или актеров — из сидящих на мели репертуарных театров. Если вам было решительно нечего предложить, кроме своего присутствия, всегда можно было заработать хотя бы три доллара в день. Это значило, что вы актер. И это значило, что отныне ничто не мешает вам стать звездой.

Без всякого предупреждения город оккупировал оглушительный шум.

Вся эта кипучая деятельность приводила дедушку в ярость. «Что они делают с моей деревней?» — возмущался дедушка, наблюдая за ужасными изменениями в городе. Название «Голливуд» придумала миссис Деида Хартелл Уилкокс, благородная дама со Среднего Запада, приехавшая сюда несколькими годами ранее с намерением превратить эту землю в то, что она называла «сообществом служения господу». За несколько десятилетий она преуспела в своих планах, превратив

свой рай в сообщество служения сдержанности и благочестию. Вероятно, Деида Хартелл Уилкокс не дожила до того времени, когда могла увидеть, как ее рай на земле превратился в излюбленное место размалеванных леди, куривших прямо на улице, и актеров, которые среди ночи разгуливали по Голливудскому бульвару, беззастенчиво выпивая и грязно ругаясь.

Мой дедушка, однако, был жив-здоров и пребывал в постоянном негодовании по поводу того, что видел. Он не задумывался о том, что многие из людей, занятых в кинобизнесе в 1914 году изо всех сил трудились, были счастливы в браке и, возможно, были даже вполне сдержанны. Он отказывался верить, что состояния, заработанные новыми горожанами, законны. И, даже при своем здоровом уважении к благам, даруемым деньгами, он не допускал мысли, что новое богатство способствует укреплению экономики обожаемого им Лос-Анджелеса.

Не впечатляли его и фантастические возможности внезапного успеха. Это все надувательство, брюзжал он, слыша истории о неопытных девушках, приехавших без гроша в кармане и сумевших вскоре подписать контракты на тысячи долларов в неделю.

Среди множества раздражавших его в новом Голливуде вещей были матери, штурмовавшие бастионы студии, жаждущие предложить своих детей, талантливых или нет, хорошеньких или обыкновенных, для съемок. «Если взрослые хотят продавать свои души за деньги, это их дело, — ворчал он, — но этих женщин, которые мечтают превратить своих юных девочек в потаскух, я бы порол».

В такие моменты мама обычно улыбалась и кивала — а после, когда мы оставались наедине, выражала несогласие.

— Твой дедушка хочет добра, но он старомоден, Лиллита. Нет ничего дурного в том, чтобы сниматься в кино, и в том, чтобы тебя обожали. Ты хотела бы сниматься?

— Думаю, да.

— Конечно, хотела бы, все хотели бы. И, может быть, когда-нибудь ты будешь сниматься, а мы все будем гордиться тобой!

Дедушку подобные разговоры вывели бы из себя, но не думаю, что для меня это значило больше, чем если бы мама сказала: «Ты хотела бы быть прекрасной принцессой?» У меня было смутное ощущение, что суета вокруг кино затрагивает мой дом, но это не было частью моего мира.

Презрение моего дедушки к актерам имело одно исключение — Чарли Чаплина. Однажды вечером он отправился смотреть

«Мейбл за рулем» (Mabel at the Wheel) и, вернувшись домой, был в таком восторге от комика — «Знаете, он ведь тоже англичанин?», — что стал его поклонником. «Помяните мое слово, этот парень будет знаменитым», — предсказывал дедушка, не понимая, что предрекает великое будущее человеку, который и без того уже знаменит. В следующие годы наша семья не пропускала ни одной картины с Чаплином.

Уже через девять лет, мой дед размахивал оружием с криком: «Я убью этого сукиного сына за то, что он сделал с этим ребенком!»

В тот год, когда я впервые увидела Чарли Чаплина, дедушка построил новый многоквартирный дом «Наварро» и вместе с бабушкой переехал в одну из квартир. Мы с мамой переехали в квартиру поменьше в том же здании, и она продолжала видеться с Хэлом под присмотром своего отца. Хэл обычно приходил к ужину, иногда каждый день в течение недели. Мне он нравился, и было непонятно, чем он не угодил дедушке. Хэл был высокий, красивый мужчина, он много смеялся и никогда не забывал принести мне подарок. Он уделял мне внимание — порой, казалось, даже большее, чем маме, — он сажал меня на колени и говорил: «Если твоя мама выйдет за меня замуж, мы все втроем будем вместе навсегда, и ты будешь моей маленькой дочкой». Эта идея казалась мне прекрасной, я рисовала себе картины, как мы втроем сидим на пикнике, или, взявшись за руки, гуляем по улицам, а другие дети наконец могут лицезреть моего отца. Если он въедет к нам, он будет спать с нами в одной постели, и это вполне нормально.

Но чем больше я спрашивала маму о том, собирается ли она выйти замуж за Хэла Паркера, тем уклончивее были ее ответы. О ее решении я узнала совершенно неожиданно.

Однажды ночью я легла спать в нашу с мамой постель. Потом помню, как проснулась на кушетке в гостиной и услышала голоса, идущие из спальни. Мамин и мужской.

«Мама…» — позвала я, по какой-то причине боясь встать.

«Все в порядке, Лиллита, — отозвалась она. — Оставайся там и спи. Все нормально».

«Мама, кто там с тобой?»

Вместо мамы мне ответил Хэл Паркер: «Это я, милая. Твой новый папа. Постарайся заснуть».

На следующее утро я была в квартире у дедушки, когда мама спокойно и с достоинством, сообщила, что она и Хэл накануне поженились. Я ожидала, что дедушка рассвирепеет. Но этого не произошло. «Ты сделала ошибку, — сказал он. — Но дело

сделано. Когда все пойдет под откос, не приходи ко мне в слезах».

Некоторое время я была под впечатлением, что меня выселили из спальни. А поскольку стена между гостиной и спальней была очень тонкая, ночью, когда везде уже был выключен свет, мне не давал уснуть скрип кроватных пружин.

Тем не менее вскоре я привыкла к этому, ведь со мной случилось кое-что волнующее: у меня был папа, и притом любящий. В свои выходные дни Хэл выводил меня куда-нибудь — именно меня, — и он не позволял маме никому говорить, что я не его дочь. Он работал заместителем директора Сесила Де Милля на Вайн-стрит, и ему доставляло удовольствие приводить меня в киностудию и представлять всем как свою дочь. Однажды, шутки ради, он устроил меня и маму статистами на съемки фильма с Джеральдин Фаррар и Уоллис Рейд. Я была в восторге от внимания, которое это повлекло за собой.

Хэл был добрый и внимательный человек, и совершенно очевидно, что он и мама любили друг друга. Но со временем он стал все чаще оставаться дома, и я слышала, как мама подкалывает его за лень и нежелание ходить на работу. Позже я поняла, как поняла и мама, что дело не в лени, а в болезни. Хэл очень много курил, несмотря на тяжелую аллергию на никотин. Хотя все врачи его предостерегали, он продолжал курить, утверждая, что не в силах бросить. Наконец он настолько ослабел, что не мог даже по утрам выползти из постели. После нескольких предупреждений его уволили из студии. А мама начала работать.

Мало-помалу ее любовь к нему уменьшалась, а моя — становилась все сильнее. Живо вспоминаю одну глупую игру, в которую я часта играла. В «Наварро» был лифт, стены которого были сделаны из широко расставленных металлических пластин. Я входила внутрь, нажимала все кнопки от первого до последнего этажа и ложилась на пол кабины, так что ноги между пластинами «ходили» вверх и вниз. Однажды мои ноги перекрестились и застряли в металлическом каркасе. Лифт продолжал ездить. Всякий раз, когда он доезжал до низа, мои ноги больно царапало, а я не могла высвободить их.

Я вопила от ужаса. Я слышала, как зовут меня мама и Хэл, не зная, где я, и бегая в безумии то вниз, то вверх. А я настолько была парализована страхом, что не в силах была ничего сказать им. Хэл добрался до меня первый и держал меня на руках, пока мама была в истерике.

«Ну все, детка, все, — успокаивал он, — теперь все позади».

Я изо всей силы впилась в него и не отпускала всю дорогу до квартиры. Мама хотела взять меня на руки, но я ни в какую не

хотела оставить Хэла. Пригласили врача, а я продолжала цепляться за Хэла, хотя мама была рядом. Даже после того как доктор сказал, что никаких повреждений, кроме ссадин и синяков, у меня нет, я умоляла Хэла оставаться со мной, пока не заснула.

Я помню этот инцидент так отчетливо, потому, что он помог мне понять не только, как много значил для меня отчим, но и как много я значила для него. Еще долго после того, как я оправилась, Хэл продолжал спрашивать меня, все ли в порядке, и говорил, какое облегчение испытал, узнав, что я не пострадала.

Это была одна из причин моего уныния, когда мама сказала мне — а мне тогда было девять, — что дедушка прав, и ее брак с Хэлом Паркером оказался неудачным. «Он очень славный и нравится мне, дорогая, но дело в том, что он просто не в состоянии содержать нас. Я зарабатываю недостаточно денег, чтобы заботиться обо всех троих, а дедушка не хочет помогать, так что…»

«Нет! — кричала я. — Нет, мама, я его не брошу! Давайте останемся вместе навсегда, как мы говорили! О, мама, пожалуйста, не делай этого…»

Отчим умолял ее передумать, но мама умела быть решительной. Я винила ее, но должна признать, что вина не была целиком на ней. Мама старалась сохранить брак, но нереалистичные представления Хэла, что он найдет хорошую работу в любой момент, и безрассудное курение, несмотря на постоянные заверения врачей, что сигареты убьют его, были непереносимы для нее. Так мы вместе с ней вернулись к бабушке и дедушке.

Больше я никогда не видела Хэла Паркера. Тем не менее я о нем слышала. Несколько лет назад он слег в больницу из-за болезни кровообращения. Почти слепой, он зажег сигарету, несмотря на запрет. Ко времени, когда к нему подоспела медсестра, его матрас был объят пламенем, и он умер. Курение, как и предсказывали доктора, убило его.

Будучи разведенной и имея теперь (когда заботу о нас взял на себя дедушка) больше времени на меня, мама перестала быть такой снисходительной и терпимой, какой я ее знала. Когда мне было десять, она записала меня в школу при церкви Святых Даров — не из религиозных соображений, а потому что в строгой католической школе легче было контролировать меня. Время от времени она продолжала ходить на романтические свидания — позже она вышла замуж в третий раз, — и когда ее собственная жизнь была заполненной, она становилась беззаботной,

жизнерадостной и счастливой, как обычно. Если же была увлечена я, она становилась тревожной и даже подозрительной.

Даже дедушка не так беспокоился за меня, как мама. Когда я возвращалась домой с улицы, она обрушивалась на меня с вопросами: «Почему так поздно? С кем ты играла? Разве я не говорила тебе, чтобы ты не играла с этим Джонсоном?» Чем больше она задавала мне подобных вопросов, тем больше я переживала, что делаю что-то огорчающее ее.

Я никак не могла взять в толк, в чем дело, и пыталась понять. Но все, что мама говорила, это:

— Будь хорошей девочкой. Никогда не заставляй меня стыдиться тебя.

— Ты же знаешь, я ничего плохого не делаю, мама. Почему ты всегда задаешь мне эти странные вопросы?

— Я просто хочу, чтобы ты играла с хорошими соседскими девочками, — отвечала она и тут же посылала меня в продовольственный магазин, что опровергало только что сказанное.

Почему она никогда не отвечала на мои вопросы? Почему моя мама, которую я так любила, оставляла мои вопросы витать в воздухе? Я не знала слово «секс», но постепенно мне стало ясно, что мамино беспокойство по поводу моих товарищей по играм было связано с чем-то в этом роде. Я знала, откуда появляются дети. Мама не говорила об этом, но кое-что мне рассказала одна девочка моего возраста, другая девочка, постарше, рассказала больше, а остальное я домыслила сама. Я боялась пойти к маме и поделиться тем, что узнала, или думала, что знаю.

Когда мне было одиннадцать, у меня начались месячные, к чему мама меня не подготовила. Однажды утром я проснулась и увидела кровь на простыне и ночной рубашке. В ужасе я позвала маму, она взглянула и объяснила.

Теперь это не имело смысла.

— Ты говоришь, что это бывает у всех девочек, — допытывалась я. — Почему же ты не предупредила меня заранее?

Мама сказала, что ей жаль, но есть такие вещи, о которых мамы стесняются говорить.

— Почему? — настаивала я.

— Потому что неизвестно, — вздохнула мама, — какой вопрос приведет к сотне других.

У меня была сотня вопросов. И больше. Я стала искать кого-то, кто ответит, кого-то, кому можно доверять, кто будет честен со мной.

Глава 2

К 1920 году, когда мне было двенадцать, Чарли Чаплин был самой популярной звездой экрана. Публика любила картины с Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбенксом и Уильямом Хартом, но фильмы Чаплина она просто обожала.

И обожали Чаплина не только в Америке, где кино быстро распространялось, но и в самых отдаленных уголках мира. По некоторым оценкам, в 1920-е годы каждый из его фильмов посмотрели 300 млн человек, в том числе китайцев, мусульман и индусов, — и это в то время, когда не было нынешних скоростей распространения информации и рекламы. Уилл Роджерс называл его «самым известным американцем среди зулусов».

Он был определенно самым знаменитым американцем в Америке. (Никого не волновало, что в действительности он был английским иммигрантом. Мы считали его своим, как, смею думать, своим его считали и на Востоке.) Его появление на улице могло вызвать затор на дороге. Все, что требовалось владельцам кинотеатров, чтобы обеспечить аншлаг, это поместить возле билетной кассы его фигуру, вырезанную из картона, с надписью: «Сегодня я здесь!»

Рынки кишели статуэтками и открытками с изображением Чаплина, игрушками и куклами, чаплинскими рубашками, шляпами-котелками и десятками других символов, напоминающих о нем. Предприимчивый торговец мог разбогатеть, приложив картинку жалкого бродяги, усов, бамбуковой тросточки или гротескных башмаков к любому бесполезному объекту. Мы, дети, откладывали монетки к субботе, чтобы сходить в магазин и купить чаплинские леденцы, жвачку или надувные шарики. Я знаю, современные дети покупают кепки Дэви Крокетта, маски Зорро, фотографии «Битлз», но все эти увлечения как приходят, так и уходят Чаплинский же образ год за годом приносил устойчивые прибыли торговцам.

В ту эпоху, когда не было еще охотников за автографами, — в 1920-е годы, несмотря на избыток киножурналов, большинство кинозвезд за пределами экрана считались таинственными и, следовательно, недостижимыми, — вокруг него собирались толпы с криками: «Привет, Чарли!» и никогда: «М-р Чаплин». И если он всеми силами старался отделаться от них, то не оттого, что не терпел фамильярности, а скорее потому, что был искренне изумлен этой безумной любовью. Как он говорил мне позже: «Я представления не имел, как относиться к ним и их чувствам ко мне».

Когда во время Второй мировой войны Чарли критиковали за то, что он не развлекал наших военнослужащих, как это делали Боб Хоуп и Эл Джолсон, он отвечал, что его амплуа плохо вяжется с такого рода выступлениями. Это была правда, но это была не вся правда. На самом деле, внешне высокомерный, Чарли Чаплин был невероятно застенчив, и при всем том, что делала для него публика, он совершенно не был публичным человеком. При тех скудных порциях любви, которые он получал в детстве, всенародная любовь 1920-х тешила его тщеславие, но он испытывал замешательство, если на него обращали внимание.

В те дни Чарли был убежден, что он не так велик, как все утверждали. Его просто воротило, когда он слышал, что его объявляют гением; его бесило уже само слово. «Я всего лишь маленький грошовый комедиант, пытающийся заставить людей смеяться. Они ведут себя так, будто я король Англии», — жаловался он. Раболепие тоже раздражало его, как это было в тот день, когда он обедал в ресторане в Санта-Монике с миссис Уильям Вандербильт и сэром Биербомом Три. Шеф полиции Санта-Моники явился в ресторан арестовать миссис Вандербильт, поскольку она совершила мелкое правонарушение публичного курения сигареты. Но, приблизившись к столу, он узнал Чарли. Не менее минуты он извинялся за то, что побеспокоил, и буквально свернул себе шею, пока ретировался. Рассказывая в деталях этот инцидент несколькими годами позже, Чарли фыркал: «Ублюдок. А если бы миссис Вандербильт была убийцей или заразной больной? Этот идиот, наверное, и тогда извинялся бы передо мной только из-за того, что она сидит за одним столиком со мной».

Тем не менее втайне Чарли испытывал трепет оттого, что любовь к нему и к его работе исходила от самых разных людей. Некоторые выдающиеся личности, такие как Бернард Шоу, Падеревский и Черчилль, восхищались им и искали его общества, но интеллектуалы, как класс, пока еще не интересовались им. В 1920 году большая их часть отказывалась воспринимать его, вероятно потому, что всякий любимец масс автоматически вызывал подозрение. Однако некоторые критики уже начинали видеть, что его искусство можно расценивать и интерпретировать нелинейно. Его стали сравнивать с Диккенсом, Нижинским и Льюисом Кэрроллом.

И в этой любви не было никаких примесей, даже зависти. Было восхищение этим кокни, который всего несколько лет назад зарабатывал 50 долларов в неделю, а теперь имел миллион. И было сострадание. Когда этот трогательный Бродяга ежился от холода под ледяными порывами ветра, у зрителей зуб на зуб не

попадал. Многие отмечали, что он обладал сверхъестественной способностью менять настроение в мгновение ока. Один восторженный критик называл его «хамелеоном в поиске цвета».

Поклонение ему было таким безмерным, что женитьба в возрасте двадцати девяти лет на шестнадцатилетней Милдред Харрис вызвала сплетни и осуждение лишь у небольшой части публики. Маленький Бродяга не мог сделать ничего плохого.

На фоне самых невероятных событий, происходивших в киноиндустрии в 1920-м, женитьба Чарли могла выглядеть совершенно нормально. Как предсказывал мой дедушка, содержание картин настолько вышло из-под контроля, что недалеко было и до цензуры. Хотя моя семья старалась оградить меня от знакомства с неприглядными фактами голливудской жизни, я знала то, что знали все: многие актеры, продюсеры, директора и другие люди кино в свободное от работы время не отказывали себе ни в пьянстве, ни в самом откровенном разврате. Процветание города и истории стремительного успеха породили психологию наплевательства, а скандальные небылицы создавали представление, что все бесконечно напиваются, все балуются наркотиками, и все друг с другом спят.

Множество сплетен о греховности людей кино, вероятно, или были придуманы, или сильно преувеличены, но факт остается фактом: кино тогда всячески идеализировало грех; шел вал фильмов, где наркотики, беспробудное пьянство, легкость измен и разводов выглядели фешенебельно и интригующе, а следовательно, пусть и неявно, они приветствовались.

Единственные фильмы, которые мне разрешал смотреть дедушка, — фильмы с Чарли Чаплином. «Чарли не опошляет жизнь», — говорил он. И дедушка, безусловно, был прав. Мир выбрал Бродягу и отвел ему особое место, а человеческие мерзости проходили мимо, не затрагивая его. Ему редко удавалось избежать грязи, но он неизменно выходил из самых отвратительных ситуаций таким же светлым, благородным и оптимистичным, каким был вначале.

Что касается дедушки, по его мнению, Чарли Чаплин был единственным оправданием кинематографа. Все остальные в киноиндустрии были дикари, варвары и распутники, полные решимости растлить все и вся, и, следовательно, все они были способны лишь опошлить и изуродовать облик и душу его любимого Голливуда. Он ни за что не позволил бы мне приблизиться даже на пушечный выстрел к киностудии, несмотря на мамины и бабушкины увещевания, что он чересчур нетерпим. Он рассердился даже, когда моя лучшая подруга Мерна Кеннеди решила выступать на сцене. Мы с Мерной встречались в школе

танцев. Это была миловидная, рыжеволосая девочка, она хорошо танцевала и ей предложили небольшую роль в водевиле. Это расстроило дедушку, и хотя он оставался любезным с Мерной, но всегда был не в своей тарелке, когда я приглашала ее к нам домой.

Одним из наших соседей и маминых друзей был Чак Рейснер, заместитель директора Чарли Чаплина. Как-то раз Чак позвонил в нашу дверь — дедушки, к счастью, дома не было — и обратился с предложением. «Мы начинаем снимать короткометражный фильм, и он может представлять интерес для тебя, Лиллиан, — сказал он маме. — Это очень интересная история — м-р Чаплин назвал ее „Малыш“ — и для некоторых сцен нам нужны малыши. Если хочешь, я могу дать роль Лиллите. Много не заплатят, и это будет недолго, но зато будет прекрасный опыт для нее».

Мы с мамой загорелись. На следующий день мы появились в студии Чаплина, не забыв «забыть» сообщить об этом дедушке. Чак объяснил, что закон Калифорнии предусматривает два правила относительно съемок детей: я должна всегда иметь взрослого сопровождающего, и мои школьные занятия не должны прерываться; Комитет по вопросам образования должен посылать в студию учителя каждый будний день, пока я буду участвовать в съемках.

Мы договорились, что подпишем контракт, согласно которому в качестве сопровождающего лица будет выступать мама, и вдобавок она будет сама работать в массовке. Чак пошел провожать нас к центральным воротам, но по пути задержался у одной двери. «Раз вы здесь, можете встретиться с м-ром Чаплином, если он не очень занят», — сказал он и постучал в дверь.

Я бросила выразительный взгляд на маму, у которой земля начала уходить из-под ног Мне предстояло встретиться лицом к лицу с Чарли Чаплином, что для двенадцатилетней девочки в 1920 году было равносильно встрече с господом Богом.

— Войдите.

Предложив нам подождать, Чак вошел в комнату. С моей стороны двери я могла видеть Чарли Чаплина — Чарли Чаплина! — сидящего за длинным столом и озабоченно листающего кипу бумаг, пока Чак разговаривал с ним. На нем не было костюма бродяги, как в тот день, когда я удрала от него в ресторане. Я видела нахмуренного человека лет тридцати пяти, чьими фотографии были полны газеты и журналы. Когда Чак кивком головы пригласил нас войти, от волнения у меня подгибались колени.

При всех моих тревогах и сомнениях в себе в свои двенадцать

лет я не была совершенным ребенком, я была обучена хорошим манерам, я была приветлива и умела владеть собой при знакомстве с людьми. Тем не менее, когда мы вошли в тот небольшой, опрятный офис, мои ладони стали влажными, и я была уверена, что не смогу вымолвить ни словечка. Я чувствовала себя неуклюжей дурнушкой. За день до этого я стояла перед зеркалом в полный рост в театральной позе, в восторге от своей начавшей развиваться груди. Теперь же, наоборот, я ее стеснялась, и хотя была одета достаточно скромно, предпочла бы, чтобы на мне было пальто, скрывающее грудь полностью.

Великий человек не поспешил вскочить с места с преувеличенной галантностью, но когда нас представили, приподнялся и улыбнулся. В его сине-фиолетовых глазах светилась душевность. У него были маленькие руки и ноги, непропорционально большая голова и гибкое тело, и, как я заметила, слегка выдающиеся вперед зубы. Он был сдержанно изыскан и выглядел импозантно.

«Приятно познакомиться», — сказал он, слегка кивнув маме. Так же сдержан он был и со мной, но взял мою руку и пожал ее. Он заметил, что я слегка отстранилась, и, безошибочно связав это с тем, что мои ладони были постыдно мокрыми, еще шире улыбнулся: «Ты — прелестная девочка, милая». Прежде чем я подала голос, чтобы поблагодарить его, он отпустил мою источающую влагу ладонь и сказал Чаку так, словно меня там не было: «Очень хорошо, что она будет у нас работать. Потрясающие глаза. Она напоминает мне ребенка на картине „Возраст невинности“».

Он приготовился распрощаться с нами, и когда ступил назад к своему креслу, Чак многозначительно подмигнул мне. Я была готова идти, но в этот момент мама начала торопливо говорить: «М-р Чаплин, вы, наверное, не помните, но всего несколько лет назад вы видели Лиллиту. Это было в том ресторане, за углом…»

Он вежливо выслушал ее бессмысленный рассказ. «О, да, я помню, — солгал он, приближаясь к своему креслу, — а теперь, извините, я должен вернуться к своей работе».

По дороге домой я негодовала. Я считала, что мама не должна была вспоминать эту глупую историю, он и так был очень любезен, приняв нас в своем кабинете.

— Это вовсе не было глупо, — кинула она небрежно, — он помнит встречу с тобой. Я могла говорить об этом, как только напомнила ему.

Мама предусмотрительно подписала контракт, прежде чем сообщить об этом дедушке. Как и следовало ожидать, он чуть не подскочил до потолка, а затем нехотя признал, что никак не

может помешать; что зло свершилось, и теперь официальный контракт стал моральным обязательством, которое приходится уважать. После нескольких часов тишины, однако, он взвился вновь. «Вы знаете, что я здесь делаю? — обратился он непонятно к кому. — Да я просто распинаюсь перед уличными девками!» И он стукнул по столу так, что из стеклянной вазы выскочили восковые фрукты.

Суета на чаплинской киностудии завораживала меня. Когда происходили съемки, Чаплин требовал абсолютной тишины, хотя это было задолго до звукового кино, когда аппаратура могла уловить нежелательный шум упавшей где-то спички. Но в перерывах между съемками жизнь кипела. Электрики карабкались по лестницам, налаживая освещение; с грохотом трудились плотники; костюмерша вертелась вокруг артистов массовки, каким-то образом занимаясь троими одновременно; актеры вышагивали, репетируя предстоящую сцену.

Тем не менее, когда м-р Чаплин прибывал на съемочную площадку, готовый работать, из всего этого кажущегося хаоса рождался удивительный порядок. Чак Рейснер сообщил мне, что ни одна деталь не ускользнет от взгляда босса, что он законченный перфекционист «Иногда он срывается и использует выражения, которые тебе еще рано слышать, — сказал он, — но если понаблюдать, можно заметить, что разрешают ему подобное те, кто недавно работает с ним. С другими он не позволит себе этого, потому что они профессионалы, которых он уважает и которым доверяет. Они пытаются быть безупречными тоже. Им до него далеко в этом деле, но они стараются, и босс это знает. Покрутись здесь, дорогая. Ты увидишь мастера за работой».

Так я и делала. Чарли Чаплин начинал свою карьеру в кино как наемный артист для киностудий Keystone и Essanay, и, как правило, от него не зависел конечный результат. Когда он сам стал работодателем, он взял реванш. Для каждой картины он был и автором, и звездой, и продюсером, и директором, и главным монтажером, и он настолько углубленно освоил все другие технические и творческие процессы кинопроизводства, что если бы это было в человеческих силах, то делал бы все сам.

В «Малыше», его шестьдесят второй картине, он почти так и поступал, по крайней мере, так казалось. Когда я не была занята в сценах с уличными беспризорниками, или в школе — я считала собственного учителя роскошью, — я стояла сзади, впиваясь взглядом в великого человека. Было очевидно: он точно знает, что собирается делать в каждый момент, — экспериментировать с камерой для определения точности угла съемки или

собственноручно поправлять потрепанную курточку Малыша на четырехлетнем Джеке Кугане. Я с удивлением узнала, что хотя он работал над этой историей почти год, прежде чем запустить ее в производство, пока еще не было сценария, а была только смутная идея, как будет развиваться сюжет. Эта гибкость как-то не вязалась с таким четким человеком; при том количестве людей, которым он платил зарплату, мне казалось странным — как и маме, которая постоянно была рядом со мной, — что он работал в такой внешне расслабленной манере.

Содержание «Малыша» было обманчиво простым. Эдна Первиэнс, ведущая актриса Чарли в последние годы, играла незамужнюю мать, которая отказывается от своего ребенка. Ребенка находит Бродяга, берет его к себе и всячески старается создать для него дом.

Конечно, это была только идея, а далеко не содержание, и любой другой серьезный кинорежиссер явно напрашивался бы на неприятности, начиная полномасштабное производство с такой сырой идеей. Но Чарли Чаплин был не такой, как другие, и никто на съемочной площадке не сомневался, что будет создан шедевр.

В течение нескольких дней съемок то одной, то другой сцены он часто терял терпение, но только со взрослыми, и никогда с детьми; например, он явно очень любил Джеки Кугана, и его терпение по отношению к этому ребенку было безграничным, даже когда он проваливал одну пробу за другой. «У нас масса времени, — говорил он, успокаивая растерянного ребенка. — Самые трудные сцены сыграть легче всего. Труднее всего сделать самые легкие. Так что давайте все успокоимся, хорошо?»

В первые несколько дней он, казалось, не замечал меня, хотя и занимался сценой, в которой я появлялась среди других детей. Потом неожиданно, словно увидев меня впервые, он вызвал одного из художников компании и сказал: «Разве она не напоминает девочку с картины „Возраст невинности“?» Художник согласился или сделал вид. «Изобразите ее в этом духе, — распорядился Чарли, — не пожалейте времени и сделайте это хорошо».

Полтора дня я позировала для художника. Того не слишком вдохновило это поручение. Я поняла, что он оправдывает причуды м-ра Чаплина, которые тот вскоре полностью забывал.

Парадоксально, но взрослые должны были называть его м-р Чаплин, а нам, детям он предлагал называть себя Чарли. Сомневаюсь, что кто-то из нас так поступал, мы слишком благоговели перед ним, хотя почти каждый день он выкраивал время, чтобы поиграть с нами. После пары часов напряжения на съемочной площадке, когда он разглагольствовал по поводу

реальной или воображаемой неудачи, он мог спокойно собрать детей вместе поиграть в прятки. Он играл азартно, искренне, забывая обо всем на свете. С громким хохотом он бегал на своих превосходных ногах балетного танцора и, казалось; отдавался игре в прятки так же сосредоточенно, как съемкам своих фильмов. Мы обожали его, потому что он был одновременно и одним из нас, и всезнающим отцом.

Сам он не увлекался плаванием, но на территории киностудии был бассейн, и он с наслаждением наблюдал, как мы резвились в воде, и с таким же наслаждением заботился о нас — обо всех, никого не выделяя. «Надень свитер, смотри не простудись», или «Выспись хорошенько сегодня, это не дело — не высыпаться». Я наблюдала за ним с замиранием сердца. Я знала, что у его жены был ребенок и умер, когда ему было всего три дня от роду. И я слышала, что одна из причин, почему его жена развелась с ним, была в том, что после смерти ребенка их брак уже не мог быть прежним: Чарли стал меланхоличным и не разговаривал с женой. Деталей я не знала.

Выделять меня среди других детей и проявлять особый интерес ко мне он стал нескоро. Сначала, помимо того дня, когда он заказал художнику мой портрет, не было никаких признаков, что он воспринимает меня иначе, чем других. Но потом я стала ловить его взгляды на себе, словно он изучал меня, и на его обычно оживленном лице появлялось отсутствующее выражение. Мне было трудно определить это выражение, но оно вызывало у меня странное ощущение.

Время от времени он приезжал поздно, когда накануне долго работал. В один из таких дней мы с мамой пришли на студию как раз перед его появлением. Когда он появился, он увидел меня одну — мама куда-то отошла — и повел меня под руку в направлении своей гримерки.

— Пойдем. Я хочу показать тебе кое-что, — сказал он.

Я пошла с ним, озадаченная и слегка нервничая.

Его гримерка в дальнем конце длинного ряда студийных офисов, растянувшихся на протяжении целого квартала между Сансет-Бульвар и Делонгпре, являла собой на самом деле бунгало: роскошная гостиная с камином, комната наподобие алькова с туалетным столиком с трюмо, гардеробная комната и маленькая ванная комната. Было несколько физических признаков того, что это его квартира: он не был тщеславным человеком, но стены были украшены фотографиями с автографами знаменитостей. Он высвободился из своего пальто, пока я притворялась, что внимательно изучаю подписи Галли-Курчи, Уинстона Черчилля, Энрико Карузо, Бернарда Шоу и

Джорджа Карпентера. Я ожила, когда каким-то образом вдруг материализовался его слуга-японец и начал готовить костюм маэстро и грим. Комната была наполнена ароматом какой-то экзотической парфюмерии.

М-р Чаплин показал на стул рядом с туалетным столиком и пригласил меня присесть. С легкой улыбкой он достал мой портрет без рамки, который сделал художник и спросил:

— Ну, как он тебе нравится?

Сходство было чересчур лестное для меня, но в моих глазах была задумчивая печаль, которой я в себе не наблюдала. Слегка покраснев, я ответила:

— Очень красиво, но здесь я в сто раз лучше, чем в жизни.

— Ерунда, ерунда, — возразил он, взяв картину опять и внимательно изучая ее. — Лучше ты здесь или нет не имеет никакого значения. Берт не мог порадовать меня больше Я хотел, чтобы он схватил образ в картине «Возраст невинности» и ему удалось это. Но он сделал больше — он передал особое, нечто неизъяснимое в твоих глазах.

— Неизъяснимое? — переспросила я. Я понятия не имела, что означает это слово.

Утвердительно кивнув, он протянул картину Коно, слуге. «Я наблюдал за тобой, дорогая, когда ты не видела. Меня так и тянет смотреть в твои глаза. Они такие молодые, но все же — как бы это сказать? Возможно, зрелые. Нет, не то. — Он улыбнулся. — Они делают тебя очень таинственной». Он повязал накидку вокруг шеи, чтобы делать грим, и повернулся к зеркалу.

Мне говорили и родные, и другие люди, что у меня прелестные глаза, но никто не называл их таинственными. Мне было страшно до смерти уже оттого, что я нахожусь в одной комнате с этим великим человеком. А то, что он назвал меня таинственной, пугало меня еще больше.

— Твое имя Лиллита… Романские корни, конечно. Это было утверждение, не вопрос.

— Да, где-то наполовину, — сказала я. — Испанские. А еще английские, ирландские и валлийские.

Некоторые дети шутили над моим именем и называли меня «Спик-Мик»[1], что ужасно расстраивало и раздражало меня.

«Всего двенадцать лет! Поразительно!» — он изумлялся так, словно никому до меня не было двенадцати лет. Он накладывал розовый тон на лицо, пока слуга молчаливо и уверенно помогал ему. На минуту повисла неловкая тишина, пока м-р Чаплин смотрел на свое отражение в зеркале, подводя глаза черным карандашом и подкрашивая ресницы тушью. «Дорогая, а ты не думала стать киноактрисой? Наверняка, думала, уверен, все дети

мечтают об этом. Но я имею в виду, думала ли ты об этом серьезно?»

Я наблюдала, как он методично накладывает пудру поверх грима, подкрашивает бачки, и думала, можно ли признаться, что на самом деле я вовсе не думала о съемках в кино, как о карьере. Всякая другая девочка моего возраста отдала бы все на свете, чтобы стать кинозвездой наподобие Мэри Пикфорд — моя лучшая подруга Мерна Кеннеди редко говорила о чем-либо другом — но я никогда не мечтала о славе. Я была очень взволнована, когда Хэл Паркер предложил мне и маме участвовать в массовке в картинах Джеральдин Фаррар и Уоллис Рейд, я была взволнована и теперь, работая у Чарли Чаплина. Эта было интересно, но мысль заниматься этим все время меня не преследовала. Впрочем, отвечая ему, я старалась смягчить это: «Я — ну — я не знаю, смогла бы я быть достаточно хорошей».

Он засмеялся. «Достаточно хорошей?» Он нанес немного клея на верхнюю губу, прилепил чаплинские усы и вскочил так быстро, что я вздрогнула. «Наверное, лучше мне судить об этом», — заявил он и направился к двери, где висел костюм бродяги. Слуга задернул шторку перед ним.

«У меня есть пара идей, — раздался голос м-ра Чаплина из-за занавески. — Я пока еще не вполне все представляю, но что ты думаешь по поводу пробы, чтобы посмотреть, как ты будешь выглядеть на экране?»

А ведь он серьезно, подумала я, никто из нас не проходил никаких проб для уличных сцен с беспризорниками в «Малыше», наше участие было настолько незначительным, что индивидуальные пробы были бы слишком хлопотны и отняли бы слишком много времени. А когда предлагают пройти пробу, это значит уже что-то важное. Наверное, я была совершенно ошарашена, потому что он окликнул меня: «Лиллита? Ты там?»

— Да, — отозвалась я. — Я думаю, надо поговорить с мамой…

В его голосе звучало нетерпение:

— Естественно, она будет участвовать в обсуждении. Но сейчас я не спрашиваю ее мнения. Я спрашиваю твое мнение.

— Звучит очень заманчиво.

В дверь постучали. Когда Коно открыл ее, я обернулась и увидела маму. Она выглядела ужасно озабоченной. Прежде чем Коно смог вставить слово, она вошла, быстро оглядев все вокруг — меня, сидящую возле туалетного столика, невозмутимого слугу подле занавески. Я немедленно встала, поняв, что мама расстроена и почувствовав вину, хотя и не знала, в чем виновата.

— Почему ты не сказала мне, что идешь сюда? — громко

призывала меня к ответу мама, не сводя глаз с занавески. На секунду я испугалась, что она подскочит к занавеске и отдернет ее.

Прежде чем я смогла ответить, отреагировал м-р Чаплин:

— В чем дело? Кто там?

Он вышел одетый в наряд Бродяги, за исключением пиджака и башмаков. Он встретил маму, слегка нахмурившись, ожидая объяснения причины ее неожиданного визита. Теперь, когда м-р Чаплин был во всеоружии, Коно невозмутимо удалился в другую часть бунгало.

Хотя еще минуту назад мама выглядела недовольной, ее неодобрительный вид улетучился. Голос и манера стали застенчивыми:

— Извините, м-р Чаплин. Я не хотела так врываться…

— Да? А чего же вы хотели?

Расстроенная, она отступила в мою сторону.

— Я везде искала Лиллиту. Я беспокоилась… Студия такая большая. Потом кто-то сказал мне, что ее видели вместе с вами, и я все-таки ее мать…

Его голос стал ледяным:

— Боюсь, я не понимаю формы, которую приняла ваша обеспокоенность, миссис Макмюррей. У меня нет обыкновения совращать двенадцатилетних девочек.

Извиняясь и бормоча объяснения по поводу того, как матери беспокоятся о своих дочерях, мама еще больше все портила. М-р Чаплин знаком велел слуге подать ему башмаки и пиджак и просто отвернулся от нее, показав, что разговор исчерпан. Он не произвел ни единого звука или жеста — и тем не менее мы с мамой оказались за дверью комнаты, словно никогда там и не были.

Я была уверена: м-р Чаплин никогда не простит мне этого, а я никогда не прощу этого маме.

Глава 3

Жизнь на этом не кончилась. Затаив дыхание, мы ждали Чака Рейснера, или кого-нибудь другого, кто подойдет к нам и скажет, что больше мы не работаем в картине. Но ничего подобного не произошло. Все утро м-р Чаплин холодно поглядывал время от времени на меня и полностью игнорировал маму.

К полудню он подозвал нас кивком головы. Он был сдержанным с мамой, но не жестким.

— Думаю, Лиллита сказала вам, что я хочу сделать пробы с ней.

Мама подтвердила.

Он кивнул.

— Очень хорошо. Во-первых, я хотел бы кое-что объяснить вам. Цель пробы — определить, как она смотрится на экране, как она двигается, как проявляется ее индивидуальность. Я объясняю вам это, потому что существует десяток причин, по которым она может не пройти пробу, и ни в одной из этих причин ее нельзя винить. Я видел прекрасных женщин, которые совершенно нефотогеничны, и я видел очень темпераментных женщин, чье обаяние совершенно терялось на экране. Теперь, когда вы это знаете, вы хотите, чтобы ваша дочь проходила пробу?

За те годы, что я знала этого человека, было несколько случаев, когда он пытался смягчить свою жесткость по отношению к кому-то, кого он не уважал всем сердцем. Нельзя сказать, что он не признавал ошибок, или не исправлял неразумных решений, но он был самым упрямым человеком на свете то ли от природы, то ли в силу воспитания, либо в силу и того, и другого. И если он выносил суждение о другом человеке, его было практически невозможно сдвинуть с его точки зрения, даже когда все факты были против. В тот день, однако, он повел себя не так, как обычно.

— Миссис Макмюррей, — сказал он. — Я был не просто груб этим утром. Я был глуп. Конечно, вы были вправе беспокоиться за вашего ребенка. Вы отвечаете за нее, и это главная ваша забота. Я был неправ. Хочу заверить вас, что теперь понимаю это и искренне извиняюсь.

От этой смеси банальности и сентиментальности мама растаяла. М-р Чаплин нашел самый прямой путь к ее сердцу. Сознательно он это делал или нет, но он очаровывал маму, чтобы избавиться от нее.

На следующий день, загипнотизированная им мама следила за ним взглядом, тогда как он был весь в делах. Он подвел меня к

двум своим операторам и спросил их: «Сколько лет этой девочке?» Один из них угадал верно: «Двенадцать». Другой сказал: «Пятнадцать, шестнадцать».

После этого он занялся моими волосами. Он собрал их на макушке, потом отступил немного назад, поглядывая искоса, словно воображая меня в раме. Он закричал: «Мисс Прада! Мисс Прада!» — и студийная парикмахерша нерешительно приблизилась к нему.

— Причешите эту девочку так, чтобы она выглядела на восемнадцать, — приказал он.

— На восемнадцать, м-р Чаплин?

— На восемнадцать. Отведите ее на грим и проследите, чтобы они тоже сделали ее восемнадцатилетней.

Он поспешил прочь к своим камерам, оставив меня и маму обмениваться взглядами.

Проба не готовилась так тщательно, как это делают теперь. Меня причесали, загримировали и одели так, чтобы я походила на иностранку — взрослую иностранку, — а потом отвели на неиспользуемую съемочную площадку, где два оператора отсняли меня. Я с трудом балансировала на нелепых высоких каблуках и была в ужасе в течение всего этого часа, как казалось, бесцельной съемки, которая всех — в смысле м-ра Чаплина — разочарует.

Когда пришло время посмотреть пробу, я была уверена, что это конец.

Но я ошибалась. М-р Чаплин торжествовал.

— Превосходно, превосходно! — восклицал он, озираясь вокруг в поисках поддержки. Его главный оператор Ролли Тотеро спросил его:

— Ну, теперь, когда ты сделал пробу, что ты собираешься делать с этим?

— Я дам тебе знать, — ответил он, и попросил отвезти пробу к нему домой.

Это было в пятницу, и его не было на съемках в следующий понедельник. Вскоре мы узнали, почему: он проводил выходные и понедельник, продумывая очередную часть «Малыша». И его план строился вокруг меня.

От этого плана у меня голова пошла кругом. Эдна Первиэнс оставалась ведущей актрисой в картине, но ее первоначальная роль теперь менялась и подгонялась под новый вариант второй части. В новой версии появились знаменитые сны. Бродяга, измученный бесчисленными испытаниями и разочарованиями, постигающими его, пока он заботится о Джеки Кугане в своей темной мансарде, засыпает на пороге и ему снится, что он на

небесах, где улицы вымощены золотом, где все бесплатно и все добры. Мне предстояло выступить в роли Игривого Ангела, который мило поддразнивает застенчивого Бродягу.

М-р Чаплин был явно доволен тем, к чему пришел в своей концепции картины. И он был доволен тем — как много раз потом говорил мне и всем, кто оказывался рядом, в том числе моей маме, — что его интуиция по поводу меня не обманула его. Для совершенно неопытной девочки я была невероятно естественна.

Возможно, это ему казалось; на самом деле, с самого начала и до самого конца я пребывала в ужасе. Он был так воодушевлен работой со мной, что сделал то, чего ни одна другая исполнительница главной роли не позволила бы: он лишил Эдну Первиэнс ее комфортабельной гримуборной и поместил туда меня!

Мисс Первиэнс была соблазнительной блондинкой с роскошными плечами и шеей, алебастровой кожей и необычайно спокойным нравом. Как я узнала позже, она была любовницей Чарли до того, как он женился на Милдред Харрис, потом отчасти сохраняла отношения с ним в течение двух бурных лет его брака, а во время съемок «Малыша» их отношения подошли к концу, хотя она пока еще об этом не знала. Она была чрезвычайно терпеливой женщиной, главным образом потому, что он неизменно возвращался к ней после того, как отбивался от рук на какое-то время. И она умела оставаться милой и понимающей, даже если он вопил на нее на съемочной площадке.

Но она была далека от безмятежности, когда мне дали ее гримерку и на время стали обращаться, как со звездой. Несомненно, она была уязвлена, и перестала заботиться о приличиях. Когда наши пути пересекались где-нибудь на территории студии, она царственно проходила мимо, задрав нос. Тем не менее она продолжала — на людях, по крайней мере, — оставаться по-прежнему очаровательной с м-ром Чаплином.

Мой первоначальный контракт был разорван, и я подписала со студией Чаплина новый контракт на год. Это означало, что теперь я — официальный член того, что неофициально называлось акционерной компанией Чарли Чаплина. М-ру Чаплину это название не нравилось, он говорил: «Звучит, как закрытая корпорация, словно это семейное дело, куда никто со стороны не может проникнуть». Он предпочитал стационарную компанию исполнителей, и вполне обоснованно. Он знал достоинства и недостатки таких людей, как Эдна Первиэнс, Мак Суэйн, Генри Бергман, Альберт Остин и его сводный брат Сидней, и у него редко появлялось желание или время пробовать новых

актеров на роли, которые, вне всякого сомнения, могли сыграть исполнители его собственной компании. Я была первым исключением, а Джорджия Хейл и Вирджиния Черилл и Полетт Годдар должны были стать следующими, но по большей части он не стремился к роли открывателя новых талантов.

Мама наслаждалась моим новым статусом и пребывала на небесах в те дни, когда я закончила свою работу в «Малыше». М-р Чаплин сказал ей, что прочит мне блестящее будущее в кино. Дедушка, который отказывался приближаться к студии, ворчал. Что же касается меня, мне начинала нравиться идея стать членом команды Чаплина.

Во время кинопробы и в процессе съемок сцен с Игривым Ангелом я все еще не понимала до конца, что я действительно снимаюсь в кино. То, что я делала, было мечтой, забавной игрой, которой скоро предстояло подойти к концу. Когда до меня вдруг дошло, что новый контракт означал, что со мной хотят работать и дальше, все мои сомнения рассеялись, и я начала воспринимать свой статус всерьез.

Одно практическое преимущество принадлежности к компании заключалось в том, что я могла хвастаться своей «карьерой» перед завистливой Мерной Кеннеди. Другим преимуществом было то, что я получала свои 75 долларов каждую неделю, независимо от того, работала я или нет. Это была не столь уж впечатляющая зарплата — никто из актеров Чаплина не получал бешеных денег, — но это существенно увеличило запас моих карманных денег.

Плохо было то, что какое-то время после того, как съемки «Малыша» закончились, я видела м-ра Чаплина очень редко. О Чаплине говорили, что после съемок у него обычно бывает своего рода спячка, когда он обдумывает следующий фильм. Я обнаружила, что мне его не хватает, не хватает суеты, которую он устраивал вокруг меня. Мы не обменялись более чем десятком слов, помимо того, что говорили как босс и исполнитель, когда снимались сны, но я потеряла голову и не могла дождаться, когда увижу его снова.

Чарли Чаплин «впал в спячку» сразу же после «Малыша», но не для того, чтобы сконцентрироваться на следующем фильме «Праздный класс» (The Idle Class). Милдред Харрис потребовала развода.

Я поняла совсем немного из газетных репортажей о его проблемах того времени, остальное выяснилось позже. Милдред обвиняла его в психологической жестокости, ее адвокаты не только требовали содержания для нее и пытались помешать ему увести активы, но искали способ разделить общую собственность.

Глухой ночью он полетел в штат Юта с негативом «Малыша» под мышкой, зная, что если картина останется в Калифорнии, половина прибылей от нее будет по закону принадлежать жене. Тем самым он смог избежать осуществления права его собственного штата на арест его активов, а его самым главным активом в то время была пленка «Малыша».

Но даже м-р Чаплин понял, что он не мог оставаться за пределами Калифорнии навсегда. Он отправился в Европу, а потом вернулся назад, чтобы оказаться в эпицентре тяжбы между его адвокатом Натаном Бурканом в Нью-Йорке и адвокатом Милдред Харрис и газетной шумихи вокруг супружеской схватки Чаплин-Харрис. Несколько недель продолжалась борьба в суде и в газетных заголовках, прежде чем стороны согласились на переговоры. Милдред не получила ни пенни от сборов с «Малыша» как такового, но она получила более чем приличную компенсацию в 100 000 долларов наличными и часть общей собственности — что привело в уныние тех людей в студии, кто сочувствовал ему в этой брачной истории. Я первая была убеждена, что так называемую жестокость проявляла Милдред Харрис. Как посмела эта вымогательница причинять столько неприятностей самому доброму, самому интеллигентному, самому прекрасному человеку на свете?

Потом мы с мамой получили приглашение явиться в студию. Мы вернулись туда, как и другие, чтобы увидеть оживленного, загорелого, отдохнувшего босса, помолодевшего на несколько лет и горящего желанием взяться за работу. «Малыш» как раз начал идти в Нью-Йорке и принес единодушный восторг критики и удивительный успех в бизнесе.

Мы все были счастливы за него. Я была вне себя от радости, что он вернулся в такой отличной форме.

В то же время кое-что меня озаботило. В первый же день после возвращения, когда ему удалось избавиться на минуту от мамы, он кивком подозвал меня. Его улыбка обволакивала меня.

— Ты слышала когда-нибудь о Мэй Коллинз? — спросил он.

Я кивком подтвердила: «О да!» Все знали популярную актрису.

— Она мой близкий друг, и я устраиваю вечеринку по случаю ее дня рождения в эту пятницу, — сообщил он. — Хочешь прийти? Там не будет других детей, но ты с каждым днем все больше начинаешь выглядеть на восемнадцать, даже без грима ангела. Ты будешь смотреться вполне нормально, уверяю тебя.

— Я бы с удовольствием, — сказала я и начала лепетать о разрешении мамы.

Его глаза сузились.

— Давай не обсуждать эту вечеринку с твоей мамой. Хорошо? Это будет вечеринка без разрешения. Разумеется, все будет прилично, но будет гораздо веселее, если ты будешь без сопровождения.

— Ну…

— Ты можешь улизнуть в пятницу вечером, так, чтобы тебя не искали?

— Я… боже… вряд ли.

Я увидела маму, стоящую как раз позади м-ра Чаплина. Он полуобернулся и тоже увидел ее. Должно быть, она уловила суть разговора, потому что глаза ее горели.

— Моей дочери в пятницу вечером нужно делать домашние задания, м-р Чаплин, — отрезала она. — На самом деле, ей предстоит делать домашние задания каждый вечер еще несколько лет.

Мама повела меня домой. И снова мы ждали, что нас уволят. Но нет. Мы продолжали работать в корпорации Чарли Чаплина, хотя сам м-р Чаплин держался с нами холодно. Мы играли служанок в «Праздном классе», и больше ничего. В конце года мой контракт не продлили.

Дедушка вздохнул с облегчением: глупое приключение осталось в прошлом. Мама говорила, что сожалеет, поскольку считала, что виновата в случившемся, возможно, она признала вину слишком поспешно, не дожидаясь, пока будут проанализированы все детали. Я была безутешна, так как была уверена, что никогда больше не увижу м-ра Чаплина.

Глава 4

Учителя постоянно посылали маме записки, жалуясь, что хотя у меня и хорошая голова и необычайные способности, но нет никакого интереса к учебе. Они были правы. Чтение меня захватывало, и я обнаруживала огромную любознательность в отношении множества вещей. Но в стандартные рамки я не вписывалась. Я упорно хотела учиться на свой манер.

Это беспокоило дедушку, который всегда подчеркивал достоинства формального образования. Я попыталась порадовать его. После перехода из церковной школы Святых Даров в государственную среднюю школу я всерьез взялась за учебу и окончила восьмой класс, хотя и через силу, но с отличием. Потом я собралась в Голливудскую школу секретарей, хотя не горела желанием учиться там. Дедушка пошел на компромисс и, скрипя зубами, записал меня в Драматическую школу Куммнока, школу ускоренного обучения, которая давала полную общеобразовательную программу и вдобавок факультативный курс драматического искусства.

В школе Куммнока я училась лучше, хотя мысли мои по-прежнему витали в облаках.

Теперь мне было четырнадцать, я жила с мамой в Голливуде, в доме, куда она переехала во время одной из своих попыток стать финансово независимой от дедушки. Она превратила дом в меблированные комнаты, и хотя большого бизнеса ожидать было трудно, казалось, она добьется успеха.

На некоторое время она определенно преуспела с одним из квартирантов. Это был стройный, красивый инженер со смачным, протяжным алабамским произношением. Казалось, едва он въехал, как уже влюбил в себя маму и стал ее третьим мужем.

В некоторых отношениях Боб Спайсер был практически неотличим от других маминых мужей: сильный, красивый, поначалу внимательный, и не слишком амбициозный. У него был богатый отец в Бирмингеме, но стремление к независимости толкало его на самостоятельный путь, поэтому после окончания колледжа он отправился в Калифорнию и начал работать геодезистом.

Понадобилось совсем немного времени, чтобы между ним и мамой начались серьезные ссоры.

— Ты инженер, а растрачиваешь свой талант на эти геодезические экспедиции, — говорила она язвительно. — Когда, наконец, ты проснешься и начнешь делать карьеру для себя?

— Сейчас нет солидных вакансий для инженеров, дорогая, —

отвечал он. — В Лос-Анджелесе все жители — дипломированные инженеры.

— Это не оправдание, Боб. Ты просто недостаточно стараешься.

Потом, в один прекрасный день Боб ввалился в дом с потрясающей новостью. Ему предложили пойти в кино: «У меня не черный глаз, если я говорю о себе. Может быть, я стану звездой, и все мы сможем уйти на покой молодыми. Эй, не хотите мой автограф?»

Мама надулась. Работа геодезиста была не блеск, но стать актером! «Это самая глупая и безответственная вещь, которую я когда-либо слышала!» — кричала она.

Тем не менее Боб полностью отдался этой идее. Месяцами он ждал, пока ему что-нибудь перепадет. Но ничего не происходило.

Мамины опасения, что кто-то или что-то может заронить неподобающие мысли в голову ее дочери, говорили о самых лучших ее побуждениях, но это было просто наивно. Я уже была полна ими.

Нельзя сказать, что дело шло дальше мыслей. Мне не разрешалось ходить на свидания, даже в чьем-то сопровождении, но если бы я и делала это, и если бы какой-то мальчик позволил себе хотя бы намек на непристойность, уверена, я была бы осмотрительна. Тем не менее, по мере моего приближения к пятнадцатилетию, секс владел моим сознанием большую часть времени.

Сама того не зная, мама способствовала этому на раннем этапе моей жизни — своими душераздирающими стонами, которые я слышала, когда она была в постели с Хэлом Паркером; своей болезненной реакцией, когда я спрашивала, откуда я появилась, и своим нервными растерянными ответами; постоянными требованиями, чтобы я держалась подальше от мальчиков, и беспочвенными подозрениями. Ее попытки защитить меня, вызванные самыми добрыми намерениями, были чересчур неуклюжими. До такой степени, что я была и заинтригована этим всем, и чувствовала себя в чем-то виноватой, когда дело касалось щекотливой стороны того, что происходит между женщиной и мужчиной.

Из немногих моих друзей Мерна Кеннеди была единственной, с кем я осмеливалась говорить о предмете, который так волновал меня. Я обнаружила с облегчением, что она, как и я, полностью поглощена этой темой.

Кроме некоторого отношения к шоу-бизнесу, — она и ее брат Мерл ездили в турне по театрам сети «Пэйнтеджес» с танцевальной программой, а я работала на Чарли Чаплина, — мы

были совершенно непохожи друг на друга. У Мерны были кирпично-рыжие волосы, светлая кожа и голубые глаза, у меня — темные волосы, темная кожа, темные глаза и высокие скулы от моей испанской бабушки. Ее гибкое тело было грациозно, как у танцовщицы, я же была высокая и ширококостная. Она — склонна к агрессии, я — более сдержанна. Тем не менее мы были по-настоящему близки — и общий интерес к мальчикам сближал нас еще больше, словно мы были единственными девочками нашего возраста, которые чувствовали подобное.

Мерна завидовала мне из-за того, что я снималась в кино, а я завидовала ей, поскольку в семье ей предоставляли свободу действий и не контролировали каждый ее шаг. В одну из наших прогулок я призналась, что завидую, и пожаловалась, что моя мама все еще обращается со мной, как с ребенком.

— А почему бы тебе не ослабить поводок? — растягивая слова, произнесла она. — Почему не поразвлечься с каким-нибудь парнем? Твоя мама не может следить за тобой каждую секунду.

— Что ты имеешь в виду?

Мерна грязно ухмыльнулась. Мы были почти одного возраста, но она успела уже побывать во время гастролей повсюду, и ее искушенность заставляла меня чувствовать себя совершенно неотесанной.

— Уверена, ты понимаешь, о чем я говорю. Но ты называешь это по-другому. Только не надо прикидываться такой наивной. Ведь ты уже делала это пару раз, разве нет?

— Что ЭТО?

— Ох, не строй из себя дурочку! — ответила она. — Уверена, что ты трахалась.

Я никогда не слышала такого употребления этого слова, но сразу поняла смысл. И была шокирована. Дурачилась Мерна, бравировала или была серьезна?

— Это ты все знаешь, — изрекла я рассудительно, глядя в пространство. — Я никогда даже не целовалась с мальчиком.

— Шутишь! — Мерна завопила так, будто я призналась ей, что никогда не принимала ванну.

— Нет, не шучу.

— Боже… — выдохнула она, недоуменно покачивая головой. — Никому не рассказывай об этом, а то наживешь себе неприятностей. Но я твой друг, мне ты можешь доверять. Если меня кто-нибудь спросит, я тебя не выдам.

Я робко засмеялась.

— Ты говоришь так, словно я должна стыдиться того, что я девственница. Да ведь мне всего пятнадцать!

— Ты достаточно большая и достаточно взрослая, — сказала

она беззаботно. — Черт возьми, чего ты дожидаешься? Рождества или еще чего-нибудь? Трахаться — это лучшее, что может быть. И не оправдывайся, что тебе мешает твоя мама.

Я не хотела неодобрения Мерны, но в то же время я не хотела, чтобы она сбивала меня с пути истинного. Я сказала: «Есть вещи, которых девушка должна избегать. Например, нельзя проявлять свои симпатии слишком открыто». Это звучало ужасно занудно.

Мы были на углу улицы, ведущей к моему дому, и я замедлила шаг, а Мерна остановилась, как вкопанная.

— Ты хотя бы знаешь, какая ты дремучая? — с раздражением заявила она. — Может быть, лучше поговорим по-человечески? С такими мыслями тебе и до психушки недолго!

Мы поднялись на третий этаж маминого дома, миновали холл и вошли в клетушку, которую мне выделили, когда мама вышла замуж за Боба Спайсера. Мы закрыли дверь, уселись, и Мерна Кеннеди, которой только что исполнилось пятнадцать, начала читать мне лекцию. И одновременно образовывать меня.

Я никак не могла понять, что некоторые девочки становятся взрослыми в двадцать один, некоторые в четырнадцать-пятнадцать, а некоторые никогда не взрослеют. Она честно считала себя взрослой и достаточно разумной, чтобы наслаждаться взрослыми удовольствиями, и она твердо и решительно подвела меня к мысли, что это слишком здорово, чтобы бояться. Она призналась, что не только обнималась, целовалась и занималась петтингом, но с удовольствием распрощалась со своей девственностью год назад и с тех пор трахалась напропалую. А то, чего ее предки, учителя и соседи не знали о ней, не могло причинить им вреда. В прошлом году она постоянно перепихивалась с пятью мальчиками и одним мужчиной, и чем чаще она это делала, тем больше ей это нравилось. Конечно, от этого бывают дети, признала она, но она поняла, что главное заранее убедиться, что у человека, с которым встречаешься, есть презерватив. А если нет, у нее на всякий случай есть с собой запас.

Презерватив?

Мерна объяснила.

И объяснила еще много другого. Ну, поняла, наконец, что нет ничего страшного в том, чтобы поразвлечься с симпатичным мальчиком, когда знаешь, как замести следы, чтобы предки ничего не знали и не доставали тебя? Что плохого в том, чтобы дурачить ребят и уметь нравиться им? И что плохого, если они нравятся, и нравится то, что они могут сделать с тобой и для тебя?

Сидя напротив меня с видом купидона-обольстителя, Мерна в деталях рассказывала, как ловила кайф в своих сексуальных приключениях. Все это звучало фантастически. И казалось, я никогда не буду участвовать ни в чем подобном со страстью, даже отдаленно напоминающей ее. Безусловно, я была заинтригована. Но не повержена. Как бы там ни было, я не собиралась делать это.

Мерна презрительно фыркнула.

Прошло меньше двух лет, и Мерна снова была у меня в гостях — не у той неуклюжей Лиллиты Макмюррей, а у Литы Грей Чаплин, жены величайшего артиста того времени. Она сказала: «Все, что я тебе тогда рассказывала в доме твоей мамы, было бессовестной ложью. Я была тогда не менее невинна, чем в тот день, когда родилась!»

Тем не менее, в то время нашей близкой дружбы, чем больше Мерна завлекала меня детальными эротическими описаниями своих небесных наслаждений, тем более заинтригована и напугана я была. Неделями мы, хихикая, обсуждали кучу всяческих деталей, затаив дыхание, я задавала ей тысячи вопросов и получала тысячи придуманных ответов, не подозревая, что меня водят за нос.

Потом как-то раз я пришла домой из школы и обнаружила маму одну, сидящую в ее комнате в кресле-качалке с безжизненно опущенными на колени ладонями и искаженным лицом. На зеркале рукой Боба огромными буквами губной помадой было написано: «С меня хватит!»

Больше он не появлялся, не звонил и не писал писем.

А мы вернулись в дом моего дедушки.

За те два года между моментом, когда я была выброшена из студии, и временем, когда встретила Чарли Чаплина в следующий раз, его слава достигла зенита, и повлиять на нее не мог даже скандальный развод с Милдред Харрис. «Малыш» имел сногсшибательный успех, а за ним последовали два короткометражных фильма «Праздный класс» (The Idle Class) и «День зарплаты» (Pay Day), и более длинный фильм под названием «Пилигрим» (Piligrim). Те серьезные критики, которые поначалу или игнорировали его, или называли вслед за ним самим «маленьким грошовым комедиантом», теперь успели вскочить в последний вагон и начали восхвалять его, объявляя единственным и неповторимым гением кинематографа.

Интервью в газетах — а их он давал часто — показывали, что теперь он уже не называет себя грошовым комедиантом. Хотя он по-прежнему был далек от высокомерия и чванства, можно было заметить, что всерьез он воспринимал лишь ту критику, которая

всерьез воспринимала его. Постепенно все же едва заметные признаки напыщенности начали просачиваться в его высказывания о собственных работах.

Он удивил всех, сняв после «Пилигрима» «Парижанку» (A Woman of Paris). В этом фильме он был автором сценария и режиссером, но сам не играл, если не считать маленькой роли привокзального носильщика. Картина сделала звезду из Адольфа Менжу — который несколькими годами позже во всеуслышание критиковал Чарли. «Парижанку» приняли очень хорошо, несмотря на зловещие предсказания, что поскольку его конек — комедия, то, пренебрегая им, он рискует.

Этот фильм стал лебединой песней Эдны Первиэнс как актрисы. Во время съемок «Малыша» она начала пить — не сильно, но достаточно, чтобы раздражать Чарли, считавшего пьянство в рабочее время непрофессиональным, а следовательно, недопустимым поведением. Все чаще она появлялась перед камерами с чуть красноватым лицом, с чуть менее твердой походкой, а Чарли спокойно выговаривал ей: «Следи за собой. Все это отразится на фильме. Долго от камеры это не скроешь».

Он был прав, к 1923 году печальные изменения, происходящие с Эдной, стали очевидными. Ее лицо, пока еще привлекательное, стало отечным. Ее неуклюжая походка с вывернутыми наружу носками, стала почти чаплинской. Она набрала вес, и ей приходилось затягиваться в корсет, чтобы выглядеть правдоподобно в качестве очаровательной возлюбленной Менжу. Ее отношения с Чарли были давно в прошлом.

Другой босс просто разорвал бы контракт и предоставил ей пастись на вольных хлебах. Но у Чарли, который часто бывал беспощадным с самыми близкими людьми, была и сентиментальная струна, которую он продемонстрировал в случае с Эдной. Он испытывал благодарность к ней за почти восемь в целом хороших лет, проведенных вместе, поэтому он строил фильм «Парижанка» вокруг нее, доверяя ей ответственные драматические сцены, которое льстили ее опьяненному эго, и обращался с ней предельно любезно. В рецензиях хвалили и его, и Менжу, и постановку в целом, но Эдну по большей части обходили молчанием. [2]

После завершения «Парижанки» в газетах стали писать, что у Чарли Чаплина есть грандиозный план — снять полнометражную картину под названием «Золотая лихорадка» и что он ищет молодую актрису на главную роль.

Я хотела получить эту роль и решила предпринять первый независимый шаг в моей жизни. Попытаться добиться ее.

Мое решение попробоваться на роль подогревалось предсказанием Мерны, что мне не хватит духу. Тем не менее я была достаточно самоуверенной и в свои пятнадцать считала, что нет ничего невозможного для меня, стоит только захотеть. А если я и не получу роль, рассуждала я философски, не арестуют же меня за эту попытку!

В воскресенье утром я отправилась в студию Charles Chaplin Film Corporation, хотя к этому моменту от моей бравады осталась лишь бледная тень. Я пошла преимущественно из-за Мерны, мужество которой не позволяло мне сдаться. Я взяла ее с собой поддержать мою угасающую отвагу.

В приемной студии я назвала занятой леди за столом свое имя и бодро спросила, на месте ли Чак Рейснер. Прошло много времени с тех пор, как я видела Чака, и никак нельзя было ожидать, что он сейчас постелет мне красную дорожку или даже просто выйдет поприветствовать меня. Леди из приемной предложила подождать и отправилась за ним.

Мы с Мерной прождали полчаса, Мерна нервничала, а я была почти готова сдаться, когда в комнату решительно вошел Чак Рейснер и поздоровался со мной. Он держался доброжелательно, хотя и не проявлял прошлой теплоты и непосредственности. Он сел между Мерной и мной на бежевом диванчике и спросил:

— Ну, что я могу сделать для тебя, Лиллита?

Ну и хитрец, сказала я себе. Посмотрим, что стоит за этими словами.

Каким-то образом мне удалось не звучать слишком инфантильно.

— Я читала, что м-р Чаплин ищет девушку на роль в «Золотой лихорадке», — сказала я на удивление гладко. — С тех пор, как я была здесь в последний раз, я много занималась драматическим искусством и подумала…

Мерна, которая была так храбра и уверена в себе, пока не попала сюда, теперь сидела прямо и неподвижно. Приходилось полагаться только на себя.

Чак выслушал меня и принялся жевать верхнюю губу. Потом сказал мягко:

— Ты не очень разбираешься в киношных делах, так ведь, милая? Никто не приходит с улицы предлагать себя для участия в пробах. Это делается через агентов, а иногда по блату — более крупному, кстати, чем я, для такой роли, как эта, — только никогда вот так.

— Извините…

Мне было стыдно, что я оказалась такой глупой и еще стыдно, что я создала впечатление, будто пришла просить его

походатайствовать за меня. Впрочем, это впечатление было недалеко от правды, только попытка воспользоваться знакомством с ним поначалу не казалась мне неприличной.

Но Чак не был рассержен. Он улыбнулся и сказал:

— Мне пора спешить, но вы, юные леди, можете пойти со мной и посмотреть на нашу сумасшедшую работу. Ну, как?

Конечно, мы сказали «да». Чак повел нас на территорию, такую знакомую мне. За исключением большего, чем обычно, количества цветов, новых посадок вокруг пруда и нового офиса, студия была прежней. Та же суета: шумная команда из отборных профессионалов знала не только свое дело, но и то, как его делать с минимальными затратами времени и максимально эффективно. Пройдя большую, сооруженную на возвышении, съемочную площадку, мы приблизились к декорации, представлявшей собой убогое жилище — предназначенное служить интерьером в «Золотой лихорадке», — которое крепилось на склоне с помощью системы шарниров.

Чак повел нас через лабиринт стоек, коробок, мотков веревки и проводов, камер, стульев, мешков с искусственным снегом и ветродувной машины, которую проверяли электрики. Я видела издали м-ра Чаплина, занимавшегося всем и вся, выкрикивающего поочередно то проклятия, то комплименты. Я подумала, что он выглядит более мрачным, немного постаревшим и, если это только возможно, еще более притягательным. Меня и Мерну он не видел.

Чак достал для нас пару раскладных стульев, поставил их возле стены и извинился, что спешит. Все на студии Чаплина куда-то спешили.

Мерну поразила не только всеобщая суета, но и то, как много людей узнавали меня в течение дня и останавливались на пару минут поздороваться со мной. Я тоже была впечатлена и польщена — но не признавалась в этом Мерне. Может быть, она и знала, каков мужчина в постели, но зато ее никто не знал ни на одной студии, а тем более на студии Чаплина. Первыми в тот день меня узнали два мальчика, которые рассказали другим, что на студии Игривый Ангел. Подошел Мак Суэйн, забавный, похожий на моржа актер, игравший хулиганов в нескольких картинах Чаплина, которым Чаплин искренне восхищался. Подошли и операторы Ролли Тотеро и Джек Уилсон, сообщившие, что я стала совсем взрослой и очень хорошенькой.

Очень тепло приветствовал меня Генри Бергман. Это был закадычный друг Чарли, всегда оптимистичный и неунывающий человек, который выполнял поручения, присутствовал на рабочих совещаниях и выступал в роли придворного шута.

«Привет, красавица, а Чарли знает, что ты здесь?» — спросил он. Я ответила, что сомневаюсь. «Хорошо, никуда не уходи, — сказал он. — Чарли подойдет к тебе. У него дел по горло, но он не упустит возможности полюбоваться хорошенькой мордашкой».

Генри был прав. Через несколько минут я заметила, как он ведет Чаплина под руку (Генри Бергман был одним из немногих чаплинских сотрудников, кто был в контакте с боссом), говоря что-то, чего я не могла слышать, и указывая в направлении меня.

М-р Чаплин посмотрел в нашу сторону и нахмурился. Я застыла: это могло означать только то, что он сразу же узнал меня, вспомнил историю с вечеринкой Мэй Коллинз несколько лет назад и сейчас прогонит меня.

Вместо этого, все еще хмурясь, он кивнул. Потом он отвернулся, чтобы обсудить что-то с плотником, но через полминуты посмотрел на меня опять. В течение следующего часа он снова и снова бросал взгляды в мою сторону. Потом я увидела, как он беседует с Чаком Рейснером, и заметила, что он смотрит на меня более пристально, чем прежде. Казалось, в его взгляде сквозил вопрос, связанный со словами Чака о цели моего визита.

Я застыла от напряжения.

Вскоре он подошел к нам. Мерна остолбенела. Я боялась, что меня сейчас вырвет.

Он взял мою руку с приветливой улыбкой.

— Да-да, в самом деле, — произнес он. — Это моя девочка из «Возраста невинности». Боже мой, какой юной леди ты стала… Дай-ка мне посмотреть на тебя.

Я стояла, а мои ладони по-прежнему были в его руках.

— Прелесть, прелесть! Где ты скрывалась все это время?

— Я ходила в школу, — ответила я нерешительно и вспомнила, что нужно представить Мерну, находившуюся в шоковом состоянии.

Проигнорировав ее и восхищенно глядя на меня, он явно не просто отдавал дань вежливости. Он был действительно рад видеть меня, и когда он поворачивал меня, в очередной раз повторяя, как же я выросла, я почти слышала, как в голове у него прокручиваются мысли.

Близился конец рабочего дня, и большинство сотрудников компании собирались расходиться по домам, но м-р Чаплин настойчиво предложил мне показать декорацию домишки, над которой он мучился вместе со своей командой. Мерна пошла с нами. Он провел нас «внутрь» постройки, состоящей из трех стен, и указал сквозь одно из окон на систему шарниров: «У нас здесь очень интересные технические проблемы, и я думаю, мы почти решили их», — сказал он. Он объяснил, что на декорациях,

изображающих Аляску, лачуга должна выглядеть так, словно она еле держится на краю обрыва, и он хочет вызвать у зрителя чувство, что хибара с ним вместе вот-вот сорвется в бездну. Он не пожалел времени, объясняя техническую проблему, и было ясно, что ее решение очень его воодушевляло.

Было очевидно и то, что, разговаривая со мной и отвечая на мои вопросы, он попутно изучал меня. Провожая нас по пассажу студии, он сказал:

— Чак Рейснер сообщил мне, что ты хочешь попробоваться на роль девушки из танцзала.

Я покраснела.

— Ну, мне казалось в тот момент, что это неплохая идея, — призналась я нерешительно. — Я прошла курс обучения актерскому мастерству и думала — ах — но это было ужасно с моей стороны приходить и…

— Ну, хватит, я очень рад, что ты этот сделала. Завтра утром, нет, завтра воскресенье, в понедельник утром приходи сюда и спроси м-ра Ривза. Он со всем разберется и сделает пробу. Мы просмотрели десятки других претенденток на эту роль и можем попробовать еще десятки. Кто знает? Может быть, ты подойдешь.

Похлопав меня по плечу, он сказал оживленно:

— Теперь я должен идти. Ты найдешь дорогу обратно?

Не дожидаясь ответа и по-прежнему игнорируя Мерну, он целеустремленно зашагал назад.

На секунду повисла благоговейная тишина, такая, за которой следует буря. «Я умираю, — задыхаясь, лепетала искушенная Мерна. — Я просто умираю».

Я и сама чуть не умирала, представляя себе, как обрушу эту новость на маму. Я отправилась на студию, ничего не сказав ей. Если бы ничего не произошло, я могла вообще не говорить ей, где мы были с Мерной. Но теперь ей следовало знать, что я видела Чарли Чаплина. Будет кинопроба или нет, я боялась, что она придет в ярость.

Она действительно возмутилась, но ненадолго. Если предложение искреннее — а она определенно намеревалась разобраться в этом — тогда, если смотреть на вещи трезво, эта возможность слишком хороша, чтобы пройти мимо. Кроме того, хотя она не могла полностью простить его за то, что он приглашал меня на вечеринку по секрету от нее, она была уверена в то время, что великий м-р Чаплин никогда не станет совращать такую юную девушку. «Я знаю, что Милдред Харрис была очень молода, — говорила она. — Но все знают, что даже в этом возрасте она была падшей женщиной». Более того, мама

читала о нынешних дамах Чаплина Клер Виндзор, Клер Шеридан и других. И наиболее вероятными слухами казались разговоры вокруг его предстоящей женитьбе на знаменитой актрисе Поле Негри. Маму, казалось, устраивало то, что м-р Чаплин был слишком занят своими любовными делами, чтобы положить глаз еще на кого-то.

Итак, я прошла пробу.

Мне сказали, что м-р Чаплин, прокручивал пленку снова и снова и с каждым разом все больше воодушевлялся. Еще мне сказали, что Ролли Тотеро был не слишком доволен тем, как я выгляжу на экране, и что сотрудник по рекламе Джим Тулли, категорически не одобрял, как я смотрюсь и двигаюсь, и пытался умерить растущий энтузиазм босса.

М-р Чаплин послушал критику и — позвал управляющего, Элфа Ривза, подготовить контракт.

Маму и меня пригласили на студию, и м-р Чаплин с лучезарной улыбкой встретил нас с контрактом в руке. Он был вежлив, если не сказать очень радушен, с мамой, но всякий раз, когда оборачивался посмотреть на меня, было совершенной очевидно, что он не сожалеет о своем решении. Рыжеволосый Джим Тулли, бывший бродяга, который написал книгу о своих скитаниях «Нищие жизни» (Beggars of Life), предложил снять несколько кадров, как мы подписываем контракт. М-р Чаплин, относившийся к публичности как к неизбежному злу, согласился. Он придумал для меня новое имя. Теперь я стала по его совету Литой Грей.

После того, как формальности были завершены, он потер руки и воскликнул: «Ну, а теперь нам всем предстоит засучить рукава!» Он сообщил нам, что с этого момента нельзя терять ни секунды. Через неделю, которая потребовалась для завершения сооружения декораций интерьера мы отправились в Тракки, Калифорния, для съемок на местности; Тракки было идеальным местом, поскольку там было предостаточно снега, даже в начале лета, а снег должен был стать неотъемлемой частью «Золотой лихорадки».

Хотя, казалось, не было особой причины брать меня в это путешествие, где предстояло снимать только местность, предполагалось, что я поеду с остальными сотрудниками компании, которых, возможно, тоже не обязательно было брать. Чарли Чаплин был совершенно необычным кинематографистом. После того, как у него появлялась основная идея картины, он во многом импровизировал, поняв по опыту, что спонтанные мысли иногда дают лучшие результаты. Он понятия не имел заранее, что может случиться с ним в Тракки, и зачем я могу ему там

понадобиться.

В путь собралось пятнадцать человек. Больше всех суетились костюмеры, поскольку им надо было не только найти и сделать костюмы для съемок, но еще раздобыть для нас теплые пальто, шляпы, обувь — вещи, которые не так легко найти в Южной Калифорнии, — чтобы мы не замерзли, пока будем находиться в условиях холодного климата.

Наконец пришло утро нашей встречи на железнодорожной станции. Мама ясно дала мне понять, что намерена следить за мной, как ястреб, — что мне не слишком понравилось, ведь я уже была не дитя, мне было пятнадцать. Кроме того, она вела себя так, словно не доверяла м-ру Чаплину.

— Доверяй, доверяй ему, — сказала мама. — Как я доверяю любому мужчине — пусть даже джентльмену.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего особенного. Торопись, а то опоздаешь.

— Мама, почему ты никогда не отвечаешь на вопросы?

Она сощурила свои большие темные глаза.

— Почему — о чем это ты говоришь? — воскликнула она. — Когда это я не отвечала на твои вопросы? Пошли, я сказала, иначе опоздаем на поезд.

Сев на поезд, я в сотый раз предприняла попытку разобраться в переполнявших меня чувствах. Я поняла, что теперь я не Лиллита Макмюррей, а Лита Грей, и что я буду играть важную роль в большом фильме, который увидят миллионы людей. Я чувствовала и радостный подъем, и груз ответственности одновременно.

Но больше всего меня волновали мои чувства к человеку, которого я осмеливалась называть — когда меня никто не слышал — Чарли. Я была уже достаточно взрослой, чтобы знать о разнице между увлечением и любовью, но я была недостаточно взрослой, чтобы понять, какие чувства испытываю к нему. Всю неделю я только и воображала любовные сцены с ним — то, против чего так ревностно выступала моя мама. Впрочем, мои фантазии были не столько эротические, сколько романтические. Я постоянно напоминала себе, что это не имеет никакого смысла, что воображать себе даже пять минут с ним вместе — глупо, поскольку ничего похожего не может быть, что я просто умру, если что-то подобное случится. Я боялась собственной тени, боялась большинства мужчин, боялась даже просто находиться рядом с кем-то из мальчиков — и тем не менее я была полностью поглощена фантазиями, как Чарли держит меня в объятиях и целует.

В то утро я не знала, как мало осталось ждать.

Глава 5

Путешествие в Тракки было долгим, но далеко не скучным; пассажиров машин, арендованных компанией для фильма «Золотая лихорадка» распирало от волнения. Едва мы с мамой разместились в нашем салоне, как в дверь постучался Джим Тулли. Он вошел с карандашом и блокнотом в руках и предложил нам немедленно заняться вопросами паблисити. «Мы должны как можно быстрее помочь публике узнать вас, — сказал он. — Газеты и журналы захотят рассказать о тебе и, конечно, мы должны всячески помогать им в этом». Он скрестил ноги и позевывал, словно желая показать, что единственная причина его присутствия — необходимость зарабатывать на хлеб, и он полон пренебрежения к нудной обязанности, выпавшей на его долю.

Несмотря на недружественную атмосферу, мы работали над тем, что он называл «пикантные подробности». Я созналась, что ничего особенно «пикантного» в моей жизни нет, но, возможно, интересно обыграть факт, что наш предок Жозе Антон Наварро дал в 1781 году название городу Лос-Анджелесу, а другой предок Генри Гейдж, был когда-то губернатором Калифорнии и послом в Португалии. Тулли кивнул и записал это. Мама добавила, что еще среди наших прародителей-колонистов были такие люди, как Пико, Римпаус, Альварадо, и Сепульведа, именами которых теперь названы улицы в Южной Калифорнии. Мне казалось, что все это нафталинные истории, и лучше рассказывать о моих хобби, мечтах, тревогах, любимых блюдах и т. д., но я, должно быть, ошибалась. После этого поверхностного интервью и множества других интервью и фотосессий в течение последующих недель в журналах и газетах повсюду появилась Лита Грей Чаплин — живая и даже яркая девочка.

В какой момент мне стало ясно, что интерес, который испытывал ко мне Чарли, был не просто профессиональным? Я помню очень конкретно место и время — один из обедов на пути в Тракки.

Чарли обедал с двумя работниками студии, а мы с мамой — за столиком, расположенным точно напротив через узкий проход. Он взглянул на меня так, словно увидел впервые, и то, что увидел, ему явно понравилось. Вся его сдержанность испарилась, и его несомненно интимный взгляд посылал такие эротические волны, что я затрепетала.

Я не могла отвести глаз, хотя понимала значение его взгляда и испугалась. Это был чувственный момент, и я прервала его первой, притворившись, что полностью поглощена салатом, — не

столько из опасения, что происходящее заметит мама, сколько потому, что не представляла, как можно выдержать его настойчивый взгляд больше, чем мгновение.

Остальная часть путешествия была для меня изощренной пыткой, а мои фантазии уже ничто не обуздывало. Мерна Кеннеди наплела мне, что знает о мужчинах все. Но ее хвастовство было рассчитано на дешевый эффект. Хотя я никогда не бывала наедине с мужчиной — или даже с мальчиком, — я была уверена, что знаю о происходящем между мужчиной и женщиной больше, чем Мерна. Она рассказывала, как возбуждает его поцелуй с языком и ощущение его рук на интимных местах. Но Мерна ничего не говорила об обменах взглядами, а это означало ее полное невежество. Я тоже, конечно, обнаружила свою наивность, приняв на чистую монету ее фальшивые откровения. Я знала больше, чем она, потому что на нее не смотрел Чарли — мой Чарли, — а на меня смотрел.

На железнодорожной станции нас встретил санный экипаж, запряженный лошадьми, и отвез в единственный пристойный отель Тракки, заполненный местными жителями в красных охотничьих шляпах, сидящих в фойе вокруг печки-буржуйки. Нам с мамой показали наши апартаменты. Это была крошечная комната с бесформенной кроватью и ночным горшком под ней; с нитяным ковриком, настолько застиранным, что нельзя было угадать, какого цвета он был прежде; с маленьким кленовым бюро и несколькими низкими треногими табуретками вместо стульев; с тремя (!) плевательницами и изображением котенка, играющего с клубком ниток, на одной из щербатых стен.

— Да, это явно не «Ритц», — сказала мама, начав распаковывать вещи.

Мне было все равно. Я стояла у окна, зачарованная тем, что раньше видела только на картинках, — снегом.

Мои восторги закончились очень быстро. Погода была такая холодная той весной 1924 года, что двух дней мне хватило по горло. Хотелось лишь одного — оставаться в помещении как можно дольше. Отель отапливался недостаточно — по крайней мере, для жителей Южной Калифорнии, — но в нем было лучше, чем на этом невероятном холоде снаружи.

В первые несколько дней я видела Чарли относительно немного (вслух я по-прежнему обращалась к нему «м-р Чаплин»), но он действительно ни секунды не тратил впустую. Он лично проверял каждый кусочек земли, пригодный для фона и заставлял оператора снимать тысячи метров пленки, чтобы убедиться в возможности создать впечатление огромных заносов, используя

небольшое количество снега.

Не приходилось сомневаться, что Чарли желает снять больше, чем просто хороший фильм. Хотя он, как обычно, до сих пор еще не проработал сюжет, он дотошно занимался приготовлением к съемкам. Он много читал о поисках золота на Аляске в 1898 году, настолько неистовых, что жажда золота превращала людей в каннибалов. (Сцена, где у Майка Суэйна, умирающего от голода старателя, начинаются галлюцинации, в которой Чарли — цыпленок, а Майк пытается съесть его, появилась под впечатлением того, что Чарли узнал о каннибализме в те страшные дни.) Он был решительно настроен передать подлинную ситуацию на Аляске 1898 года.

Он так старался, что измучил всю съемочную группу и себя довел до крайней степени изнурения. Он тратил огромное количество времени, руководя множеством людей, в основном массовкой, нанятой им из местного населения, которая должна была трудиться в поте лица у подножия огромной горы. Эта сцена, изображающая бригаду старателей, мечтающих разбогатеть, стала первой в фильме и одной из самых запоминающихся. Я, как и все другие, была призвана в бригаду старателей.

Такая дотошность Чарли была прекрасна, но через неделю из-за холодов вниз не спустились именно местные жители. И по некоторым причинам я. День за днем мы преодолевали холмистые склоны горы, чтобы вечером, шатаясь, брести обратно в отель. Даже мама, которой не приходилось проводить столько времени на морозе, как нам, слегла в постель с температурой под сорок.

Планировалось, что все мы задержимся в Тракки не больше, чем на неделю. Потом слег с гриппом Чарли, и съемки отложили на четыре дня.

Эта передышка не обрадовала никого, а тем более Чарли, который считал идиотизмом лежать в кровати. Настроение у всех было неважное, особенно у тех, кто чувствовал себя неплохо и хотел в период вынужденного простоя развлечься. Здесь это было невозможно, Тракки был заброшенный и тоскливый городишко и просто не давал никаких возможностей желающим выпустить пар.

Чарли знал это. Знал он и то, что упаднические настроения в процессе съемок бывают заразными и могут повредить картине. Поэтому, хотя не в его духе было любезничать с работниками, он сказал, что приглашает к себе желающих просто поболтать, не на профессиональные темы. Теперь, узнав его близко, я с уверенностью могу сказать, что, сделав это предложение, Чарли внутренне содрогнулся, поскольку никогда не любил пустой

болтовни. Однако это приглашение прекрасно повлияло на команду. Каждый совершил небольшое паломничество в его комнату и вышел оттуда в совсем другом настроении.

Наступил день, когда Генри Бергман подошел ко мне в коридоре и сказал: «Чарли не понимает, почему ты до сих пор не зашла проведать его».

«Может быть, зайду», — сказала я, обрадовавшись, что я в коридоре, а мама наверху — и одновременно занервничав, что теперь окажусь наедине с Чарли. В фантазиях я была отважной и взрослой, но это были всего лишь фантазии.

Я отнесла маме чай, она чихнула, поблагодарила меня и пожаловалась, что у нее совершенно нет сил, и единственное, на что она способна, это дремать. Я посидела возле нее, пока она прихлебывала чай, а потом выскользнула из комнаты, как только убедилась, что она заснула.

С бьющимся сердцем и с чувством вины я двинулась по тускло освещенному коридору в сторону комнаты № 1 в конце коридора. Я говорила себе, что он просто захотел меня увидеть и поболтать, а вовсе не срывать с меня одежду. Он действительно недвусмысленно тогда смотрел на меня, но это был Чарли Чаплин, голова которого всегда переполнена миллионом разных вещей. Его невеста Пола Негри, зрелая женщина, известная всему миру. Какой интерес у него может быть к пятнадцатилетней хорошенькой девочке?

В дверях я заколебалась. Потом закрыла глаза и постучала.

— Войдите.

Он сидел в постели, опираясь на две большие подушки, и читал. Широкая улыбка появилась на его лице, и он отложил книгу, чтобы поприветствовать меня.

— Ну, наконец! — сказал он шутливо. — Я уже начал чувствовать, что раз ты теперь ведущая актриса, я для тебя недостаточно важная персона, чтобы тратить на меня время.

Осторожно проходя внутрь большой, сравнительно комфортабельной комнаты — здесь были стулья, а не табуретки, — я сказала:

— Это показывает, как много вы знаете, м-р Чаплин. Я до смерти боялась приходить. Я была уверена, что вы подумаете, что я ужасная выскочка.

— Ты шутишь! Какая нелепая мысль, — возразил он. И, похлопав по краешку постели, сказал: — Присядь сюда, Лиллита — нет, прости, ведь ты теперь Лита?

Я села туда, куда он указал, чопорно и безучастно, показывая всем своим видом, что я не воспринимаю визит сколько-нибудь неподобающим образом. Я старалась сделать свою улыбку

отстраненной — улыбкой наивного подростка. Конечно, это была поза, и при этом вопиюще нечестная. Я была здесь, чтобы произвести на него впечатление, вызвать его одобрение. Я думала, что произойдет, если он притронется ко мне — как к романтически настроенной молодой женщине, а не как к бессловесному, безучастному ребенку. Мое внутреннее напряжение нарастало. Я хотела быть его маленькой девочкой — и в то же время хотела чувствовать его язык у себя во рту. Я знала, что играю с огнем, раз не встала и не пересела на один из стульев, но я не была достаточно честна, чтобы признать, к какому крохотному пламени я была подготовлена.

— Как вы себя чувствуете? Лучше? — спросила я. — Вы совсем не кажетесь больным.

Его глаза были красноваты, а нос распух, в остальном же он казался вполне бодрым. Никогда до этого момента я не замечала, какие красивые у него глаза и какие длинные ресницы. Без всякой натяжки его можно было назвать красивым, как Фэрбенкса, Валентино, Джона Гилберта, и не случайно столько незаурядных женщин находили его желанным: его обаяние действовало мгновенно и было всепоглощающим.

Он слегка улыбнулся.

— Не гожусь я для зимних ветров. Мне больше подходит что-то несовременное, старомодное.

Я нахмурилась.

— Зачем вы так говорите? «Старомодное, несовременное». Вы действительно думаете, что вы старый?

— Нет. Честно говоря, я предпочитаю верить, что пока еще не приблизился и к расцвету своей жизни. Но мне тридцать пять, что ни говори.

— Я не такая, как другие в моем возрасте, — сказала я. — Я думаю, да, я думаю о вас, как о самом молодом человеке в мире.

Если я собиралась бежать, то это был самый подходящий момент. Сейчас можно было сделать это непринужденно, поскольку его рука не сжимала мою слишком крепко. Я могла легко высвободить ее и пересесть в кресло, не создавая неловкости.

Я осталась.

— Мне трудно понять вас, — сказала я. — Как вы думаете, я — взрослая? Мы с вами особенно не разговаривали раньше, а если говорили, то я вела себя, как идиотка. Я хочу сказать, что я смущалась, когда вы меня о чем-то спрашивали или обращались ко мне. Я всегда чувствовала себя какой угодно, только не взрослой…

Потихоньку он придвинулся ко мне.

— А сейчас ты стесняешься?

Я кивнула и высвободила свою руку, но продолжала сидеть там же. Я была и рада, и огорчена, что закрыла дверь, когда вошла. И одинаково взволнована и напугана этим взглядом, который теперь оторвался от моих глаз и скользнул вниз, изучая линии моего тела.

Теперь была его очередь сказать что-то, но он молчал, вынуждая меня быть более болтливой, чем обычно. Я не чаяла, чтобы эта встреча закончилась поскорее, вернее, я хотела поскорее избавиться от состояния страха, и, указав на книгу, которую он отложили сторону, спросила, о чем эта книга, так, словно мне это было очень важно поскорее узнать.

Вероятно, почувствовав мою неловкость, он отодвинулся от меня и взял книгу.

— Это история Наполеона и Жозефины, кстати, прекрасная. Ты ведь знаешь, кто такой Наполеон? Ну, разумеется, знаешь. А кто была Жозефина, знаешь?

— Она была его женой, да?

— Не совсем. Не сразу. Она была его любовницей.

Он смачно произнес это слово и посмотрел на меня еще раз. Было ясно, что он затеял игру в кошки-мышки, чтобы понять, как далеко может позволить себе зайти.

Не моргнув глазом, я спросила:

— Она была красивая?

— Едва ли не самая красивая женщина во всей Франции, — ответил он. — Она не была француженкой. Она была креолкой. Она была такой, как ты, Лита.

— Правда? Ах… А можно посмотреть на ее портрет? — спросила я, вцепившись взглядом в книгу, пытаясь придать вопросу беззаботность. Я знала: то, чего я так пылко желала и чего так страшилась, должно произойти.

Его ладонь охватила мое запястье, а в лице неожиданно появилась темная и необузданная сила. Я начала бессмысленно бормотать первое, что приходило в голову, а он тем временем притягивал меня к себе. Потом я неожиданно отпрянула, мне просто нечем было дышать.

На мгновение я почувствовала, что он должен быть очень осторожным. Если он не будет торопиться, если будет милым, подумала я, тогда мой ужас исчезнет, и я смогу пойти на что угодно.

Но вместо этого он грубо толкнул меня на кровать. Он целовал мой рот и шею, а его пальцы метались по моему растревоженному телу. Я с трудом обрела дар речи и срывающимся шепотом умоляла его остановиться, но он закрыл

мне рот поцелуем.

Одна его рука пробиралась снизу, а вторая — грубо сжимала мою грудь. Его тело неистово извивалось, и неожиданно мой страх сменился отвращением. Его животные движения могли бы напоминать некое подобие чувства, если бы мы были обнаженными, но это было не так, на нем была красная шелковая пижама, а я была в юбке и блузке. Он тяжело навалился на меня, и то, что он делал, было отвратительно — в этом не было нежности, не было признания во мне личности.

Едва его губы оторвались от моих, я снова стала умолять его остановиться. Я оттолкнула его и попыталась высвободиться, но он схватил меня и толкнул обратно.

Вдруг он присел, посмотрел на дверь и прошептал: «Что это?»

Я вскочила на ноги и поспешила оказаться как можно дальше от него и от кровати. Я тоже слышала приглушенные голоса и шарканье ног по ту сторону двери. Разочарованный и явно разозленный, он поднялся и крадучись подошел к двери, остановился и прислушался. Он посмотрел на меня и приложил палец к губам.

Я стояла у окна, меня трясло, я была жестоко разочарована и совершенно сбита с толку. Если именно это называют сексом, то мне этого не нужно — никогда. Это было грубо, мерзко, и отвращение мое лишь усиливалось тем, что все это исходило от мужчины, которого я обожала — или, по крайней мере, думала, что обожаю. Мир знал его как человека, воплощающего вкус, чуткость и сострадание, теперь же все это мне казалось злой шуткой. Неужели он проделывал все эти нелепые и неромантичные вещи с такими утонченными женщинами, как Клер Виндзор и Пола Негри? Не может быть. Только с такой дурочкой, как я, которая понятия не имеет, что такое женщина.

Я попыталась расправить смявшуюся юбку, и начала приводить в порядок волосы. Звуки шагов и голосов двинулись дальше, а он вернулся обратно, ворча: «Вот мерзавцы». Я боялась, что он снова накинется на меня, но он этого не сделал; он уселся на стул нога на ногу, и наблюдал, как я причесываюсь.

— Ты выглядишь несчастной, Лита.

Я кивнула.

— Я хочу заниматься любовью с тобой, — сказал он так обыденно, словно сообщал: «Я собираюсь завязать шнурки на ботинках». Потом добавил: — Когда будет подходящее время и место, мы займемся с тобой любовью.

Я отважилась спокойно, но решительно ответить:

— Нет, не займемся.

Его это слегка озадачило:

— Почему? Из-за предрассудков среднего класса? Или тебе не понравилось, как я трогал тебя?

— И то, и другое. Пожалуйста, не будем об этом говорить.

— Нет, мы должны, — сказал он, правда, без особого нажима. — Я не пещерный житель, Лита, даже если на минуту напоминал такового своим поведением. Я совершенно нормальный человек, а ты очень красива. Но ты пока еще не знаешь, что значит быть женщиной. Ты же хочешь стать взрослой и познать жизнь во всей полноте? Я буду твоим учителем, Лита.

Теперь я не испытывала страха или отвращения, просто чувствовала себя измотанной.

— Мне надо идти, — сказала я и прошла мимо него, не поднимая глаз.

Он не встал, но его мягкий голос задержал меня:

— Я рассчитываю, что ты не станешь рассказывать маме об этом визите. Это не звучало как вопрос.

— Конечно, нет.

Он кивнул:

— Правильно. Если тебе пора идти, может, поцелуешь меня на прощанье? У меня уже нет гриппа, так что тебе нечего бояться.

Я направилась к двери.

— До свидания, — сказала я и вышла, слишком взволнованная, чтобы говорить или слушать что-то еще.

Когда я вернулась в комнату, мама все еще спала. Я смотрела на снежные сугробы в половину человеческого роста за окном, в полной уверенности, что душ, который я собиралась принять, не способен очистить меня.

На следующее утро Чарли был на ногах, преисполненный решимости работать. Мы задержались в Тракки на лишних четыре дня к шумному всеобщему неудовольствию. Чарли не разговаривал со мной в оставшиеся дни нашего пребывания там, но всякий раз, когда мы встречались глазами, будь мы неподалеку друг от друга или на расстоянии нескольких метров, его испытующий интимный взгляд, казалось, говорил мне, что он поступит по-своему, и теперь это лишь вопрос времени и места.

Я стала молчаливой и замкнутой, а мама, уверенная, что я заболела, щупала мой лоб. Хотя внешне я казалась вялой и безучастной, изнутри меня раздирали мучительные ощущения. Я все еще чувствовала разочарование и боль оттого, что он пытался использовать меня вместо того, чтобы любить. Но каким бы безобразным ни был его грубый натиск, нельзя отрицать, что при мысли о его теле, прижимающемся к моему, на меня накатывала волна возбуждения.

На обратном пути в поезде в Лос-Анджелес нас с мамой пригласили в его апартаменты. Генри Бергман впустил нас, но Чарли так сердечно приветствовал нас, с таким подчеркнутым дружелюбием вел себя с мамой, так расспрашивал о ее здоровье после перенесенного гриппа, сопровождая лично к лучшему стулу в салоне, что я была поражена, что мама ничего не заподозрила.

— Сейчас, я думаю, самое подходящее время обсудить твой образ в картине, Лита, — говорил он, сидя напротив меня в позе полного расслабления. — Вы не против?

— Конечно, нет.

— Вот и хорошо.

Он начал рассказывать, повторяя, возможно, не только для меня, но и для самого себя подробные детали, которые мне уже были известны: «Маленький человек, — именно так он всегда обозначал роль, которую играл сам, — с глубоким почтением относится ко всем женщинам, и к хорошим, и к плохим. Он способен распознать коварство, обман и недостатки в мужчинах, но любая девушка видится ему возвышенной, прекрасной, достойной поклонения. В тот момент, когда он встречает тебя в танцевальном зале, он влюбляется. Он и мысли не допускает, что ты „весьма опытная особа“, как все говорят и все знают, — только не он. С другой стороны, он не идиот, поэтому тебе, как девице из дансинга нужно поначалу продемонстрировать легкое приятие — ты не можешь всерьез воспринимать это взрослое дитя. Это непростая проблема: ты должна производить впечатление, далекое от пуританства, но в тебе не должно быть жесткости».

Хотя сюжет «Золотой лихорадки» все еще не окончательно сложился в его голове, он явно основательно продумал образ девушки из дансинга. Мы провели час в его апартаментах, обсуждая его, он описывал его в деталях. Время от времени я перебивала его просьбами объяснить то или иное или рассказать поподробнее. Он казался довольным тем, что теперь у меня было более ясное представление о роли.

Мы были так поглощены, что на какие-то моменты я забывала, что это тот самый человек, который лежал со мной в кровати отеля. Но слишком часто за это время, проведенное вместе, его очень интимный взгляд напоминал мне об этом. В некотором смысле это была одна из самых блестящих его ролей. Он был полностью поглощен делом, но в то же время, пока он искусно анализировал образ, а мама и Генри Бергман сидели, слушая и наблюдая, его дерзкие глаза говорили мне о его плане затащить меня в постель.

То, что я читала смысл его взглядов и его колоссальное напряжение, будучи в непосредственной близости от мамы,

причиняло мне ужасный дискомфорт. Я ни на йоту не поощряла его выражением своих глаз. Я точно знаю, тем не менее, что тот час под его пристальным эротическим взглядом я укрепилась в своем решении. Если мы останемся наедине снова, я готова отдаться ему. Отдаться со всей страстью.

Мы вернулись в Лос-Анджелес в воскресенье и должны были явиться в студию в понедельник утром. Воскресный день стал для меня настоящим испытанием. Меня бросало из стороны в сторону — то я думала, что ни за что не смогу пойти на это, то — доживу ли до момента, когда снова увижу его.

Когда в понедельник мы с мамой пришли на студию, мы обнаружили, что декорации уже полностью построены и все в полном порядке. Но во время обеденного перерыва я увидела Чарли с молодой женщиной. Мое сердце екнуло. Она только что прибыла, и Чарли весело приветствовал ее, нежно обняв при этом. Это не была Пола Негри, его предполагаемая невеста, которую я бы узнала. Она была темноволоса и выглядела достаточно экзотично, благодаря длинным, безупречно накрашенным ногтям и тонкой, гибкой фигуре. Она тоже обняла его. Они отправились вместе, под ручку в кафетерий.

Делая вид, что не придаю этому особого значения, я спросила Мака Суэйна, знает ли он, кто это. «Это Тельма Морган Конверс, — сказал он, — сестра-близнец Глории Вандербильт».

Под впечатлением от знаменитого имени Вандербильт мама спросила, есть ли у них романтические отношения.

Большой Мак пожал своими бычьими плечами. «Ну, ходят такие слухи, но кто знает? Говорят, что Чарли и Негри охладели друг к другу, а теперь Чарли воспылал к этой красотке Конверс. Кто-то говорил мне, что пока мы были в Тракки, они переписывались каждый день. Но как я сказал, кто знает? Из Чарли слова не вытянешь, когда речь идет о его любовных делах».

Эта новость опустошила меня. Выходит, после того, как я тогда была в его комнате в отеле Тракки, он уселся за любовное письмо к кому-то еще? Если у него были ко мне хотя бы какие-нибудь чувства, как они могли быть к другой женщине?

После обеда они вернулись к декорации хижины вместе, а Чарли принес для нее стул, чтобы она могла наблюдать с комфортом. Мы снимали сцену, в которой Мак Суэйн просыпается утром и не может понять, что за ночь лачугу сдуло к краю скалы, и она может вот-вот сорваться в пропасть. Чарли идет к той стороне хибары, где Мак все еще лежит на кровати — с того бока, который находится в самом опасном положении. Оба понимают: что-то случилось, но поскольку стекла покрыты инеем, они не могут понять, что именно. Они озадачены, они чувствуют,

словно пол опрокидывается. Они подпрыгивают вниз-вверх, проверяя его, потом придумывают десяток блестящих приемов, все более веселых и все более опасных, пока дверь не распахивается, и Чарли не начинает выскальзывать наружу и спасается от падения в пропасть, схватившись в последнюю минуту за дверной порог.

Эта сцена давалась очень трудно, она требовала абсолютной точности и, казалось, что Чарли будет переснимать каждый шаг снова и снова.

Я наблюдала за Тельмой Конверс, ненавидя ее за то, что она так заинтересованно смотрит и так красива, — и ненавидела себя за то, что поверила в его небезразличие ко мне. Он хотел попользоваться моим телом — все так просто. Хорошо, а почему нет? У меня прекрасное тело, а он мужчина, а как говорила Мерна и намекала мама, большинство из них хотят просто секса. Итак, почему я тешила себя мыслью, что он хотел любить меня? С таким же успехом на моем месте могла быть горничная.

Мое настроение снова изменилось, и на этот раз я была намерена твердо придерживаться своего решения. Мне было пятнадцать, но в моей голове кое-что было. С какой стати он должен получить желаемое, а потом забыть меня? Это был несправедливый обмен, и я не собиралась допустить это. Я не собиралась стать его очередной победой.

Позже в тот же день, после того, как Тельма Конверс ушла, а мама с кем-то разговаривала, Чарли отозвал меня в сторонку и сказал, улыбаясь:

— Ты очень мешаешь мне сосредоточиться на работе.

— А может быть, вы имеете в виду Тельму Морган Конверс? — парировала я.

Он был изумлен.

— Боже, что я слышу, уж не ревность ли это? Тельма — мой друг.

— Неужели? Разве вы смотрите на нее не так, как на меня?

Я надулась, как ребенок и была ужасно развязна, вдобавок мне было неприятно, что я выдаю свое неравнодушие. Но мое волнение только забавляло его.

— Можешь думать, как тебе нравится. Но не сомневайся: ты без ума от меня. Нам явно пора поскорее остаться наедине.

Я посмотрела ему в лицо.

— Я поняла кое-что. Между нами ничего не будет Если это значит, что я не буду сниматься в картине, хорошо, еще не поздно найти кого-то еще. Но ничего между нами не будет.

Он встревожился.

— Лита, ты ухитряешься делать из меня жалкого распутника,

но уверяю тебя, что я не распутник, и тем более не жалкий. Я — человек, живущий по плану, а Тельма Конверс — часть моего плана.

— Не понимаю.

— Поймешь рано или поздно. Поймешь.

Удовлетворенный тем, что успешно снял большинство сложных сцен с готовой соскользнуть с обрыва лачугой, Чарли начал работать над эпизодами в дансинге, это означало, что теперь основное профессиональное внимание он сосредоточит на мне. Перед поездкой в Тракки и после нашего возвращения они с Уордроубом ломали головы, пытаясь выбрать подходящую одежду для меня — ветреной девчонки из дансинга в салуне на Аляске. На тот момент не придумали ничего лучше, как одеть меня в издевательски короткое и смешное платье, выставляющее напоказ мои ноги и грудь. «Попытаемся сделать наряд смехотворно вызывающим», — сказал он. В другой раз ему пришла в голову противоположная идея, и был заказан совершенно другой костюм. «Оденем ее так, чтобы все было закрыто и можно было смутно угадывать очертания тела. Она будет гораздо больше волновать и вызывать желание, если придется домысливать, видя только ее глаза, рот и руки».

Они пришли, наконец, с Уордроубом к единогласию, выбрав промежуточный вариант, платье, достаточно облегающее, чтобы показать изгибы тела, но достаточно скромное и скрывающее ноги и грудь. Мама была счастлива. Во время работы над эпизодами в дансинге мое имя и фотографии стали часто появляться в газетах и журналах. Об этом позаботился Джим Тулли; хотя это был мрачный человек, не делавший секрета из того, что недолюбливал меня — и по этой причине всех, кто работал в «Золотой лихорадке», — он профессионально делал свое дело.

К этому времени, всячески показывая свое почтение к моей маме, Чарли вышел с предложением: он чувствовал необходимость в интересах картины показываться со мной вместе на людях. «Чем больше ее будут видеть и узнавать, тем лучше это будет не только для фильма, но и для ее собственной карьеры в дальнейшем, — сказал он. — Я не предлагаю Лите ходить на премьеры и приемы вдвоем. С нами всегда будет моя невеста — Тельма Морган Конверс — Тельма Вандербильт. Я намерен представлять Литу как свою протеже. Уверен, от этого будет только польза».

Мама задала множество вопросов. Она посовещалась с дедушкой. Наконец, она сказала Чарли, что не возражает. При

условии, что всегда будет какой-то другой сопровождающий взрослый, а я буду возвращаться в разумное время.

Я должна была сказать маме, что она делает большую ошибку.

Но я этого не сделала.

Глава 6

Так все началось.

Началось с приглашения на премьеру фильма Дугласа Фэрбенкса, куда надлежало явиться в вечерних туалетах. За день до премьеры по этому случаю в наш дом было доставлено длинное платье, но не от лица Чарли, чье имя на посылке могло вызвать подозрение, а от лица Charles Chaplin Film Corporation, что превосходно обезличивало подарок. Мама и дедушка были невероятно взволнованны. Дедушка осмотрел платье со всех сторон, сказал, что короткий лиф был бы лучше, и после этого неохотно одобрил.

Перед домом показался локомобиль Чарли, и к нашей двери направился шофер. Чарли не вышел, но предоставил возможность наблюдать его и Тельму Конверс через окно. Увидев Тельму, дедушка был удовлетворен. Меня поцеловали и благословили на мой самый важный первый в жизни прием. Я чувствовала себя совсем взрослой.

Чарли приветствовал меня, подвинувшись так, чтобы я села между ним и девушкой, и представил мне ее. Она улыбалась, хотя и слегка натянуто. Я призналась, что волнуюсь, и это заставило его рассмеяться. «Успокойся, — скомандовал он. — Я сопровождаю двух самых сногсшибательных красавиц сегодняшнего бала».

Возле кинотеатра блистала гламурная публика. Повсюду были кинозвезды, многие приветствовали Чарли. Некоторые — Лайонел Бэрримор, Мэри Майлс Минтер, Жан Хершольт и Мэй Мюррей — заметили, что нет нужды называть мое имя, что они и так уже знают обо мне из газетных публикаций, и были щедры на комплименты. Мэри Пикфорд увидеть никак не удавалось, но Дуглас Фэрбенкс, напомнивший мне красивого и беззаботного артиста цирка, обнял Чарли в переполненном фойе, словно огромный медведь. Чарли представил меня Тому Миксу, от него разило виски, и выглядел он совершенно нелепо в своем белом ковбойском наряде. Чарли был достаточно мил с Миксом, которого называл «соседом по улице», но когда актер оставил нас, и нам показали наши места, проворчал: «Не выношу этого парня. Он не перестает играть роль. Зачем делать это за пределами студии? И с какого, интересно, он Запада? Из западного Голливуда?»

Я не помню ничего о фильме Фэрбенкса, кроме того, что ужасно нервничала и была на седьмом небе от счастья. Мы закончили, когда уже зажглись фонари, и шофер отвез нас в

маленький придорожный ресторанчик, тихий и недорогой, где люди кино были нечастыми гостями. Чарли заказал бифштексы для нас троих, и, не спрашивая о наших предпочтениях, проинструктировал официанта, чтобы их прожарили как следует. Лишь после этого он начал комментировать фильм. «Конечно, это пустячный фильм. Из тех, что скоро забываются, — сказал он. — Но ошибочно не воспринимать Дага Фэрбенкса всерьез. Он не очень хороший актер, но у него такое мощное обаяние, что даже самый нудный и безвкусный фильм с его участием не может провалиться. Я считаю, что критики, и вообще кто угодно, зря тратят время, распекая Фэрбенкса и Валентино — и даже Тома Микса — за то, что они плохие актеры. Если, оказываясь на экране в сценах с другими исполнителями, вы можете заставить зрителя смотреть только на вас, это уже искусство. А Фэрбенкс доминирует везде».

Они отвезли меня домой, и шофер проводил до дверей. Домашние ждали меня, чтобы услышать рассказы о вечере. Дедушка через пять минут уже отправился в постель, но, как я потом узнала, наутро в деталях обо всем расспросил маму.

Неделей позже мы вместе с Чарли и Тельмой пошли на званый ужин к мистеру и миссис Голдвин. Я чувствовала себя немного неловко в обществе Фрэнсис, жены Сэма Голдвина и некоторых гостей, но сам м-р Голдвин сразу же мне понравился. Чарли чрезвычайно любил его и всегда со смехом вспоминал, как тот коверкает английский язык. Он говорил мне и Тельме, когда мы шли на ужин: «Если бы Сэм делал эти ошибки умышленно юмор был бы потерян, а вместе с этим и шарм. Именно его простодушная наивность так подкупает».

Потом он припомнил один свой любимый голдвинизм:

— Как-то раз Сэм спросил молодого актера, откуда он приехал, и юноша сказал «Из Айдахо, сэр». Сэм посмотрел на него и сказал: «Прекрасно, молодой человек, но здесь это слово произносят „Огайо“».

Смеясь, Чарли добавил:

— Только не позволяйте его английскому языку вводить вас в заблуждение. У Сэма Голдвина безупречный вкус.

На следующий год мне довелось посетить десятки званых ужинов в доме Голдвина, и я хорошо его узнала, но его простота и теплота поразили меня в первый же вечер. Я очень отдаленно была осведомлена о его порядочности и как продюсера, и как человека, но мне приходилось много слышать об этом в последующие годы. И когда в 1950-е годы Чарли поливали грязью, многие влиятельные люди Голливуда сочувствовали ему молча, Сэм Голдвин был одним из немногих, кто открыто

выступил в защиту Чарли.

В течение ужина о кино особенно не говорили, это было необычно, поскольку в 1924 году и фильмы, и кинобизнес были почти единственным предметом разговоров в Голливуде. После десерта нам показали экранизацию книги Джозефа фон Штернберга «Охотники за спасением» (The Salvation Hunters), этот фильм стал дебютом для молодой актрисы Джорджии Хейл. Я сочла этот фильм тяжелым и претенциозным, большую часть времени камера снимала мусорные банки в темных аллеях. Я видела, как пару раз м-р Голдвин едва сдерживал зевоту.

Чарли, с трудом переносивший неумелое искусство с претензией на тонкий вкус, тем не менее, нашел немало добрых слов. «Этот Штернберг теряет время, — сказал он за кофе. — Но ему хочется верить. Он явно серьезно относится к камере. Он видит то, что немногим режиссерам хватает ума и сил видеть: что возможности кинокамеры практически безграничны. Любич — еще один из таких немногих. Он умеет, как никто, без всякой пошлости показать комичность секса».

Я боялась открыть рот, но остальные участвовали в разговоре — включая Тельму Конверс, которая бесила меня тем, что была такая хорошенькая и умела так хорошо говорить. Она выслушивала очередной приговор Чарли — большинство фильмов, выходящих в Европе и Голливуде, он считал подражательными, посредственными, не способными использовать художественные возможности — а потом спокойно называла этих людей и картины достойными уважения и объясняла, почему так считает. Чарли терпеливо слушал ее.

Чувствуя себя с каждой минутой все более ничтожной, в тысячный раз я гадала, что он может находить во мне, когда ему доступны такие сногсшибательные, блестящие и умные женщины, как Тельма Конверс. Я думала: почему, даже почтительно выслушивая ее рассуждения, он снова обращает ко мне этот свой особый взгляд.

Ужин и неразрешенный спор закончились рано, как и большинство вечеров в будние дни, когда назавтра предстояла работа над картиной. Дворецкий готов был подать мне жакет, но Чарли, видя, что Тельма болтает с Голдвином, взял жакет из его рук и сам выполнил его работу. Он сказал мне вкрадчиво:

— Ты мешаешь мне работать. Я не могу сосредоточиться из-за того, что думаю о тебе. Наше время пришло, Лита. То, чему суждено случиться, должно случиться скорее.

В дверях м-р Голдвин, широко улыбаясь, взял мою руку в свои:

— Работая с Чарли Чаплином, ты учишься у большого

мастера. То, чего он не знает о кино, всем остальным можно благополучно игнорировать. Но и ему повезло с тобой. Ты — восхитительная девочка, Лена.

— Лита! — вскричал Чарли и рассмеялся так, что оступился и сел мимо стула.

Чарли очень напряженно работал сам и высмеивал псевдоартистов, которые заявляли, что им необходимо вдохновение. Но он был достаточно умен, чтобы понимать, насколько бесполезно подстегивать себя в те дни, когда он чувствовал себя совершенно опустошенным. Тогда он звонил в студию и приказывал распустить всех по домам.

В такие дни и в уик-энды он часто отдыхал в плавательном клубе «Санта-Моника». Иногда он брал с собой меня и Тельму, хотя независимая Тельма Конверс явно начала чувствовать, что Чарли использует ее как ширму. Она никогда не показывала мне этой осведомленности, но, хотя и продолжала видеться с ним, даже если при этом была я, постепенно становилась все менее общительной.

Этот плавательный клуб в моем представлении был пределом изыска. Здесь радостно резвились звезды в счастливом сознании собственного избранничества в Америке XX века. Здесь был Джон Гилберт, дружелюбный и общительный, всерьез заявивший о себе как актер после выхода фильма «Большой парад» (The Big Parade). Здесь была Глория Свенсон, яркая звезда, хотя и немного высокомерная, которая, как оказалось, что-то слышала обо мне. Здесь была Грета Гарбо, немного отстраненная, но тогда она была гораздо более общительной, чем стала потом (спустя год я время от времени встречала ее в Сан-Симеоне, в имении Уильяма Рэндольфа Херста, и с каждым разом ее отчужденность все больше довлела над всем остальным в ее облике). Здесь была Клара Боу, веселая девушка чуть старше меня, настоящая знаменитость, но прошедшая долгий путь, прежде чем стать признанной красавицей.

И всегда был Чарли, переменчивый в своих настроениях, то оживленный, то отчужденный, но неизменно в центре внимания. Он обладал редким даром оказаться в какой-то момент в гуще событий, а в другой — внезапно исчезнуть. Пару раз он исчезал вместе со мной, и мы блуждали по тихим закоулкам вокруг клуба, обсуждая сложные сцены, которые он пытался снять для «Золотой лихорадки». Мы оба знали, что я служила просто отражателем звука, но он уверял меня, что это тоже искусство, и ему хорошо, когда я с ним.

Мы неизбежно заканчивали тем, что сидели вместе на

уединенном пляже. Иногда Чарли говорил без умолкла, а в другие разы мы могли не произнести ни слова. Тем не менее я остро сознавала, как что-то, пока еще не ясное, неуклонно нарастает между нами. Поэтому, когда как-то раз в сумерки он предложил мне пойти на наше местечко на побережье, я прекрасно знала, что все происходящее теперь — просто подготовка к дальнейшему.

Каким-то образом я поняла, что тревожное ожидание близится к концу, и я иду навстречу неизбежности без колебаний.

Я стояла у кромки воды, наблюдая, как океанские волны набегают на песок. Он подошел ко мне сзади, обнял за талию и сказал: «Как красиво в это время дня, правда?» Он поцеловал меня в плечо: «А ты прекрасна в любое время суток». Я не двигалась. Страх был не таким неуправляемым здесь и сейчас, в сравнении с тем, что было в Тракки. Не потому что теперь я знала его лучше — на самом деле это было не так — а потому что сам его подход радикально отличался от того ужасного нападения в отеле. Он был мягче, он еще не прикоснулся ко мне, а я уже знала, что не буду сопротивляться, что он будет нежным, чутким и добрым. Он слегка прижимался ко мне, и я чувствовала его возбуждение, но не уклонялась и не паниковала при мысли о том, что сейчас произойдет.

— Тебе нравится?

— Да, — выдохнула я.

Слово «нравится» едва ли передавало то, что я испытывала, когда он начал медленно, ритмично двигаться мне навстречу. Я была напугана, я трепетала, я задыхалась, слово «нравится» было бледным подобием того, что я испытывала, но я не смела сказать ему.

— С тобой уже было такое?

— Однажды… с вами.

— Да, со мной, — прошептал он. — Мне так приятно, что у тебя не было до меня мужчин, Лита. Я разбужу тебя. Теперь не будет так, как в прошлый раз, когда мы были вместе.

Его пальцы скользнули вверх от моей талии к округлостям груди.

— Тебе нечего больше бояться. Ты должна доверять мне. Я никогда не обижу тебя. Ты должна знать это. Ты всегда должна знать это.

Его губы щекотали мое ухо и шею, а пальцы тем временем спускали лямки купального костюма с плеч. Он заключил в ладони мои груди, и мне стало трудно дышать. Ноги перестали держать меня, и я едва не потеряла равновесие. Потом он нежно развернул меня, и я увидела, с каким обожанием он смотрит на

мою грудь.

Мы опустились на песок. Я отметила с благодарностью, что прежде чем целовать грудь, он поцеловал меня в губы, это говорило мне о том, что я нужна ему вся, а не только мое тело. Парадоксально, но мое физическое желание к нему шло от сознания, что он целует меня целомудренно, чуть ли не почтительно, а не с животной страстью. Я стеснялась своей наготы, и все же решительно обвила его руками и прижималась к нему все сильнее.

После все более пылких объятий он почувствовал себя свободнее. Проворно, хотя и неторопливо он стянул с меня купальник и присел на коленях, чтобы рассмотреть меня обнаженной. Я инстинктивно стала прикрывать руками те части тела, которые прежде ни один мужчина не видел, но, взглянув на него, я увидела полное отсутствие похоти в его глазах, и внезапно стыд исчез. Мои руки опустились вдоль тела.

Я наслаждалась его восхищенным взглядом, обращенным на мое распростертое тело, и его почти неслышным бормотанием: «Прекрасная, невероятно прекрасная…» — и любила этого человека, который освободил меня от стыда и сомнений. Это было чудное время дня, смеркалось, но еще было достаточно светло, чтобы мы могли смотреть друг на друга, не испытывая стыда. Он оставался в той же позе, разглядывая меня так, словно изучал картину. Предвкушая, что он снова притронется ко мне, я почувствовала головокружение. Чтобы отвлечься, я не сводила глаз с его пальцев, таких неподвижных, что они казались вырезанными из коричневого дерева. Их покой не выдавал ни стремления доказать свою силу, ни желания обладать.

— Ты — Жозефина, правда? — спросил он. — Дева и самка, невинная и искушенная.

Он встал и начал снимать свой полосатый купальный костюм.

— Ты шокирована моим видом, юная Жозефина?

Я отрицательно помотала головой.

— Тебя это возбуждает? — спросил он, стоя во всей красе.

Я кивнула, не потому что это было так, а просто потому, что он явно хотел возбудить меня своим видом. Конечно, любопытство мое было очень острым, но еще больше было мое желание обнять его, человека, который любил меня, человека, которого я боготворила. Он встал на колени надо мной, и я с изумлением обнаружила, что не испытываю страха. Как все это произойдет — с легкостью, или этот акт любви будет нарушен чем-то, не имеющим к ней отношения? Одна из девочек в школе — не Мерна — предупреждала, что в первый раз бывает кровь и боль. Я не знала ничего — кроме того, что боль не может быть

связана с таким совершенным существом, как Чарли.

Он опустился ко мне, и у меня сжалось горло от сознания, что это и значит заниматься любовью. Конечно, Мерна рассказывала мне об этом, но меня так захватывала мысль о сексе — не о посягательстве на мое тело, а о том, кто-то будет держать меня в объятиях и любить, — что до этой минуты я не понимала их рассказов. И меня сковал страх.

«Мы с тобой… оба…» — бормотал он, постепенно двигаясь все сильнее. Я схватилась за его спину. Я знала, он не хочет сделать мне больно, но сейчас он *делал* мне больно, и меня пронзил ужас. Но еще было не слишком поздно. Я не могла пойти на это. Я не могла дать ему войти в меня. Мне хотелось снова быть ребенком. Это было не для меня. Это для животных. Это для взрослых.

— Нет, — скулила я и дико крутила головой, перестав обнимать его и пытаясь сжать ноги. — Я не могу, не могу!

Я почувствовала, как его тело, давившее на меня своей тяжестью, приподнялось. Возможно, он хотел выругаться или даже ударить меня, мне было все равно. Я повернулась на бок, и хотела дать волю слезам. Было чувство вины, жгучего стыда, и я хотела умереть.

«Ну, ладно, ладно, — шептал он, нежно обнимая меня. Он покачивал меня, целовал глаза и утешал: „Ну, все, Лита, все. Больше ничего не будет, успокойся…“

Наконец, я смогла взять себя в руки, но почувствовала, что мне нужна его помощь, чтобы встать на ноги и даже надеть купальник.

— Я пыталась сказать вам…

— Сказать мне что?

— Что я не просто девственница, но еще и напугана, и ничего не понимаю в этом.

Он засмеялся, без тени упрека. Мы вернулись к прерванной прогулке.

— Ты словно извиняешься, — сказал он, нежно беря меня за руку.

Я кивнула.

— Что-то в этом роде. Я хотела, чтобы вам было хорошо. А я вела себя, как наивная девственница.

— Прекрати употреблять это слово так, словно девственность это что-то страшное, — сказал он. — Ты думаешь, меня так неудержимо влекло бы к тебе, если бы ты была подружкой какого-нибудь моряка? В тебе есть много привлекательного, Лита, но самое волнующее — это твоя невинность. И еще долго после того, как ты перестанешь быть девственной, ты останешься невинной.

Это тебя и отличает от кучи девиц вокруг.

Особенно стыдно мне было из-за моего полного неведения о самом любовном акте, и чем больше я старалась не признавать это, тем больше теперь чувствовала потребность высказаться.

— Хотите посмеяться? Хотите, расскажу, какая я была глупая? Можете верить, или нет, но пока вы не отодвинулись, я, честно, не знала, насколько глубоко вы могли поместить эту вашу, — я запнулась, — „штуку“.

Унылое детское слово, но те названия, которые давала этому Мерна, внушали омерзение, а слово „пенис“, как мне казалось, звучало бы слишком книжно.

Он был добродушно изумлен — не признанием, а самим словом.

— Разрыв девственной плевы действительно немного болезнен, — признал он, — но не мучителен. Насколько я знаю, ни одна женщина пока еще не умерла от боли. Если бы мы продолжили, сейчас уже все было бы хорошо, и всякий дискомфорт был бы забыт. После этого маленького дискомфорта, Лита, остается чистое удовольствие.

— Почему же тогда вы не продолжили?

— Ты была так напугана.

— Но вы говорите, что первая часть быстро проходит, — настаивала я. Зачем я опять сделала этот разворот? Зачем я винила его? Ведь он не сделал именно то, что я умоляла его не делать!

Он терпеливо объяснил:

— По очень простой причине. Я не насильник. Хотя, надо признать, иногда меня заносит и приходится сдерживать себя усилием воли. Но я не хочу просто использовать тебя, Лита. Если бы это был просто вопрос быстрого секса, у меня предостаточно возможностей в этом городишке… Это для свиней. Бесконечно радостнее строить такие отношения, которые будут у нас с тобой. И они у нас будут — самые прекрасные и самые запоминающиеся.

Мы вернулись в клуб, чего я очень страшилась. Я была уверена, что все немедленно обо всем догадаются, но насколько я могла заметить, никто не приветствовал нас со скабрезной улыбкой. Тельма казалась не слишком довольной, видя, что мы вернулись вместе с Чарли, но, похоже, она ничего не сказала ему об этом.

На студии мы успешно делали вид, что нас двоих связывает исключительно общее дело, работа над фильмом. Когда Чарли заговаривал со мной, казалось, он обращается со мной точно так же, как и с другими актерами, такими как Мак Суэйн или Том

Мюррей, игравшими золотоискателей, — в прямой, профессиональной манере. Его тайные взгляды, обращенные ко мне, были не менее многозначительными, чем прежде, но теперь он больше следил за тем, чтобы люди не подумали, что он рассматривает меня иначе, чем актрису, играющую главную роль в его картине. Чем меньше дружеского участия он выказывал мне на съемочной площадке, тем более тепло держался с мамой. Их разговоры были короткими, но он явно очаровывал ее так, чтобы она считала его полностью благонадежным в отношении ее дочери. И судя по тому, как она говорила о нем мне, пока мы шли из дома в студию, он в этом преуспел. Он так тонко и умно манипулировал ею, что она была убеждена в его совершенной безопасности для меня.

Этому способствовали и газеты. Раз или два в неделю трио из Чарли Чаплина, Тельмы Морган Конверс и Литы Грей фотографировали во время посещения кинопремьеры, концерта и ресторана — мастер, его невеста и его протеже. На фото мы всегда были улыбающимися, а в подписях неизменно упоминались две женщины в жизни Чаплина: одна — девушка-подруга, а другая — просто девушка. Даже дедушка, который поначалу с неодобрением относился к моим съемкам в „Золотой лихорадке“ — мол, ей нужна нормальная жизнь подростка, а не вся эта мишура, — признавал, что на фотографиях я выгляжу очень мило и что мне хватает ума не выпендриваться.

Единственным человеком, кроме Чарли и меня, понимавшим, что все это — обман, была Тельма. Однажды вечером за ужином она понаблюдала и послушала, как Чарли нежно разговаривал со мной, отодвинула от себя тарелку, откинула свои черные волосы и резко бросила: „С меня хватит!“ И зашагала прочь из ресторана. Чарли кинулся за ней, но ее уже и след простыл.

— Бедная Тельма, думаю, она раздражена, — отметил он, как всегда, явно что-то не договаривая.

— Я бы хотела, чтобы вы ее догнали и вернули.

— Ты хочешь, чтобы она вернулась?

— Ну, не совсем, — призналась я.

— Но она выглядела ужасно рассерженной. Я не хочу никому причинять неприятности.

— Разве? — спросил он с дьявольской ухмылкой.

— Я хочу сказать, она же важна для вас.

Он кивнул.

— Ты права, Лита. Тельма была важна — для нас. Если она не ответит на мои телефонные звонки, а у меня есть подозрение, что она может не ответить, — ее глаза горели, — у нас будет небольшая проблема с появлением на публике. Уверен, что

газетчики с их грязными мыслями прекратят публикации, если хотя бы на минуту заподозрят, что я люблю тебя. Или кого угодно твоего возраста.

— Я правильно расслышала вас? — спросила я. — Вы сказали, что любите меня?

— Боже правый, ты же и так знаешь!

Еда осталась на столе нетронутой. Мы едва прикоснулись к ней. Когда мы вышли из ресторана, локомобиль ждал нас. Пока швейцар открывал заднюю дверь, Чарли воспользовался моментом и что-то сказал Фрэнку, чего я не могла слышать. Потом он присоединился ко мне, и как только дверь закрылась, и машина тронулась, он потянулся вперед и повернул кронштейн, фиксирующий черную штору, отделяющую нас от Фрэнка.

— Фрэнк знает, где ты живешь, и мы отвезем тебя домой, — сказал он, — но пока еще рано, а вечер такой прекрасный. Поедем длинной дорогой.

Я бывала в этой большой машине и раньше, но никогда не знала, что можно задвигать шторы.

— Вы обо всем подумали, — сказала я.

— Абсолютно обо всем, — усмехнулся он и откинулся назад.

Я считала, что знаю Голливуд хорошо, но не прошло и двух минут, как мы оказались на таких неосвещенных улицах без названий, словно были далеко за городом. Я смутно догадывалась, что произойдет дальше: когда Чарли решит, что наступил подходящий момент, он затащит меня на свое широкое мягкое заднее сиденье. Меня не слишком волновало, что подумает обо мне Фрэнк. У этого человека не было возраста и лица, все, что я знала о нем, это то, что он умел водить машину, и что у него есть загривок.

Над задним сиденьем был светильник, но Чарли не включил его. Наоборот, он занялся тем, что задернул занавески на своем окне, а потом потянулся, чтобы проделать то же самое с моим. Мы оказались почти в кромешной тьме.

— Ну, как, уютно, почти как дома? — спросил он, играя моими волосами.

Я не могла ему сказать, что чувствую себя, будто еду в катафалке.

— Мне хорошо, потому что я с вами, — ответила я.

На этот раз, когда он поцеловал меня, я ответила сразу же и со всей полнотой чувства. Страх и тоска из-за того, что он собирался делать со мной, все еще не отступали, но теперь я знала, что люблю его и нуждаюсь в нем. И он сказал, что любит меня… Я не только позволила ему поцеловать меня, я прильнула к нему, а мои губы приготовились к поцелую.

Его мягкая рука проникла за корсаж платья и угодила в капкан лифчика. Я слегка застонала и еще сильнее прижалась к нему.

— Как снять всю эту проклятую сбрую? — спросил он неожиданно хриплым голосом.

— Это вроде не так просто. Тут все надо расстегивать как бы вместе.

У него вырвался звук отчаяния. Другая его рука трудилась над моей юбкой и плясала над моим бедром, пока не нащупала ткань моих трусов. „А это еще что такое? Это часть ансамбля?“

Трусы можно было спустить, но я опять испытывала тревогу. В Тракки Чарли был обезумевшим животным. В плавательном клубе в Санта-Монике — спокойным и властным. Сейчас он был между тем и другим — ни диким, ни спокойным, — а я была встревожена. „Я — ваша, вы знаете это, — сказала я. — Только, пожалуйста, не делайте этого здесь. Здесь так уныло. Пожалуйста… не здесь“.

Не говоря ни слова, он нащупал путь к вершине трусов на эластичной резинке и молча стянул их вниз, я бормотала, чтобы он прекратил, но не слишком настойчиво, поскольку он снова целовал меня. Потом он сражался с собственной одеждой и затаскивал меня поверх себя. Я слышала его затрудненное дыхание и холодно осознавала безумие этой новой попытки — не в кровати отеля в Тракки, не на побережье Санта-Моники, а на неосвещенном заднем сидении автомобиля с водителем, сидящим почти в метре от нас…

И снова я закричала от боли, и снова он остановился. Он вернул меня на сиденье и покрывал поцелуями. „Я понимаю, дорогая… Все, все, больше ничего не будет“, — шептал он.

Потихоньку его дыхание стало ровнее. Он отдернул черную штору в сторону и сказал что-то шоферу. Он баюкал меня, как ребенка, и приговаривал: „Все, Лита, ты едешь домой, дорогая. Не дрожи ты так. Все будет хорошо“.

Я плохо спала и почти ничего не ела. Мама встревожилась, но я свалила все на нервозность из-за съемок, и она приняла объяснение.

До некоторой степени я говорила правду. В роли девушки из дансинга я делала все, что мне говорили, и Чарли осыпал меня комплиментами; даже Ролли Тотеро улучил время и уверил меня: „Ты прекрасно держишься перед камерой, деточка. Она передает всю твою живость и подъем“. Но я не испытывала оживления или подъема. Я чувствовала себя нескладной среди этих профессионалов, мямлей, понятия не имеющей, как добиваться

непринужденности перед камерой. Десятки раз мне хотелось удрать, но я не смела сказать подобное, я боялась, что если Чарли заподозрит мои сомнения, он начнет пересматривать свое отношение к моим актерским способностям.

Что удручало меня больше на съемочной площадке — это глаза Чарли, беспрестанно преследующие меня, постоянно напоминающие мне — словно я нуждалась в напоминаниях — о том, что осталось незавершенным. Потом, в течение трех бесконечных дней после той поездки в машине, он поймал меня, когда я была одна, и сказал: „Я не могу больше выносить этого наказания, Лита. Завтра в полдень я собираюсь сослаться на мучительную головную боль и распустить всех на целый день. Мы с тобой отправимся ко мне домой. Можешь организовать так, чтобы у твоей мамы были другие дела?“

Я ответила без тени сомнения: „Придумаю что-нибудь“, — но во рту у меня пересохло.

Когда на следующий день заявление о головной боли было сделано, я обнаружила, что избавиться от мамы не проблема. Я просто сообщила, что хочу сходить на дневной сеанс с подружкой, и все. А ей как раз нужно сделать кое-какие покупки, сказала она.

Был разработан детальный план встречи с Чаплином на определенном углу в определенное время. Я увидела, как приблизился и замедлил ход локомобиль, и впрыгнула в него. „Нам нужно снимать шпионский фильм с тобой вместе“, — сказал с ухмылкой Чарли, когда шофер с шумом помчал нас прочь. Я кисло улыбнулась в ответ, чувствуя, что не способна взглянуть ему в глаза.

Поездка в его владения в Беверли-Хиллз была долгой и странно спокойной, теперь, когда я хотела и нуждалась в том, чтобы он был рядом, он сидел тихо в дальней части сиденья, уставившись на разделительную штору. Едва ли было бы лучше, если бы он шутил и подтрунивал надо мной, но его серьезность причиняла мне боль. Выглядело это так, словно мы едем к зубному врачу, а не на любовное свидание. Мне хотелось броситься к нему в объятия, но это явно могло удивить его. Чарли испытывал подлинную бурю эмоций, но, как я догадывалась тогда, а потом и убедилась в этом, если на него обрушивались неожиданные эмоции, это повергало его в шок.

Облегчение наступило, когда большая машина приблизилась к внушительному особняку в георгианском стиле. Дом стоял на плато, возвышаясь над Беверли-Хиллз со всеми прилегающими селениями и тихоокеанским побережьем. Крутой подъездной путь образовывал идеальный круг на вершине плато, покрытом буйно

цветущими розовыми кустами.

Окончательную остановку машина сделала перед крыльцом. Молодой японец в белом пальто и черных брюках сбежал по ступенькам и открыл дверь машины, кланяясь при появлении Чарли и помогая мне выйти. Мы продолжали молчать, пока японец сопровождал нас на лестнице, а машина умчалась прочь.

Коно, секретарь, редко покидавший Чарли, принял нас с немного притворной улыбкой, улыбкой, показывающей, что он точно знал, зачем меня сюда привезли. Он взял мою верхнюю одежду, вручил Чарли почту и спросил: „Позвоните, когда захотите чай?“

„Да, да“, — сказал Чарли, с нетерпением ожидая, пока он удалится, а когда Коно исчез, начал сортировать почту. В ожидании я с любопытством осматривалась вокруг. По первому впечатлению дом являл собой невероятное сочетание английского, французского и американского „контемпорари“ со странной примесью китайского и японского декора. Общая атмосфера была ориентальная, от изобилия нефрита до лиц слуг. Комната, в которой мы находились, походила на кинотеатр. Справа от нас была клавиатура органа, а слева, на первой лестничной площадке ступенек, ведущих наверх, — окошко проекционной будки. В дальнем конце комнаты располагался киноэкран, спускавшийся с потолка. Это была огромная комната; потолок высотой в два этажа крепился с помощью огромных дубовых балок, а массивная мебель была обита тяжелым выгоревшим оранжевым бархатом. К центру дома прямо от нас шел коридор, покрытый ковром в черно-белую шашку.

Обернувшись, наконец, чтобы взглянуть на меня, Чарли был изумлен зачарованным выражением моего лица. „Пойдем, Лита, я покажу тебе тут все“, — сказал он, беря меня под руку. Мы спустились в шахматный холл и вошли в жилую комнату. Тут и там в этой откровенно мужской комнате можно было видеть множество вещиц из нефрита, преимущественно обнаженные фигурки. Чарли любовно взял одну из них и показал мне. „Этот херувим — мой любимый“, — объявил он, и меня немного смутило его предпочтение статуэтки, не имеющей фигового листа. Он подошел к нескольким фигуркам рыб, восточных богов и миниатюрных сооружений, продолжая не выпускать из рук херувима. „Я неравнодушен к херувимам, — пояснил он. — В них есть и знания, и любовь, но нет греховности или коварства“. Улыбаясь, он добавил: „Я думаю о тебе, как о херувиме, Лита“.

Я снова вяло улыбнулась, но не смогла придумать ответа.

Над книжными полками висела пара гравюр, изображающих Лондон в тумане, голые и меланхоличные стволы и ветви

деревьев. Пока я рассматривала гравюры, я ощущала рядом его присутствие. Его лицо было печальным и задумчивым. Впервые мне пришла в голову удивившая меня мысль, что, возможно, этот знаменитый, обожаемый всеми человек так же одинок и внутренне бесприютен, как и я.

Он повел меня в обшитую ореховыми панелями гостиную. Мебель была соответствующая. За массивным резным столом могли разместиться восемь человек, но стулья были такими огромными, что их было только шесть вокруг стола. Кресло хозяина имело исключительно высокую спинку, богатую резьбу и оранжевые бархатные подлокотники, все это делало его похожим на трон. Чарли проводил меня к креслу поменьше напротив и отодвинул его назад со словами: „Присаживайтесь, моя королева“. Я села и увидела его одобрительную улыбку.

— Превосходно, превосходно! — воскликнул он. — Ты — превосходная Жозефина — царственная, но раскованная. Императрицы — воплощение внутренней свободы.

— Это не обо мне, — возразила я. — Я далеко не расслабленна…

— Не спорь, — сказал он, вновь улыбнувшись. — Если я говорю, что ты — Жозефина, значит, ты — Жозефина.

Он пересек столовую и подошел к тяжелой бархатной драпировке, кайма которой почти касалась потолка, потянул шелковый шнур, и открылось огромное окно.

— Иди сюда, — скомандовал он, и я повиновалась.

Вид был потрясающий. Передо мной террасами расстилался необъятный, ухоженный газон, обе его стороны были густо усыпаны клубникой.

— Подожди, ты еще увидишь эту картину сверху! — сказал он с воодушевлением. — Отсюда даже не видно бассейна. Он под нижней террасой. Но сверху панорама захватывающая!

Шторы закрылись так же быстро и легко, как и открылись, и он взял меня за руку, чтобы провести по другим комнатам на первом этаже. Следующими после столовой были яркое, веселое помещение для завтрака с кованой мебелью и кухня — по размеру превосходящая, по крайней мере, вдвое нашу с мамой спальню. Мне были показаны туалетная комната, застекленная терраса и киноаппаратная. Хозяин повел меня в сад, где нашему взору открылись теннисные корты и бассейн. Мы гуляли по узким тропинкам под сводами, увитыми виноградом, а он говорил и говорил, словно мальчишка моего возраста, освоивший непостижимую профессию и не вполне уверенный, что заслужил все эти материальные блага, дарованные славой. Это была еще одна его грань, которой прежде я в нем не наблюдала.

Поднявшись с ним на третий этаж, я была потрясена его нервозностью подростка, которая, казалось, нарастала с каждым шагом. Он продолжал повторять, какой замечательный вид из верхних окон, словно пытаясь заморочить мне голову и заставить поверить, что мы поднялись сюда исключительно по этой причине. Я была тронута его волнением, и на самом деле это помогало меньше нервничать мне самой.

Спальня была обставлена так же дорого, как комнаты на втором этаже, за исключением ковра; он был с цветочным рисунком и выглядел заурядно и дешево, ничуть не украшая комнату, которая в противном случае была бы роскошной и изысканной. „Этот ковер не подходит для моей китайской спальни, — сразу же сказал он, словно обороняясь, хотя я и словом не обмолвилась. — Но мне он нравится“. Потом, в своей обескураживающей непоследовательной манере добавил: „Знаешь, он стоит всего три доллара за метр!“

Комната выходила на две стороны. Мы подошли к окнам, обращенным на Запад. Возле одного из них, наверху типично мужского комода стоял флакон одеколона Guerlain's Mitsuko.

— Это и был тот запах, который я все время чувствовала? — задала я вопрос… — В вашей раздевалке, в вашей машине, от вашей одежды, от вас?

— Тебе нравится?

— Да! Я ни от кого, кроме вас, не ощущала этого аромата.

Я не совсем верно выразилась и начала объяснять, что имела в виду. Чарли улыбнулся, взял флакон и вынул пробку.

— Вот, — сказал он и помазал мне руку экзотическим одеколоном. — Замечательный запах, правда?

— Ммммм, — кивнула я, нюхая свою руку. — Он всегда будет напоминать мне о вас.

Это тоже прозвучало чересчур. Но пока я могла смотреть в окно, а не него, мне казалось, я могу позволить себе нечто подобное, хотя бы на время.

Он молчал, и хотя стоял близко, не притрагивался ко мне. Потом сказал: „Пойдем, посмотрим восточную часть дома. По дороге я покажу тебе предмет моей особой радости и гордости“.

Я последовала за ним через узкий проход и застекленную дверь в ванную комнату, всю в белом кафеле и белом мраморе. Поначалу она выглядела, просто как ванная — роскошная, разумеется, но все же ванная. Но тут он показал помещение со встроенной мраморной плитой и сказал: „Моя парилка“.

Я была поражена: „Парилка? Я слышала об одной актрисе, принимающей ванны из шампанского, но собственная паровая баня! Мой дедушка ходит в парную иногда …“ Я осеклась, поняв,

что говорю что-то не то.

„Здесь можно расслабиться, императрица Жозефина“, — сказал он мягко. — Процедура очень простая, даже херувим может делать это». Он указал мне на рукоятки на одной стене: «Поверни рукоятку с обозначением „пар“. И заходи. Больше ничего не требуется. А, ну конечно, надо оставить банный халат на крючке. Уверен, твой дедушка говорил тебе об этом».

И, внезапно закруглив тему, сказал: «Пошли». Он проводил меня в другую комнату, гостевую. Эта комната отличалась от всех остальных в доме тем, что была явно предназначена для женщины. Изящные занавески из тафты на окнах, пастельные оттенки розового и голубого, изысканная мебель цвета слоновой кости. На туалетном столике было выставлено множество женских туалетных принадлежностей, а на кровати, на розовом шелком покрывале лежал женский махровый халат.

В шоке от увиденного, но пытаясь сделать вид, что мне это безразлично, я двинулась в сторону окна. Отсюда открывался вид на всю восточную часть Беверли-Хиллз, на крутые багровые холмы Голливуда, и на виднеющийся вдали силуэт снежной горной вершины на фоне голубого неба. При этом я не переставала остро осознавать предназначение этой комнаты и к чему он меня подводил.

Он вынул из кармана пиджака письма, которые дал ему Коно.

— Мне нужно просмотреть их, — сказал он. — Пока ты ждешь, почему бы тебе не опробовать парную? Здесь есть все, что тебе понадобится, а в стенном шкафу полно полотенец.

— Как скажете.

— Тебе понравится! Когда у меня бывает трудный день в студии, достаточно провести пять минут в парной, и я готов на подвиги! Чувствуй себя, как дома. Не смущайся.

С этим он заспешил прочь.

Уже имея некоторое представление о том, как функционирует его мозг, я не без основания была уверена, что меня никто не побеспокоит — по крайней мере, слуги. Если он еще этого не сделал, то наверняка предупредит их теперь. Я просто диву давалась, насколько я изменилась со времени поездки в Тракки. Собираясь постучать в его дверь тогда, я чувствовала себя словно перед клеткой с тигром, но мой страх смягчала детская уверенность, что ничего плохого со мной не случится. Здесь же, в особняке в Беверли-Хиллз, всего месяц спустя я без тени стыда и сомнений готовилась предложить этому человеку все, чего он захочет.

Стараясь не смотреть в зеркала гостевой комнаты, я быстро сняла одежду, надела махровый халат, и направилась в ванную.

На минуту я задумалась, не испугает ли меня струя пара. Я повернула рычаг, который мне показал Чарли и сразу же послышался шипящий звук. Я сняла халат, повесила его на крючок, перешагнула кафельный порог и оказалась в маленьком помещении. Я ждала, но, казалось, ничего не происходило, пока внезапно пар не пополз на меня со всех сторон, заволакивая стены и воздух. Глазам стало больно, я боялась дышать полной грудью, но вскоре тепло стало мягким и нежным.

Пар клубился, становился гуще и гуще, пока, наконец, не заполнил каждый сантиметр пространства. Я ничего не видела. Нежно ласкающий меня пар навевал сон, я легла на мраморную плиту и закрыла глаза. Передо мной стояли все виденные мною картины и фильмы о царицах и принцессах в королевских банях и рабынях, осушающих и умащивающих их тела. Я положила руки на лоб и скрестила лодыжки, гадая, что произойдет дальше.

А дальше был Чарли, вытянувшийся подле меня и покрывавший мою шею быстрыми легкими поцелуями. «Так нам будет легче, — сипло произнес он. — Мы не сможем видеть друг друга».

На побережье и в его машине, он определенно властвовал, но довольно нежно. Теперь же он неожиданно вновь стал мужчиной из Тракки, скорее грубо использующим меня, чем любящим. Но это уже не имело значения. Я неистово прижала его к себе. Потом я почувствовала острую пронзительную боль внутри и закричала, но не ослабила объятий. Боль слепила меня сильнее, чем пар, но я извивалась, словно в экстазе, чтобы показать, что принадлежу ему.

Позже он ушел, а я осталась лежать на мраморной плите. Пар начал рассеиваться. С потолка капала холодная вода, а влага со стен стекала ручейками в отверстие на полу. Наконец я смогла подняться. Я едва стояла, пораженная видом крови. Я была опрокинута. У меня все болело.

Надо полагать, я стала женщиной. Мне было пятнадцать, а чувствовала я себя еще более юной. Было безумием, конечно, считать, что теперь у меня будет ребенок. Чарли велел мне не беспокоиться.

Глава 7

Теперь все остальные страхи заслонял один новый страх: все, чего он хотел, это победа, а раз она достигнута, он найдет способ вычеркнуть меня из своей жизни.

Я была уверена, что не переживу этого.

Пока я принимала душ, я повторяла со смесью удивления, стыда и смутного облегчения: «Теперь ты не девственница». Помимо постепенно затихающей пульсирующей боли, мое тело не ощущало разницы, а выглядела я точно так же, как выглядела час назад. И все же я *была* другой. Мама донесла до меня мысль, что порядочные девушки — девственны, а девушки, которые уступают мужчинам до свадьбы, — распущенные. Я — распущенная? Я чувствовала себя странно, но не распущенной. Я любила этого человека, мой господин стал моим любовником, и я отдалась ему, потому что любила его. Распущенные отдаются по другим причинам, разве нет?

Укутанная в турецкое полотенце, с халатом на руке, я вернулась в гостевую комнату, стараясь не ежиться. Чарли был там, в халате, и вернул меня к жизни улыбкой, излучающей тепло. Розовое шелковое покрывало было отодвинуто, а моя одежда и даже белье — аккуратно разложены в ногах.

Он взял меня за подбородок и сказал мягко:

— Ты — божественна.

— Я люблю тебя, — тихо и торжественно произнесла я.

— Я хочу, чтобы ты… — он снял с меня полотенце и вытер меня. — Разве не странно? Сколько поэзии — прекрасной, возвышенной — написано за многие века, но ничто не может сравниться с простотой слов: «Я люблю тебя».

Он помедлил, посмотрел на меня серьезно и повторил:

— Я люблю тебя. Я люблю тебя, Лита, милая, я люблю тебя.

Я была так взволнована, что расплакалась — теперь уже не от страха, сожаления или стеснения, а от радости, и это был самый блаженный момент в моей жизни.

Узкая кровать дожидалась нас. Теперь я бесстрашно бросилась к Чарли, ибо никогда не чувствовала себя более защищенной. На этот раз он был нежнее, а я на этот раз старалась, насколько могла, быть менее зажатой. Я искала его губы и целовала их, повторяя: «Я люблю тебя». Солнечный свет заливал комнату, но не было стыда в том, что мы видели друг друга. Я по-прежнему испытывала боль, когда он проникал в меня, но уже не такую мучительную. Я не отрывалась от него, боясь отпустить и надеясь разделить с ним, хотя бы чуть-чуть, его

удовольствие. Когда это случилось с ним, на мгновенье я почувствовала некоторое разочарование, что это — чем бы «это» ни было — не приходит и ко мне. Он лежал обессиленный и задыхающийся в моих объятиях, моей же высшей наградой было наслаждение, которое ему дала я. Больше мне ничего не было нужно.

Когда мы оделись, я спросила: «Ну, как я была, ничего?» Это был идиотский вопрос, я знала, что зря задала его. Пола Негри и другие искушенные женщины не стали бы задавать такой глупый вопрос. Но я не смогла сдержаться.

Чарли засмеялся.

— Нет, — ответил он.

Я посмотрела на него испытующе.

— С чего бы? Ни одно искусство не осваивается сразу. Искусство любви — высочайшее из искусств, оно нуждается в практике. Но я подозреваю, ты будешь прекрасной ученицей, Лита.

— Не надо так говорить, — слегка обиделась я. — Я хочу быть больше, чем просто ученицей. Это звучит так, будто речь идет об уроках игры на фортепьяно.

Он снова засмеялся.

— Не спорьте с учителем, юная леди. Поторапливайтесь. Нас ждут внизу отменные сэндвичи и чай. А потом — быстренько к маме.

В дверях спальни он снова поцеловал меня.

— Я правда без ума от тебя.

После этого дня мы старались оставаться вдвоем при всякой возможности — иногда на пару часов, иногда на пару минут. Когда времени было мало, мы едва успевали взять друг друга за руки. Теперь я почти испытывала ту захватывающую страсть, которую по его уверениям мне еще предстояло узнать, и я трепетала, когда Чарли смотрел на меня с откровенным одобрением после каждого акта любви. Кто был распущенным? Разумеется, не эта обожающая девочка, которая принадлежала телом и душой Чарли.

Придумывание изощренных схем избавления от маминого надзора превратилось в игру, а мы с Чарли стали настоящими специалистами. Чем больше мы находились вместе, особенно после его оргазма, тем менее виноватой я себя чувствовала. Безусловно, в наших отношениях секс был связующим звеном, но постепенно не менее очевидно стало и то, что дело было не только в этом. Нам было хорошо друг с другом. Чарли, который обычно не был неудержимым говоруном, очень любил обсуждать

со мной идеи съемок, даже если я не все понимала. Признаю с сожалением: у меня никогда не было иллюзий, что я способна хоть как-то удовлетворить его интеллектуально.

— Ты помогаешь мне тем, что ты рядом, Лита, — сказал он однажды. — Мне так покойно с тобой. Я не должен быть Маленьким Бродягой или большим руководителем. Я могу быть собой. Я не должен бояться тебя.

— Бояться? Разве кто-нибудь пугает тебя? — спросила я недоверчиво.

Он ответил, пожалуй, слишком легко:

— Почти все пугает меня. Постоянно.

Это было странное заявление для такого в высшей степени уверенного в себе человека. Я спросила, что он имеет в виду, но он пропустил вопрос мимо ушей.

В течение нескольких недель после моего первого визита в его дом Чарли развлекался изобретением способов нейтрализовать мою маму, и в то же время придумывал предлоги, чтобы проводить на час-другой меньше на съемках в дни, когда ему была необходима полная концентрация. Однажды в саду за его домом Чарли внезапно настигла ужасная головная боль — так он сказал менеджеру компании, — я же в то время должна была находиться в публичной библиотеке. Он обратился ко мне в приступе гнева.

— Черт подери, — жаловался он. — Я устал от всех этих хитростей, устал придумывать способы остаться с тобой наедине. Нелепое занятие. Что плохого мы делаем, почему должны лгать по поводу каждого своего движения?

Я объяснила ему.

— Минуточку, мисс Вина, — сказал Чарли. — А вы ничего не упустили? Последние два раза, когда мы были вместе, мы могли отправиться в постель. Но мы этого не сделали. Точно так же и сегодня. Так что же страшного мы делаем?

Мои брови поднялись. Он был прав. Мы перестали немедленно набрасываться друг на друга в те мгновения, когда оставались вдвоем. Мы начали использовать эти минуты для совместных прогулок и разговоров, для того, чтобы побыть вдвоем, просто потому что нам было хорошо вместе. Конечно, мы целовались и остро ощущали соприкосновение наших тел. Но хотя мы особенно не задумывались над этим, секс перестал быть единственной силой, которая сводила и удерживала нас вместе.

Я кивнула.

— Ты прав.

— Разумеется, я прав! Я люблю тебя, черт подери! Мне нравится быть с тобой. Я ненавижу обман. Твоя мама кажется

вполне стойкой. Неужели она убьет меня, если ей рассказать о нашей невинной дружбе?

— Невинной?

Чарли взглянул на меня и покачал головой.

— Нет, думаю, нет, — уступил он. — Но все это меня страшно раздражает. Я хочу объяснить твоей маме и всему миру, что я не злодей и не развратник, что общение с тобой делает меня молодым, счастливым и сильным и помогает мне жить и работать в этом поганом мире. О, Лита, почему жизнь не может быть простой и приятной, хотя бы иногда?

Бывали дни, когда я не была нужна на съемках, но Чарли хотел, чтобы я все равно присутствовала. По старой традиции репертуарных театров он хотел, чтобы все актеры и труппа постоянно были под рукой, независимо от того, есть для них работа в конкретный день, или нет; он никогда не знал, какая идея может прийти ему в голову, так что всем полагалось быть наготове. Я радовалась просто возможности стоять неподалеку, не только чтобы быть ближе к этому человеку, который стал всем в моей жизни, но наблюдать за работой великого мастера. С помощью минимума слов и жестов Чарли удавалось добиться гораздо большего от исполнителей, чем другим режиссерам, которых я наблюдала. Когда он отчетливо представлял себе, чего хотел, то мог донести это просто и ясно. Когда же не был вполне уверен — мог так ярко выразить генеральную идею, что люди изо всех сил старались удовлетворить его, и это им удавалось.

Руководя съемками, он всегда был в огромном напряжении и часто, казалось, находился на грани срыва, но самообладание никогда не изменяло ему настолько, чтобы пришлось приостановить работу на ощутимый отрезок времени. Неэффективная работа раздражала его, и он не терпел некомпетентности, да и не задерживались на его картинах некомпетентные люди, их вскоре увольняли. Между прочим, никогда он не делал этого сам, поскольку лично не мог уволить даже самого безнадежного болвана, это делали либо Элф Ривз, либо Чак Рейснер, либо еще какой-нибудь помощник.

Часто он бывал чрезвычайно снисходителен и терпелив с актерами и с техническим персоналом; если он не мог четко объяснить чего-то, он считал, что это его вина. В отличие от многих режиссеров, которые обрушиваются на других, когда сами не способны ясно выражать свои мысли, Чарли прилагал все усилия, чтобы быть точным в формулировках. Время от времени он мог быть саркастичным и даже оскорбительным, но позже неизменно давал понять окружающим, что он простой смертный и допускает ошибки. «Не должно быть никаких разночтений, —

говорил он. — Если у вас есть вопросы, выкладывайте. Сейчас самое время задавать их». Я слышала, как сотрудники компании жаловались друг другу на Чарли-человека; они критиковали его за то, что он заставлял их работать тяжелее и дольше, чем, по их мнению, требовалось. Они критиковали его за то, что он, мультимиллионер, платит им, по их выражению, как чернорабочим. Но они никогда не критиковали Чарли-художника. Свою работу он не мог делать плохо.

В то сумасшедшее лето 1924 года я как никто знала, что он ничего не умеет делать плохо. Я была настолько влюблена в него, что с трудом сдерживалась, чтобы не объявить об этом невероятном счастье всему миру. Несколько раз я прикусывала язычок, дабы не сболтнуть Мерне о том, как Чарли любит меня. Однажды я была опасно близка к тому, чтобы рассказать обо всем маме и посмотреть, поймет ли она, что происходящее между мной и им — прекрасно, восхитительно и потрясающе, что именно такой и должна быть настоящая любовь.

Время шло, и Чарли все более нетерпимо относился к тому, что нам приходится встречаться тайком, и грозился рассказать маме, что мы с ним встречаемся. «Я не скажу ничего лишнего, — говорил он. — Но твоя мама производит впечатление разумной женщины. Может быть, ты доверяешь ей меньше, чем она того заслуживает. Я просто объясню ей, что мне нравится твоя компания, и я хочу общаться с тобой. И это — чистая правда».

Я умоляла его не ходить к ней. Я предупреждала, что доверяю ей ровно настолько, насколько она стоит доверия, и достаточно одного намека о нас, и мама проследит, чтобы мы никогда больше не были вместе.

Он уступал, но не без сопротивления. Меня, как и его, расстраивала секретность наших встреч, поскольку я не могла заставить себя поверить, что происходящее между нами — плохо. Я очень хорошо знала, что любовь, которую испытывал Чарли, обращена к девочке, а не к женщине, но в этой любви была чистота. Конечно, разница в возрасте делала ее необычной, но она была не более безобразна и порочна, чем восход солнца. (В 1950-е годы некоторые газетчики сравнивали меня и Чарли с Эрролом Флинном и Беверли Адланд. Понятное, хотя и нелепое сравнение. Флинн преподносил себя как гедониста, но при всей публичной защите свободной любви, он по сути был отъявленным моралистом, что доказал — мне, по крайней мере — своими шумными и бесконечными попытками привлечь внимание к своему роману с девушкой вдвое моложе себя; он явно причмокивал, вспоминая сексуальные подробности. В то время как его юная белокурая подружка заявляла о «глубоких» чувствах

и «бурных страстях», Флинну было достаточно, чтобы все знали о факте его постельных отношений с юной девицей.)

Ни для кого не секрет, что Чарли был неравнодушен к молоденьким девушкам. Каждую он воспринимал как ученицу, и по-настоящему заботился о некоторых из них. Он любил развивать их, завоевывать их доверие, быть первым мужчиной в их жизни — и никогда вторым или третьим — и создавать их так же скрупулезно, как создавал фильмы. Он признавался мне в предпочтении компании из неопытных девочек, а не опытных женщин: «Это так трудно объяснить даже восприимчивым людям, что я перестал и пытаться. У них стойкое убеждение, что если м-р Ноябрь положил глаз на мисс Май, тому есть одна причина. Если говорить о художнике, то это вздор. Самая прекрасная форма человеческой жизни — юная девочка, которая вот-вот расцветет. Несомненно, тот или иной господин Ноябрь может быть отвратительным в обществе какой-то мисс Май. Я так и вижу такого старца со слезящимися глазами, рвущегося попрать невинность. Но я не таков — боже, я знаю, что я не таков. Я хочу создавать тебя, а не разрушить. Ты знаешь это, Лита?»

Не дожидаясь моего ответа — а я давала его всякий раз, когда мы встречались для прогулок, для постели, для того, чтобы обменяться быстрым поцелуем, — он рассказал историю Милдред Харрис. «Милдред была прелестной штучкой — не такой яркой, чтобы дух захватывало, но в ней было нечто, заставлявшее меня думать, будто я могу что-то сделать для нее, образовать ее, открыть ей все чудеса света. Я пытался, и, казалось, она хочет, чтобы я помог ей. — Он вздохнул. — Но ничего не получалось. Я был без ума от нее, и мы поженились, а я продолжал надеяться, что она сохранит свою юность — дух радости и нетления, — но она утратила ее. В конечном счете она оказалась базарной бабой, эгоистичной и циничной».

Чарли начал «создавать» меня. Он никогда особенно не ладил с прессой. Главным образом потому, я думаю, что и прессе нелегко было с ним: репортеры и фотографы не могли понять, почему он не кривляется, не носит смешных шляп. Теперь же он часто давал интервью, не упуская возможности упомянуть меня и похвалить мою игру. Его похвалы были такими непомерными, что кто-нибудь непременно задавал вопрос, а нет ли между ним и Литой Грей романтических отношений. Поначалу вопрос раздражал его, но он стал настолько естественной частью интервью, что Чарли научился виртуозно расправляться с ним. Его интерес к мисс Грей, заявлял он, это интерес одного артиста к другому артисту и к его потенциалу.

Мне это льстило, но и беспокоило.

— Почему ты преподносишь меня так, называешь «артистом» и все такое? Что будет, если картина выйдет и все увидят, что я не так великолепна, как ты говоришь?

— Минуточку, — уточнял он. — Слово «великолепный» никто не произносил. «Станешь великолепной» — возможно. Я не специалист по рекламе, Лита. У меня есть Тулли для того, чтобы кормить публику небылицами. Пусть меня покарает Господь, если я когда-нибудь произнесу голливудское словечко вроде «потрясающий», «колоссальный» для описания такого не потрясающего и не колоссального создания, как актер. Я говорил прессе правду. Я говорил, что у тебя великолепный потенциал. И я верю в это, — если ты будешь много работать, и главное, если останешься молодой.

— Ты имеешь в виду, остаться пятнадцатилетней навсегда?

— Да нет же, я вовсе не это имел в виду! Ты ничего не поняла из моего рассказа о Милдред. Разумеется, люди взрослеют. Только с некоторыми людьми происходит одна печальная вещь, с теми, кого мы больше всего хотим сохранить во времени; они безвозвратно теряют дух юности. Так не должно происходить. Это случается оттого, что они дают умереть всему самому прекрасному в себе. Я хочу, чтобы ты оставалась молодой и любознательной, чтобы тебя волновала жизнь, когда тебе исполнится сто лет. Я хочу, чтобы ты не стала разочарованной или скучающей.

Чарли принес мне книги для чтения, иногда с заложенными страницами, чтобы показать мне места, которые считал особенно важными. Ни одна из книг не имела отношения к шоу-бизнесу. По большей части они давали представление о различных искусствах и науках, от балета до антропологии, а особенно много заложенных страниц было в книге Герберта Уэллса. Я старательно проштудировала их все, хотя не слишком успешно, несмотря на поддержку мамы, приобщенную к плану «Образование Литы». «Надо постоянно читать, дорогая, — настаивала мама. — Если мистер Чаплин верит, что ты способна осваивать эти предметы, и если он тратит свои силы и дает тебе читать эти книги, значит, ты должна напрягать свои мозги, насколько это возможно».

Проблема состояла в том, что этой пятнадцатилетней девочке большинство книг казались сложными. Впрочем, одну из них я изучала особенно усердно, это была биография Наполеона, которую Чарли читал в Тракки. Когда-то он поведал мне, что думает снять серьезный фильм о Наполеоне и себя в центральной роли. «Есть несколько фильмов о Бонапарте, но ни один из них даже не приблизился к этой многогранной личности, — говорил

он. — Я могу сделать следующую картину о нем, когда освобожусь от „Золотой лихорадки“: А кто, как ты думаешь, идеальная Жозефина?»

Наверное, я должна была прийти в восторг, но нет. Чарли не сомневался во мне как в актрисе, а я наоборот. Вопреки его вере и очевидной убежденности людей на съемочной площадке, что я работаю хорошо, я считала, что не заслуживаю такого доверия. Я играла роль девушки из дансинга, которая дружит с бродягой, и избавилась от своих первоначальных страхов, но если я и была хороша, тому было две причины: роль не предъявляла ко мне особых требований, а у меня был никогда не допускающий ошибок режиссер, подстраховывающий каждый мой шаг. Тем не менее я не сомневалась, что Жозефины из меня не получится. Кроме того, стремление быть актрисой, а тем более звездой, никогда не владело мной безраздельно.

Чарли не обращал никакого внимания на мои сомнения. «Твоя скромность очень симпатична, но лучше тебе успокоиться, — говорил он. — Каково мне, если я превозношу тебя до небес, а ты сидишь тут в полном смятении?» В один из своих приступов энтузиазма он поделился планом следующей картины с мамой. Мама выдала в избытке все то, чего не смогла я.

В постели с Чарли я не была такой же неуверенной в себе. По-прежнему я не испытывала ничего похожего на оргазм, но он учил меня — а я думала, что учусь сама, — как доставлять ему максимум удовольствия. Я даже чувствовала облегчение, когда акт заканчивался, а я не достигала высшей точки, поскольку в своем колоссальном невежестве считала, что если не достигать оргазма, то не будет ребенка.

Один раз, всего один раз мы обсуждали риск забеременеть. Чарли уверил меня, что я в полной безопасности, вот, собственно, и все. В силу доверия к нему, в силу собственной дремучести, больше я не развивала эту тему. Мерна говорила мне о резиновом предмете под названием кондом, и хотя я никогда не видела Чарли с ним, я предполагала, что если он уверяет меня в безопасности, он подразумевает, что я всегда защищена. Вскоре я перестала волноваться, полагая, что знаменитому, неженатому Чарли Чаплину нет никакого резона рисковать потенциальным отцовством.

Хотя мы тщательно заметали следы, со временем мама начала чувствовать что-то неладное. Однажды она напрямую спросила меня:

— Ты, случайно, не влюбилась в м-ра Чаплина?

Я взвилась:

— Какая глупость! Он мне нравится, разумеется, но не больше, чем всем другим. К тому же он в два раза старше меня.

— Совершенно верно. Именно так, — сказала мама. — Вдобавок он очень привлекателен. Я заметила — не могу понять, в чем дело, но есть что-то необычное в том, как вы смотрите друг на друга. Не могу утверждать, но эти взгляды не похожи на то, как обычно смотрят друг на друга маленькая девочка и мужчина, который годится ей в отцы.

— Мама, что за ужасные мысли у тебя в голове? — закричала я. — Если ты не можешь доверять такому человеку, как Чарли, можешь ты, по крайней мере, доверять собственной дочери?

Я и порадовалась, и ужаснулась той убедительности, с которой прозвучали мои слова.

— Прекрасно, ты уже называешь его «Чарли»!

— Да, «Чарли», — когда он не слышит. — Я отчаянно импровизировала. — Ты просто невыносима! Ты можешь говорить о чем-нибудь другом?

Ее голос понизился и стал пугающе спокойным:

— Спасибо, Лиллита, за твою вежливость. Я все-таки твоя мать, и хочу, чтобы ты была порядочной. Я ничего не имею против м-ра Чаплина, но он разведен, и у него репутация волокиты.

— Это не имеет никакого отношения к…

— Дай мне сказать. Я не самая умная женщина, но неплохо знаю мужчин.

— Уж не хочешь ли ты прочитать мне очередную лекцию?

Она шлепнула меня по руке — несильно, но достаточно ощутимо, чтобы дать понять, что говорит дело.

— Прекрати дерзить. Да, я собираюсь прочитать тебе лекцию. Хорошо это или плохо, но ты — хорошенькая и привлекательная девочка. *Девочка* — сказала я, — в свои пятнадцать ты еще ребенок и многого не понимаешь. Ты созрела физически слишком рано, но от этого не стала взрослой, как не стала взрослой и оттого, что снимаешься в кино. А я не настолько старомодна, чтобы не понимать, что девочка твоего возраста может испытывать определенные эмоции, о которых лучше не распространяться. Но я достаточно старомодна, чтобы знать: если ты позволишь слишком многое мужчине до брака, то будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Ты слушаешь меня, Лиллита?

Кивнув, я уставилась в потолок, притворяясь, будто невыносимо страдаю от этой церемонии. Мама не сдавалась. Не упоминая больше Чарли, она перечисляла все ужасы, которые могут случиться с самоуважением девушки, если та перестанет

быть порядочной. Я вела себя, как капризное дитя, отчасти потому что слышала это много раз прежде, а отчасти, чтобы замаскировать вину, поскольку многое из того, что говорила мама, содержало слишком очевидную правду, и я чувствовала себя не в своей тарелке.

Когда выдался следующий свободный момент у нас с Чарли, я рассказала ему о нашем с мамой разговоре. «Не расстраивайся — я придумаю что-нибудь», — сказал он. И придумал, в тот же день. Он решил устроить вечеринку с угощением у бассейна в своем доме и пригласить на нее около десяти тщательно отобранных гостей, при этом — никого из компании по плавательному клубу. Мама будет почетным гостем. Я буду невинной, простодушной посетительницей. Видя нас вместе в непринужденной обстановке, в окружении людей, не связанных со студией, она забудет о своих подозрениях в отношении нас. Все, что от меня требовалось, это притвориться, что я никогда не была в его имении прежде. Он проинструктирует слуг, чтобы они не показывали виду, что знакомы со мной.

Польщенная приглашением мама сказала, что с удовольствием придет. Но все чуть не сорвалось, так как накануне вечеринки внезапно ее скрутило от боли и ей пришлось лечь в постель. Я кинулась звонить соседу доктору, который, к счастью, оказался дома и согласился сразу же прийти. Когда я вернулась к маме, ее щеки порозовели, но она держалась за живот и жаловалась на невыносимые боли.

Доктор пришел, расспросил ее, сказал, что должен исключить аппендицит, и, осмотрев в течение пяти минут, резюмировал: «Вы в прекрасной форме, миссис Спайсер. У вас была просто кишечная колика. Приходите ко мне завтра, если хотите, и мы сделаем анализы, но я уверен, что поводов для беспокойства нет».

Боль испарилась так же быстро, как началась, и вскоре мама поднялась и вела себя, как ни в чем не бывало. Я готова была уже успокоиться, но она испугала меня, признавшись, что у нее это не в первый раз.

— Почему же ты не говорила мне? — воскликнула я в ужасе. — Ты обращалась к врачу?

— Нет, и не собираюсь, — ответила она. — Ненавижу ходить по врачам. Все будет в порядке.

Хотя на следующее утро она выглядела здоровой, я собиралась позвонить Чарли и сообщить, что мы не сможем прийти, но мама и слышать об этом не желала. Она отлично себя чувствует, настаивала она.

Воскресный день был солнечный, но прохладный. Приехав к

четырем часам, мы обнаружили Чарли, облаченного в купальный костюм и в прекрасном настроении. По его совету мы тоже взяли купальники, и он посоветовал нам, пока погода не испортилась, переодеться и окунуться. Мама отказалась под предлогом, что не расположена к купанию, а я отважилась.

Большинство гостей уже пришли, и болтали о необычной для середины лета погоде. Я знала Элфа Ривза, который привел с собой жену Эми. Нас представили высокому и очень костлявому мужчине, д-ру Сесилю Рейнольдсу, и его жене Норе. Другие гости вели себя как важные господа, это были люди разных профессий, все очень вежливые и довольно спокойные и сдержанные. Почти половина из них была в купальниках, но Чарли был единственным, кто побывал в воде.

Пока я плыла в одиночестве, я видела их с мамой, сидящих в креслах и погруженных в серьезную беседу. Мне было ужасно любопытно, конечно, и при первой же возможности я спросила маму, о чем они говорили.

— Главным образом, о тебе, — ответила она. — Мистера Чаплина очень волнует твоя работа в картине. Он говорит, ты на верном пути и очаровательно неиспорченна. Он восторгался тем, как ты держишься, и твоими изысканными манерами.

Она улыбнулась.

— Он настоящий льстец. Он сказал, это моя заслуга, что ты такая милая девочка. И он назвал меня Лиллиан.

— Ну, теперь ты видишь? Похож он на хищника?

— Я никогда не утверждала ничего подобного, и ты прекрасно это знаешь! — фыркнула она. — Я уверена, что он настоящий джентльмен.

Мы все стояли у бассейна, пока не ушло солнце, после этого Чарли повел нас с мамой по всему имению. Мама была очарована. Что до меня, знающей дом от «а» до «я», то мои охи и вздохи звучали не менее искренне, чем мамины. И никто из слуг не показал своим видом, что знает меня.

Ужин а-ля фуршет был неторопливым и обильным; я была поражена видом икры и гвинейской курицы, сервированной на бумажных тарелках, и импортным вином, которое наливали в бумажные стаканчики. Чарли был расстроен и несколько удивлен разговором, который попытался завести с д-ром Рейнольдсом: он задавал ему вопросы по медицине, а того интересовало исключительно кино. В какой-то момент Чарли повернулся к маме, находившейся слева от него, и спросил с усмешкой:

— Что мне делать, Лиллиан? Этот ходячий скелет ухитряется быть одним из самых заслуженных хирургов по головному мозгу нашего времени, и для меня честь, что он здесь. Я хочу

расспросить его о куче разных вещей, а он не дает мне ни малейшей возможности. Вы знаете, почему? Потому что этот великий человек хочет бросить свою важную работу и стать актером кино! Вы можете себе это представить?

Слово «актер» в устах Чарли прозвучало как ругательное.

Д-р Рейнольдс протестовал:

— Когда это я говорил, что хочу бросить то, чем занимаюсь? Я сказал всего лишь, что хотел бы сыграть что-нибудь. Не делайте из меня маньяка. Вам нет равных в кино, Чарли, но ваша фальсификация вам явно не удалась. Хирургия — не самый увлекательный предмет для беседы, разве что не более десяти минут. А вот мир развлечений не наскучивает никогда. Я просто не хочу, чтобы мне промывал мозги такой кокни, как вы.

Явно наслаждаясь игрой, Чарли парировал:

— Прекрасно, а я не хочу, чтобы мне промывал мозги такой недоделанный эскулап, как вы. Будем считать тему закрытой. У меня есть более интересные занятия, чем тратить время на недокормленных знахарей.

Он снова повернулся к маме.

— Ну что поделаешь с этим докторишкой, Лиллиан? — спросил он с притворной серьезностью. — За что ему только деньги платят? Я не приглашал его, его очаровательную жену — да, но не его. Он испортил весь вечер.

Мама была так потрясена повышенным вниманием к ней, что была способна произносить разве что междометия.

Вечер прошел гладко, пока гости не начали расходиться. Внезапно мама снова почувствовала себя плохо, на этот раз настолько, что Чарли помог одному из слуг и мне поднять ее наверх и уложить на первую же ближайшую кровать — она оказалась в той самой дамской гостевой комнате, где я так часто бывала. Мы уложили ее, а Чарли, пощупав ее пульс и желудок и послушав ее стоны, велел слугам разыскать и немедленно доставить наверх доктора Рейнольдса.

— Мне уже лучше… — выдавила из себя мама, но ей явно не было лучше, и на ее землистом лице была написана такая мука, что мне стало страшно.

Д-р Рейнольдс явился в комнату и выпроводил нас в холл, закрыв за нами дверь.

— Нам повезло, что он оказался здесь, — сказал мне Чарли.

Нервы мои были на пределе. Он обнял меня и не отпускал минут двадцать, пока не появился д-р Рейнольдс.

— Я дал ей успокоительное средство, — сказал доктор. — Ее нельзя тревожить, Чарли. Ей надо остаться на ночь здесь.

— Конечно, — согласился Чарли. — Что с ней? Что я могу

сделать для нее?

— Ничего не надо, с ней все будет в порядке. Препарат подействует немедленно, и она проспит до утра. — Он покачал головой. — Очень упрямая женщина. Оказывается, у нее уже были такие приступы, но она не хочет идти к доктору. Она боится того, что ей скажет врач. Это абсолютно неразумно.

— Пожалуйста, — взмолилась я. — Что с моей мамой?

— Нельзя с уверенностью судить без рентгена, — ответил он. — Это может быть язва, а может — аппендицит, или, возможно, как мне подсказывает интуиция, проблема в фаллопиевых трубах. В любом случае, нелепо отказываться от обследования.

Он нацарапал что-то в блокноте.

— Это фамилия врача, которого я очень рекомендую. — Он вырвал листок и протянул мне. — Заставьте вашу маму пойти к нему, чего бы это ни стоило, юная леди. Настоятельно советую не откладывать.

Потрясенным шепотом я спросила:

— Она может умереть?

Его лишенное эмоций лицо озарила добродушная улыбка:

— В ближайшие несколько десятилетий — нет.

Я сказала, что хочу пройти к ней в комнату.

— Не надо. Предоставим успокоительному сделать свое дело. Лучше ее не трогать. Теперь вам самой надо успокоиться, вы переволновались, на вас лица нет. Расслабьтесь. Она прекрасно проспит всю ночь.

Мы втроем спустились вниз, где оставшиеся гости с волнением ждали информации о маме. Д-р Рейнольдс уверил их, что все под контролем и дал знак жене, что им пора уходить. Я поблагодарила его, и то же самое сделал Чарли. Через четверть часа, пожелав спокойной ночи, распрощались последние гости, оставив меня и Чарли вдвоем в гигантской гостиной.

Он принес мне рюмку с темной жидкостью и сказал:

— Это бренди. Выпей. Тебе станет легче.

Я глотнула и закашлялась. Я отпила еще и снова закашлялась, но вскоре перестала кашлять; вкус был ужасным, но спустя мгновенье я почувствовала чудесное тепло в желудке. Чарли налил выпить и себе, но держал рюмку в руке и время от времени вдыхал аромат. В отличие от множества людей кинобизнеса, Чарли не испытывал интереса к алкоголю. На званых ужинах и вечеринках он никогда не отказывался от напитков, но скорее из вежливости, чем из желания утолить жажду. С одной рюмкой он мог провести весь вечер и редко брал вторую. На приемах, которые он устраивал в своем доме, напитки

всегда были доступны гостям, но пили мало, главным образом потому, что подвыпившие люди раздражали и утомляли его. Лишь однажды я видела его в сильном подпитии.

— Ну, как? — спросил он.

— Все горит.

Он засмеялся.

— Несколько капель не повредят тебе. Хорошо будешь спать.

— Мне как-то не по себе, — медленно проговорила я. — Я верю д-ру Рейнольдсу, что с мамой ночью все будет в порядке, но все-таки опасаюсь за нее.

— Разумеется. Просто ты сердечный и заботливый человек. Но суета не поможет твоей маме. Тебе следует, как сказал д-р Рейнольдс, подумать о себе. Если будешь тревожиться о маме, ночь покажется тебе бесконечной.

— Что же мне делать? Игнорировать ее?

— Нет. Просто прояви здравый смысл. Сегодня ночью ты все равно ничего не сможешь для нее сделать. Но для себя — и для меня — сможешь.

Я посмотрела на него. А он посмотрел многозначительно на меня.

— Это наша первая ночь. Нельзя не использовать эту возможность.

Предложение расстроило меня.

— Как можно думать об этом в такое время? — рассердилась я.

Он говорил вкрадчиво, а я хотела, чтобы он не приближался ко мне.

— Ты собираешься разочаровать меня, Лита? Уж не намерена ли ты заняться черной магией?

— О чем ты?

— Очевидно, что если ты проведешь ночь в моей комнате, это никак не поможет выздоровлению твоей матери. Из суеверия ты можешь считать, что если будешь со мной, то твоя мама может умереть, а если нет, то она немедленно выздоровеет. Но это слишком по-детски, разве нет? Я продолжала качать головой. И выпила еще бренди. И уже через несколько минут растаяла достаточно, чтобы, как всегда, признать его правоту. В коридоре на втором этаже мы разделились, и я потихоньку вошла в гостевую комнату. В свете настольной лампы я увидела, что мама спокойно спит, лежа на спине, время от времени слегка шевелясь, но достаточно крепко. Она была хорошо укрыта, и я с облегчением заметила, что краски вернулись на ее лицо. Я протянулась к ней и поцеловала ее в щеку. Она не пошелохнулась.

Я села на стул неподалеку от кровати, наблюдая за ней и прислушиваясь к ее дыханию. Оно было ровным и глубоким. Я подумала, какое же я бессердечное животное. Моя мама больна, может быть очень больна, а я не могу дождаться минуты, когда окажусь в постели Чарли. После еще пары минут колебаний я встала и на цыпочках отправилась в ванную, не отрывая глаз от мамы. Я вошла туда, бесшумно закрыла за собой дверь и так же тихо постучалась в дверь, соединяющую ванную комнату с комнатой Чарли. Он прошептал: «Входи».

В комнате горел свет, он, обнаженный, лежал под простынями, распахнув объятия. Подходя к нему, я начала расстегивать блузку, удивляясь, как отважно раздеваюсь перед ним, и тому, что он еще не прикоснулся ко мне, а мое тело уже охвачено страстью. Раньше я ждала, пока он снимет с меня одежду, я была пассивной. Такой, согласно моим представлениям, должна быть девочка, которая хочет, чтобы ее называли женственной. Сейчас, однако, я вела себя так, как, по моему убеждению, вели себя шлюхи. Снимая с себя блузку без предварительных ухаживаний, я заявляла тем самым, что желаю секса. Безусловно, порядочные девушки никогда не ведут себя так. Теперь, стоя возле кровати, я расстегивала единственную пуговицу на поясе юбки. Юбка упала на ковер, а я перешагнула через кольцо, образовавшееся вокруг моих ног.

— Ты перешагнула через юбку, как императрица, Жозефина, — сказал он мягко.

Инстинктивно хотелось предупредить его, чтобы он не шумел, но я понимала, что он говорит нормально, и если мама даже проснется, она ничего не услышит. Не удивляясь и не испытывая гордости, я ответила: «Я не чувствую себя императрицей. Я чувствую, как там все горит». Вульгарное описание просто выплеснулось из меня. Я не могла понять, откуда взялась у меня такая разнузданность, неужели это всё бренди? Чувствуя полную безответственность, разбухая от вожделения, я спустила трусики. Без слов я дала понять Чарли, что вместо боязливой и застенчивой Литы — и, возможно, навсегда — появилась неукротимая дикая кошка.

Он сел, его взгляд стал тяжелым. Я собиралась как раз снять туфли, но он остановил меня: «Не надо, оставь их, как есть». Он затащил меня на себя, обнял и прижал изо всех сил. Я целовала его, поначалу слегка поддразнивая языком, а потом все смелее и смелее. Его пальцы нащупали застежку моего лифчика, расстегнули и сбросили его.

Он отстранил меня и маневрировал своим телом так, чтобы я сделала то, от чего прежде много раз отказывалась. Не чувствуя

привычных запретов, я была уже почти готова, но в последнюю минуту все же отвернула голову и отказалась в очередной раз. Чарли снова попытался и опять безуспешно, после чего быстро и без церемоний овладел мной.

Самая восторженная радость меня охватывала в те безмятежные минуты, когда после акта любви мы нежились, защищая друг друга своими объятиями от всего мира. Этой ночью, однако, прошло очень мало времени, прежде чем он восстановил силы, и мы соединились вновь.

В следующую минуту затишья я спросила:

— Это все мужчины делают так, раз за разом?

Он улыбнулся.

— Нет, ты должна знать. Большинство мужчин нуждается в отдыхе между — ах — заходами. А я нет. Мне повезло, господь меня сподобил. Я жеребец, Лита, и тебе остается только покориться.

Позже я убедилась, что это не было бахвальством. После того, как мы поженились, бывали ночи, когда Чарли делал свои «заходы», как он называл их, по шесть раз подряд с перерывом не более пяти минут. Но сегодня это была всего лишь подготовка.

Продолжая шутить, он поддразнивал меня:

— Учитывая, что от тебя, красавица, нет никакого толку, я — просто восьмое чудо света.

— Нет толку? Кто сказал, что от меня нет толку?

Неожиданно серьезно он сказал:

— Ты научилась кое-чему, Лита. Любить — это не только участвовать, но и давать. В том, чего я хочу от тебя, нет ничего чудовищного. Я не изверг и не людоед. Может быть, мне лучше подождать, пока ты любишь меня.

— Я и так люблю тебя.

— Тогда почему отворачиваешься?

— Потому что — потому что сама мысль об этом для меня ужасна. Я люблю тебя и всегда буду любить. Но этого я делать не могу.

Он приобнял меня.

— Ну, ладно, не теперь. Со временем ты изменишь свое мнение. Ты увидишь, что любовь не знает преград.

— Да, я постараюсь, — пробормотала я. Я целовала его прекрасные губы, приходя в восторг оттого, что одно присутствие или даже просто мысль об этом человеке, которого я обожала и который пока еще не доставил меня на обещанные небеса, способны вызвать у меня бурю желаний.

В комнате разливалась нежность, а мы в объятиях друг друга говорили обо всем и ни о чем, когда послышался звук

поворачиваемой дверной ручки.

Дверь открылась, и неверной походкой в комнату вошла мама и увидела нас. Без одежды.

Глава 8

Мы замерли, а она, постояв в дверях с устремленным на нас безжизненным, невидящим взглядом, отшатнулась и закрыла дверь, оставив нас вдвоем.

Я вскочила и поспешно оделась. Чарли потянулся к халату, но, как ни странно, он не выглядел слишком расстроенным. «В известном смысле, дорогая, это хорошо, что она видела нас», — сказал он. Он, наверное, сошел с ума, если говорит подобное, подумала я, и ничего не ответила ему. Главное сейчас было то, что я иду к своей маме. Я ничего не собиралась говорить, потому что мне нечего было сказать, но я должна была увидеть ее и показаться ей на глаза.

Мама лежала в постели. Безжизненные руки, глаза, устремленные в потолок. Ее щеки были мокрыми от слез, но она не взглянула на меня. Я рыдала и отчаянно целовала ее щеки, страстно желая не столько прощения, сколько дать ей понять, что осознаю, какую боль причинила ей. Все еще не глядя на меня, она, наконец, сказала вялым и нетвердым из-за лекарства голосом.

— Я мечтала, чтобы… этого не произошло, я мечтала…

Она повернулась ко мне, но ее глаза были где-то далеко.

— Я проснулась. Я пошла в ванную. Я услышала тебя и его. Я думала, что слышу тебя. Так хочется спать… Я хочу остаться здесь… Так хочется спать…

Чарли постучал и вошел в комнату, игнорируя меня, чтобы уделить все свое внимание маме. Он сел на краешек кровати и взял ее руку.

— Лиллиан, послушайте меня. Все не так, как может показаться. Я люблю вашу дочь, вы слышите меня, Лиллиан? Я люблю ее, и она любит меня, и я собираюсь жениться на ней.

Мама заморгала. Я была потрясена.

— Вы слышите меня, Лиллиан? — спросил он громче. — Я планирую в ближайшие месяцы жениться на Лите. Пять минут не проходит, чтобы я не думал о ней. Я не плохой человек, Лиллиан. Я все сделаю по-хорошему. Мы подготовимся, и когда картина закончится, устроим свадьбу, какой еще не видел мир.

Он говорил быстро, но отчетливо, учитывая, что ее мозг, находящийся под влиянием успокоительного, не все способен воспринять, и стараясь при этом донести до нее, что все будет хорошо. Мама начала говорить, но мысли и слова расползались. Неожиданно она снова заснула.

Я изучала его лицо, пытаясь определить, говорил он все это,

чтобы успокоить маму, или действительно хотел на мне жениться. Он продолжал говорить с расстановкой, но выглядел, как человек, испытывающий огромное облегчение.

— Я давно хотел сделать это, — сказал он мягко. — Я действительно хочу, чтобы мы поженились. Зачем я так долго откладывал?

Он подошел ко мне и наконец улыбнулся:

— Ты будешь моей женой?

Все случилось слишком быстро, и я ответила, что не могу пока говорить об этом. Затем, с неожиданной бесчувственностью он предложил:

— А теперь, когда все улажено, вернемся ко мне в комнату и отпразднуем наше решение.

— Нет, — выдохнула я. — Пожалуйста, уйди. Пожалуйста, оставь меня с моей мамой.

Чарли пожал плечами и удалился. Я чувствовала себя слишком недостойной и грязной, чтобы лечь на кровать рядом с мамой, так что села в кресло подле окна, поджав ноги, и наблюдая за ней. Теперь ничего уже не будет так, как было прежде, горевала я. Мама не прогонит меня, она не перестанет быть моей матерью, но теперь мы уже не вместе. Я начала любить Чарли и заниматься любовью с ним по разным причинам, и простым, и сложным, но я никогда не задумывалась о браке с ним — всерьез не задумывалась. Я не хотела выходить за него замуж. Я вообще не хотела выходить за кого-либо замуж. Я хотела быть пятнадцатилетней девочкой. Возможно, я хотела бы снова стать девственницей. Но теперь все изменится.

Я оплакивала маму. И, остолбенев при мысли, что и дедушка узнает обо мне и Чарли, я стала оплакивать себя, свое потерянное детство.

Когда я проснулась утром, кровать была пуста, а мамы нигде не было видно. Я заснула в кресле, и кто-то укрыл мои ноги пледом.

Мама, полностью одетая, вошла в комнату и, подойдя к зеркалу, стала причесывать волосы, которые и без того были причесаны. Она держалась отчужденно, но не враждебно. Она только что позвонила бабушке, сказала она, чтобы сообщить, что мы решили заночевать здесь, что все в порядке и скоро мы вернемся. Я ожидала, что она станет обсуждать прошедшую ночь, но она не делала этого. От ее самообладания мне было не по себе.

Коно встретил нас под лестницей и сказал:

— М-р Чаплин редко завтракает в воскресенье в обычное время, но я вижу, вас можно обслужить уже сейчас, если вы хотите.

Мама сказала, что мы хотим уехать, и попросила заказать такси для нас.

— В этом нет необходимости, — сказал он. — Я распоряжусь, чтобы Фрэнк отвез вас.

Безликий шофер отвез нас домой на локомобиле. Почти всю дорогу стояла напряженная тишина. Наконец, не в силах больше сдерживать свое беспокойство, я спросила:

— Ты же не скажешь дедушке, что произошло?

— Я не знаю пока еще, что мне вообще делать. Знаю только, что сегодня нам с тобой предстоит долгий разговор.

Дедушка ждал нас перед домом, и, показав Фрэнку, где остановиться, сам открыл дверь машины. «Самое время явиться домой», — сказал он неприветливо, но могу утверждать, он не был рассержен. К счастью он и бабушка легли спать рано и не волновались, утром же они тоже не успели хватиться нас до того момента, когда мама позвонила.

Бабушка налила кофе и расспросила обо всех гламурных деталях чаплинской вечеринки. Дедушка, который никогда не признавался в своем интересе к подобным мероприятиям, ухитрялся оставаться в зоне слышимости, притворяясь, что не любопытствует. Не упомянув даже вскользь ни обо мне, ни о своей болезни, мама дала увлекательный и емкий отчет о проведенном дне и вечере. По крайней мере, дедушка с бабушкой казались довольными, что она ничего не упустила.

В середине дня мы с мамой отправились на долгую прогулку. Мы говорили. Она говорила неэмоционально, так что поначалу создавалось впечатление, что она безразлично относится к случившемуся. Но я знала: она расстроена, сбита с толку и ей больно. Ее первый вопрос был: «Сколько времени это продолжается?»

Я уже долго лгала ей. Теперь я отвечала правдиво. Я начала с самого начала и рассказала все — от Тракки до вчерашнего вечера. Я защищала Чарли, настаивая, что сама преследовала его. Мама слушала, в ее глазах временами читалось отвращение, временами печаль. Но она казалась спокойной — зловеще спокойной.

— Я думала позвонить в полицию — сказала она, — чтобы его арестовали.

— Мама!

— И решила не делать этого — не потому, что хотела спасти твоего благородного м-ра Чаплина, но чтобы избежать ужаса судебных разбирательств. Потом я подумала сказать дедушке, и тоже решила не делать этого, поскольку дедушка просто взял бы пистолет и пристрелил его, а это тоже привело бы к суду.

Она сделала паузу.

— Лиллита, конечно, теперь уже слишком поздно читать, как ты говоришь, лекции. Я настаиваю только на одном. Ты закончишь картину, поскольку я не представляю, как объяснить людям — особенно твоему дедушке, — почему ты перестала сниматься. Но отныне, пока твоя работа в фильме не завершится, ты и этот человек не скажете друг другу ни одного слова, а тем более не проведете ни одной минуты вместе по поводам, выходящим за рамки картины. Ты должна дать мне слово. Если ты не подчинишься мне, уверяю, ты пожалеешь об этом.

— Он сказал, что хочет жениться на мне, — напомнила я робко.

Мама взглянула на меня и нахмурилась.

— Это действительно то, чего ты хочешь, Лиллита — в пятнадцать лет выйти замуж за человека его возраста? Что из этого получится? Физическая сторона перестанет быть важной очень быстро, поверь мне, я знаю. Деньги и комфорт? Да, это неплохо, но подумай, от чего ты отказываешься. От своей юности, Лиллита. У тебя никогда не будет шанса найти себя. Ты будешь бледной тенью человека, который живет только ради себя. Который будет какое-то время с тобой, пока не появится другая девушка…

Я настаивала, что она ошибается, но кто-то внутри меня знал, что она права.

В середине дня зазвонил телефон. Мама ответила и вывела меня из комнаты. Она сказала бабушке, что звонила подруга, но мне сообщила, что это был Чарли.

— Наглость этого человека просто невероятна. Он позвонил спросить, как я чувствую себя после вчерашнего приступа, но вел себя так, словно это было единственное, что случилось в его доме.

— Но он позвонил, — сказала я робко. — Значит, ему не все равно. Зачем он стал бы звонить, если бы не волновался за тебя?

— Чтобы понять, насколько ему следует волноваться за себя. Я сказала ему. Я сказала ему то же, что и тебе, — что ему запрещено иметь с тобой отношения, выходящие за рамки работы над «Золотой лихорадкой». Я сказала ему, что если он захочет убрать тебя из картины, я согласна расторгнуть контракт, но при условии, что никогда больше не увижу его.

Помертвев, я спросила:

— Что он ответил?

— О, он сделал вид, что ужасно расстроен тем, что я заняла такую позицию после того, как он заверил меня в так называемой любви к тебе, и т. д. и т. п. Но закончил словами, что если такова

моя воля, то так тому и быть. Кстати, тебе, наверное, будет интересно узнать, что больше он не заговаривал о браке.

Я побежала наверх и хлопнула дверью, чувствуя нестерпимое унижение. Как она могла быть такой бессердечной, такой жестокой? Я лежала в постели и страдала. Странно, но минутами я испытывала противоестественное облегчение, что, наконец, все закончилось: я никак не могла смириться с тем, что он вытворял в постели — но это были только короткие мгновения. Мы любили друг друга, а теперь нам не суждено было увидеться вновь.

На студии на следующее утро Элф Ривз объявил, что всех сотрудников отпускают до завтра. Чарли позвонил и сообщил, что это один из тех дней, когда ему ни до чего. Я умирала от желания пойти в дом на Беверли-Хиллз, но не осмеливалась ослушаться маму.

В этот же день она призналась, что позвонила врачу, которого рекомендовал д-р Рейнольдс, и договорилась о визите. Она чувствовала, что пока еще далеко не в форме, хотя после субботнего вечера болей у нее не было. Она просто решила, что вероятно, она неправа — что если у нее что-то не в порядке, безрассудно не пойти к доктору. Эта не свойственная ей забота о собственном здоровье автоматически развеяла мой гнев и вселила в меня тревогу.

Я была обеспокоена, но в тот момент, когда была уверена, что ничем не рискую, подошла к телефону и позвонила в дом Чарли. Ответил Коно. Я назвалась и попросила м-ра Чаплина. Через минуту я услышала голос Чарли, сдержанный и немного отстраненный.

— Откуда ты звонишь?

— Из дома, — сказала я. — Все в порядке, я одна. Я… ты ненавидишь меня?

— Конечно, нет, глупенькая.

Он засмеялся, и его голос звучал более узнаваемо теперь, когда он сообразил, что я звоню не по принуждению.

— Можешь верить или нет, но в эту минуту я как раз стоял здесь, думая о тебе, и желая, чтобы ты позвонила мне. Я думаю, твоя мама чудовищно несправедлива. Она наговорила кучу гадостей, чего я не стерпел бы ни от кого другого, но я неисправимый оптимист, дорогая. Она изменит свое мнение. Она увидит, что нет ничего зазорного в том, что мы делали. А долго ее не будет? Ты можешь удрать и прийти сюда?

— О, боже мой, нет, я не смею теперь после того, как… А ты, разве ты совсем не боишься, что она сделает что-то плохое, если мы снова увидимся?

— Ну, это обычная материнская суета, — сказал он

беспечно. — Никому она не собирается на меня доносить, и мы, все трое, прекрасно знаем это. Меня не устраивает перспектива не видеть тебя, но пока что я не пойду наперекор ее истерическим настроениям. Скоро она смирится. Со временем я хотел бы, чтобы ты сюда приходила. Я чувствую себя очень одиноким и мне нужна женщина.

— Уверена, сотни девушек в твоем распоряжении, стоит захотеть — и любая явится через две минуты.

— Сотни? Нет! Тысячи. Но мне нужна ты, а не они.

Мы говорили недолго, но достаточно, чтобы убедить друг друга в том, что наши чувства остались прежними, а может быть, стали еще сильнее. Я повесила трубку, с двояким чувством: я отчаивалась, что мы не вместе, и радовалась, что он по-прежнему любит меня.

На съемочной площадке мама и Чарли держались формально, но вежливо. Однажды вечером, уходя из студии, мама пошла к врачу и взяла меня с собой. Я ничего не сказала ей, но мне стоило посетить доктора и самой. В этом месяце у меня была задержка. Естественно, я не опасалась, что беременна. Месячные у меня всегда были не очень регулярные. Но меня беспокоило то, что в последние несколько дней вместо обычных предменструальных болей у меня были минуты слабости и головокружения, плюс я чувствовала общее недомогание.

Когда я ждала в приемной, пока обследовали маму, неожиданно меня начало мутить. Это испугало меня, но через минуту все прошло, и я отнесла это на счет волнения о мамином здоровье.

Пришли результаты обследований. Доктор сказал маме, что ничего серьезного у нее нет. Однако он обнаружил небольшую опухоль в фаллопиевой трубе и настаивал, чтобы она легла в больницу удалить ее.

— С ней вы можете прожить всю жизнь, и она вас не будет беспокоить, разве что могут быть подобные приступы. Но с другой стороны, зачем она вам? Избавьтесь от нее и уже через неделю вы выйдете из больницы.

— Я приду к вам, доктор, спасибо.

Я знала, что это значит, поскольку знала, как она боится врачей и больниц. Я умоляла ее отнестись к рекомендациям д-ра Финнея серьезно. Она обещала. Потом потребовала от меня обещания, что я не проболтаюсь бабушке и дедушке: «Доктора всегда сгущают краски. Так можно перепугать стариков до смерти». После этого ночью до меня неожиданно дошло, что, возможно, д-р Финней преподнес мамин диагноз не таким, каким он был на самом деле. Может быть, все было хуже, чем он дал ей

понять. Возможно, он почувствовал, что ей не стоит в лоб объявлять плохую новость, и поэтому приукрасил ее, а на самом деле важно не откладывать операцию.

На следующее утро я позвонила в его приемную и договорилась о встрече. Его медсестра назначила мой визит через два дня в половине пятого.

Наутро в назначенный день я проснулась от приступа ужасной тошноты. Я побежала в ванную, думая, что меня вырвет, но ничего не вышло. Я склонилась над унитазом, мучаясь бесконечными позывами к рвоте и радуясь, что домашние уже спустились вниз. Наконец это случилось. Я стояла на коленях на холодном полу, меня трясло, я чувствовала себя совершенно больной и думала, как же быстро тучи сгустились над моей головой.

Я читала где-то: если тошнит по утрам, это говорит о том, что у вас будет ребенок.

Ребенок? Нет!

Я, наверное, съела что-нибудь не то вчера вечером, вот и все. Я не могла вспомнить, что это было, но я съела что-то несвежее, и теперь организм избавляется от этого. Я не могла быть беременной. Как можно забеременеть, если не испытываешь оргазм? И месячные так и не наступили… Но у меня всегда было так — то раньше, то позже. Чарли был совершенно спокоен и велел мне не волноваться.

Нет! Боже, нет!

Я поднялась на ноги, подошла к окну ванной и раз десять глубоко вдохнула. Это помогло. Я спустила воду, взяла губку, намочила ее под струей холодной воды и отмыла свои следы, ведущие в коридор. Потом вернулась в спальню, специально старясь держаться прямо, дышать глубже, и начала одеваться, чтобы идти в студию. Я не хотела молиться, потому что мне было стыдно. Но я молилась.

Дурнота возвращалась. Я спустилась по лестнице в кухню, усиленно демонстрируя собственную устойчивость. Семья завтракала. Бабушка первая увидела меня и первая сказала, что я бледна. Потом мама и дедушка посмотрели на меня, оба согласились с тем, что я бледна и пожелали узнать, почему.

— Я здорова, — сказала я надменно и села за стол.

Мама пощупала мой лоб, сказала, что он влажный, и она уверена: я заболеваю. Дедушка начал бурчать, что меня надо оставить дома и поставить горчичники. Сколько раз я слышала от него, что единственный способ справиться с простудой — горчичники! Я продолжала утверждать, что со мной все в порядке.

И действительно, я почувствовала себя нормально. К полудню на съемках я полностью забыла, как плохо и страшно мне было в ванной. Мы сняли сцену в дансинге, в которой Чарли без ума от меня, где он видит, как я улыбаюсь и машу рукой и думает, что это ему я улыбаюсь и машу рукой. И застенчиво отвечает. Я приближаюсь к нему — и прохожу мимо, поскольку в действительности улыбаюсь мужчине позади него. Мы проделали это дважды, и у Чарли не было претензий. «Иногда на съемочной площадке все само собой получается прекрасно. Это как раз тот случай», — доверительно сообщил он стоящим рядом, убедившись, что мама среди них.

В половине четвертого я попросила Чака Рейснера потихоньку узнать у м-ра Чаплина, могу ли я уйти. Через пятнадцать минут Чарли поймал мой взгляд и кивнул мне. Я пошла в раздевалку, сняла грим и костюм, оделась и ушла из съемочного павильона через боковую дверь. Мама не любила терять меня из виду, но, по крайней мере, она могла видеть, что я и Чарли не вместе.

Доктор Финней пригласил меня в офис, и я сразу же спросила его о маме:

— У нее рак, или вы подозреваете?

— На самом деле, она не очень крепкая. У вас остались сомнения?

Скрестив руки на груди, д-р Финней заразительно улыбнулся.

— Ответ: НЕТ, определенно НЕТ Просто и ясно — НЕТ. Что-нибудь еще?

Он не видел, как я сжала ручки кресла.

— Могу я попросить вас кое о чем так, чтобы вы не сказали об этом моей маме?

— Попытаюсь.

— Можете вы сказать мне, не беременна ли я?

Д-р Финней задал мне вопросы. Имя Чарли не упоминалось. У меня взяли анализ, и теперь я должна была позвонить на следующий день.

Так я и сделала, и получила результат. Я носила ребенка. И в этом не было никаких сомнений.

Глава 9

С начала было оцепенение. Потом — паника.

Я позвонила Чарли. Коно сообщил, что мастер уехал из города на уик-энд и с ним нельзя связаться, но, возможно, он будет звонить. Может быть, я хочу оставить ему сообщение? Можно мне позвонить куда-нибудь? Я ответила: «Нет».

Я повесила трубку и долго сидела в будке. Это казалось нелепым, но единственным человеком, с кем я могла поговорить, была Мерна Кеннеди, а я определенно не собиралась идти к ней. Д-р Финней проявил ко мне внимание, он приглашал меня заходить, но я не могла, по крайней мере, сейчас. Я выбралась из будки и шла, словно оглушенная, и невыносимо одинокая. Впереди виднелась церковь. Я поспешила туда — но остановилась в дверях, стыдясь зайти.

Маме, конечно, следовало знать, но от одной мысли, что надо сказать ей, мне становилось дурно. В ту ночь, лежа с ней рядом в кровати, я гадала, как долго смогу скрывать от нее новость. Если бы я могла связаться с Чарли, он наверняка должен был знать, как поступить.

Утром сделала именно то, что обещала себе не делать ночью. Я сказала маме.

Она закрыла рот рукой, словно пытаясь сдержать крик. Она заставила меня повторить сказанное, а потом зарыдала так горько и безутешно, что я опасалась, как бы ее не услышал дедушка и не прибежал сюда. Когда я попыталась успокоить ее, она ударила меня по лицу. А потом обняла и начала качать, словно баюкая.

Когда мама смогла справиться с собой, она позвонила д-ру Финнею. Потом она позвонила в дом на Беверли-Хиллз, хотя я говорила ей, что Чарли нет в городе. Коно повторил ту же информацию: м-р Чарли вернется не раньше, чем в воскресенье ночью. В понедельник утром, на студии, мама разыскала Чарли и настояла на немедленной встрече наедине.

Он недовольно спросил:

— Это не может подождать? У нас так много работы.

— Нет, не может.

Он посмотрел на нее, потом на меня, и снова на нее. После этого кивнул и проводил ее в офис. С удивлением он увидел через плечо, что я не иду с ними. Она велела мне оставаться там, где я была.

Они пробыли вместе, пожалуй, минут пятнадцать, после чего он выскочил, красный от ярости, и, топая ногами, словно ненормальный, закричал Элфу Ривзу: «Закрыть студию, всем по

домам, сегодня работать не будем!» Все были в недоумении. В компании знали его нрав, но топать ногами было не в его манере.

Хотя мама старалась держать себя в руках, по дороге домой она была не менее рассержена, чем Чарли.

— Он ведет себя отвратительно, — жаловалась она. — Он наговорил мне таких гадостей! Ну, ничего, мы еще увидим!

— Мама, хватит говорить загадками, расскажи, наконец, что случилось!

— Когда я сказала ему, что срочно нужно жениться, он был так взбешен, что я подумала, как бы он не ударил меня. Он кричал: «Ни в коем случае!» Он начал валить всю вину на тебя и даже на меня. Он даже сказал…

Тут она запнулась.

— Он даже сказал, что если ты действительно беременна, то нужно еще доказать, что ребенок от него, — представляешь? Твой обожаемый м-р Чаплин смеет предполагать, что кто-то другой сделал это с тобой! Ну, что теперь скажешь о своем прекрасном джентльмене?

В отчаянии я спросила:

— Что ты собираешься делать?

— Пока он не придет в себя, я ничего не собираюсь делать. А потом, если он по-прежнему будет упираться, скажу дедушке, и он возьмет это на себя.

— О нет… — содрогнулась я. — Дедушка сойдет с ума.

— Совсем недавно тебя это не волновало, — фыркнула она. — Теперь главное — это ты. М-р Чаплин отвечает за то, что случилось, и он должен вести себя правильно, хочет он того или нет.

На следующий день Чарли был спокойнее, когда его отозвала мама. Он все продумал, объяснил он ей. Если доктор подтвердит, что я действительно беременна, он поступит должным образом. Он оплатит аборт.

Он говорил все это необычайно холодно и спокойно. Я находилась в комнате, но он даже не взглянул на меня.

Мама сказала, что об аборте не может быть и речи.

— Что за шантаж вы затеяли? — ледяным тоном произнес он. — Я не могу жениться на этом ребенке. Вы знаете это. Я уже женился раньше на шестнадцатилетней девочке, и пресса сделала из меня посмешище. Они будут ликовать, если это случится снова. Я вылечу в трубу! Моей карьере — конец! Вы понимаете это?

Теперь он принялся взволнованно шагать.

— Я не могу позволить себя вляпаться опять в подобное дерьмо. И, кстати, это не единственное, чего я не могу себе

позволить! Те, кто изображают из меня богача, даже не догадываются, какая это чушь. Я не имею и сотой доли того, что мне приписывают.

Мама вежливо, но твердо прервала его.

— М-р Чаплин, никто и не думает об обогащении. И никто вас не шантажирует. Вам напоминают, что моя дочь носит вашего ребенка. И я не допущу, чтобы ее ребенок был незаконнорожденным.

— Тогда пусть избавится от него. Я не только оплачу это, но и дам своего человека, который все организует. Есть один доктор — большой специалист по этой части…

— Меня не интересуют «специалисты по этой части», — отрезала мама.

Так они спорили и спорили: она говорила мягко, он раздраженно — пока мама не встала, дав понять, что ему придется выполнить свой долг. Он потребовал, чтобы она вернулась и села.

— Хорошо, — сказал он устало. — У меня есть другое решение, которое устроит всех.

И начал говорить обо мне так, словно я была совсем в другом месте.

— Ее можно выдать замуж, но не за меня. Только не за меня. Я готов дать вам наличными 10 000 долларов. Найдите молодого человека, который женится на ней, такого, кому нужно встать на ноги, и для кого это большая сумма. Это будет своего рода приданое — европейцы всегда так делают и очень успешно. Тут нет ничего страшного…

— Замолчите, наконец, оба! — закричала я. — Хватит решать за меня. Я не собираюсь выходить замуж за тебя. Я не собираюсь выходить за какого-то человека, которого не знаю, я не собираюсь выходить вообще ни за кого!

Я вскочила из кресла, негодуя, что обо мне говорят, словно о товаре.

Чарли, казалось, вздохнул с облегчением, но лишь на секунду. Надежда, мелькнувшая в его глазах, испарилась, едва мама сказала ему:

— Повторяю, речь не идет о деньгах.

— Тогда о чем идет речь! — заорал он. — Я сделал два великодушных предложения, и вы их оба отклонили. Я не позволю вам больше тратить ни минуты моего времени!

Не говоря больше ни слова, мама вышла. Я колебалась в нерешительности, не веря глазам своим при виде этого благороднейшего джентльмена, чье лицо сейчас искажала ненависть. Я подошла к нему ближе:

— Пожалуйста, не будь таким. Ты — первый и единственный мужчина, которого я знала. Я люблю тебя. Пожалуйста, не смотри на меня так…

— Убирайся с глаз долой, маленькая потаскушка! — закричал он.

Я сидела в гостиной, когда мама сказала бабушке и дедушке, что я жду ребенка от Чарли. Бабушка застыла в изумлении.

Мы следили за дедушкой, затаив дыхание и предчувствуя ярость, которую он обрушит на нас. Он просто вышел из комнаты и поднялся по лестнице, потом вернулся вниз, неся пистолет. Нахлобучив шляпу, он остановился в дверях. Мама и бабушка, протянув к нему руки, взывали с мольбами и пытались преградить ему путь. Внезапно он показался очень старым.

— Оставьте меня! Я убью этого сукиного сына за то, что он сделал с этим ребенком! — хрипел он.

Вместе они ухитрились удержать его и затолкать обратно в кресло, но отдать пистолет он отказывался. Он потребовал подробностей и сидел, неестественно выпрямившись, пока мама рассказывала ему все, заканчивая последней встречей с Чарли в его офисе. Дедушка снова вскочил, и снова его удержали.

— Я старый человек, — возмущался он. — Мне все равно уже недолго осталось. Что мне сделают, если я убью этого подонка? Накажут? Нет, мне дадут медаль! Я всегда знал, что не зря его называют бродягой, этого грязного ублюдка…

— Папа, от тебя сейчас требуется ясная голова, а не эти истерики, — сказала мама твердо, — успокойся, пожалуйста.

Он сердито посмотрел на нее и затем кивнул.

— Хорошо, можно поступить иначе. Закон Калифорнии — ах — о противоправных отношениях между взрослыми и несовершеннолетними — очень жесткий. Я уверен, он применим к Чаплину, как к любому другому человеку. При всех его адвокатах он сядет за решетку, прежде чем наступит Судный день, и это отличная идея.

— Если только не принимать во внимание Лиллиту, — напомнила мама. — О ней напечатают во всех газетах. И тогда уж ей не жить в этом городе.

— Это так, но зато и Чаплину не жить. Я пойду к нему сам и скажу то, что он и так знает. Уверен, если он не поступит по-человечески с моей внучкой, я привлеку его к ответственности.

И снова никто не обращал внимания на меня и не спрашивал о моих чувствах. И что меня возмущало теперь больше всего, так это то, что со мной обращались, как с падшим ангелом, который не принимал участия в совращении.

— Я хочу сказать кое-что, — начала я.

Бабушка, моя милая бабушка, которая всю жизнь считала, что все и всегда можно уладить, металась из стороны в сторону и говорила:

— Уилл, Лиллита хочет что-то сказать.

Он нахмурился:

— Вы уже достаточно сказали, мисс, и достаточно сделали. Если бы я мог только представить, что тебе не хватит мозгов не впутаться в такую историю, я близко не подпустил бы тебя к кино, а тем более к такой свинье, как Чаплин. Так что помолчи.

Бабушка мягко пожурила его.

— Уилли, так нехорошо говорить.

С меня было достаточно. Я вскочила и убежала из комнаты.

В тот момент, когда я подошла к лестнице, в холле зазвонил телефон и я подняла трубку. Это был Элф Ривз, который никогда не звонил мне прежде.

— Лита, Чарли снова изменил последовательность съемок, — сказал он извиняющимся голосом, как человек, приносящий дурную весть. — Он хочет попробовать куски с Маком Суэйном. Так что вам с мамой не нужно приходить в ближайшие пару дней, пока вы не понадобитесь. Поэтому я и звоню.

— Разве не все должны находиться на съемочной площадке, независимо от участия в сцене? Что происходит, м-р Ривз?

— Происходит? — он прочистил горло. — Что вы имеете в виду?

Спокойно, так что никто не мог слышать меня, я спросила:

— Это Чарли велел вам позвонить? Меня что, мистер Ривз, отстранили от роли?

— Откуда такая идея? С какой стати вас должны отстранять от роли? Я просто передаю то, что сказал Чарли: он хочет поработать с Суэйном и вам не нужно приходить, пока мы не позвоним.

— Спасибо, м-р Ривз.

Мама вышла в холл посмотреть, кто звонит. Я пересказала ей наш разговор. Потом я поднялась вверх, ворвалась в ванную комнату и чистила зубы, должно быть, не менее минуты.

Убирайся с глаз долой, маленькая потаскушка! Сказал Чарли.

Я не хотела вспоминать это; я хотела вспоминать только хорошее. Но теперь больше не было ничего хорошего. Раньше Чарли любил меня, а теперь — ненавидел. У меня внутри был ребенок, и я не хотела его, потому что Чарли не хотел его. Я не хотела выходить замуж. Я определенно не хотела выходить замуж за человека, который не хотел на мне жениться. Я не выносила криков, а теперь предстояли сплошные крики.

Я надела ночную рубашку и легла в постель. Почему он назвал меня потаскухой?

Хотя дедушка не видел никакого толку в моем отце, Роберте Макмюррее, он очень уважал брата отца, Эдвина, успешного адвоката из Сан-Франциско. Вместо того чтобы звонить по телефону и подвергать риску конфиденциальность, он написал дяде Эдвину письмо, детально представляя ситуацию и убеждая его «как члена семьи и уважаемого человека» предпринять необходимые шаги. Эдвин Макмюррей не стал терять время. Он связался с Чарли и обрушился на него с угрозами, уверяя, что половая связь с лицом, не достигшим совершеннолетия, — уголовное преступление, и в штате Калифорния оно сурово наказывается.

Чарли сдался при одном условии: его собственный врач проверит мое состояние. Это казалось разумным всем. Всем, кроме меня. Я сказала, что не пойду на это, как бы там ни было. Я не хотела Чарли таким способом. Это было так грязно, так неприятно. Все равно, что держать пистолет у его виска. Меня не волновало, что будет со мной. Я не хотела втягивать его в брак без любви.

Мне было велено не вмешиваться: я ничего не понимала, и моя семья знала, что для меня лучше. Чего я добиваюсь — родить незаконнорожденного ребенка? Для чего? Для кого? Для Чарли Чаплина, который получил удовольствие и не желает нести ответственность? Какое имя ты дашь этому незаконнорожденному?

Я прошла обследование. Результат, разумеется, оказался положительный. Чарли снова попытался прибегнуть к убеждению. Он подчеркивал, что я не первая девочка в мире, вынужденная сделать аборт. Он был готов обеспечить самую лучшую помощь, не только медицинскую, но и финансовую, и не вымещать на мне злобу. Он снимет фильм о Наполеоне и Жозефине и сделает из меня самую выдающуюся звезду.

Это ничего не дало, тогда он повторил свое предложение, чтобы на мне женился человек, более подходящий для меня по возрасту. Теперь вместо 10 000 долларов он готов был дать в «приданое» 20 000 долларов. Он был искренне сбит с толку, когда предложение было отклонено и ему в очередной раз сказали, что дело не в деньгах. «Я проявляю самые честные намерения, и в то же время практичность, — настаивал он. — Что за брак у нас получится? Посмотрим на вещи реалистично. С одной стороны, что может быть лучше, чем получить 20 000 долларов и выйти замуж за молодого парня, который использует деньги, чтобы

начать бизнес или профессиональную карьеру? Почему все так упрямы?»

Только тогда я начала понимать, насколько упрям он сам. Он по-прежнему отказывался разговаривать со мной или даже смотреть на меня. Виновата была во всем я, он не брал никаких обязательств. Неожиданно я начала видеть, что мои родственники не такие уж злодеи.

Чарли был упрям от природы, но он понимал, что проиграл. Свадьба неизбежна, он признал это. Неизбежна и замена в составе исполнителей в «Золотой лихорадке». Меня должна заменить Джорджия Хейл, девушка, которая играла в фильме фон Штернберга «Охотники за спасением» (The Salvation Hunters) и была похожа на меня по телосложению и по образу. Поначалу я подумала, что он собирается сделать замену из мести, но потом поняла, что нет. «Все-таки я бизнесмен», — объяснил он. «Мы так далеко зашли в работе над фильмом и столько потратили пленки, что заменять ее из мести, — говорил он обо мне в третьем лице в моем присутствии, — было бы идиотизмом. Но „Золотая лихорадка“ потребует еще шесть месяцев работы или даже больше, чтобы закончить, и предстоит снять еще немало ключевых сцен. А ее скоро разнесет так, что она в дверь не будет пролезать».

Поскольку Чарли признал, что выхода нет, он настаивал, чтобы свадьба состоялась как можно скорее, но у него нет намерения поднимать шум и привлекать прессу. Он придумал обходной план. Мы поедем в Мексику на поезде в сопровождении всей технической команды. Если кто-то спросит, зачем, есть объяснение: мы хотим провести съемки на месте. Даже я чувствовала, что он перегибает палку. Все знали, что он снимает фильм о Клондайке; тогда с какой стати нужно проводить съемки в Мексике? Но Чарли не слушал возражений.

Коно делал приготовления к путешествию, Чарли держался отстраненно. Дядя Эдвин вернулся в Сан-Франциско, оставив дедушку с чувством, что все делается должным образом. Мама все больше убеждалась в том, что все складывается как нельзя лучше. Я же тем временем пребывала в полном отчаянии. Я не могла есть, при этом меня постоянно рвало. Я не была беременна и двух месяцев, а мой желудок словно разрывался. Я была вся на нервах. Я не могла оставаться в одиночестве, и в то же время с трудом переносила, когда со мной разговаривали, даже сочувственно.

Приготовления завершились. Коно прибыл к нам с билетами на поезд для мамы и для меня и проинструктировал о месте встрече на следующее утро. Он сказал, что берет на себя нашу защиту от газетчиков.

«Крайне важно, чтобы никто из вас никому ни о чем не рассказывал», — напомнил он и удалился. Я наблюдала из окна, как он свернул на боковую дорожку. Увидев человека в неуклюжей шляпе и дождевике, стоящего в нескольких метрах от дома, он быстро зашагал в противоположном направлении. Человек остался.

Коно встретил нас на седьмой платформе в восемь часов следующего утра, готовый сопровождать к апартаментам, но нас прервали появившиеся, словно из-под земли, два репортера. «Что случилось, мисс Грей? — спросил меня один из них. — Что за бегство в Гуаймас? Зачем вы туда направляетесь?»

Коно ловко занял позицию передо мной и мамой. С невозмутимым видом он сказал: «Извините, пожалуйста, но мы очень торопимся», — и завел нас в поезд в наше купе.

Позже мы узнали, что репортеры сели в поезд тоже и предприняли активные розыски в попытке добраться до меня, но безуспешно. Поскольку Коно следил, чтобы мы оставались надежно спрятанными в нашем купе, он даже доставлял нам еду. Они добрались до Чарли, одарившего их самой дружественной улыбкой и заверившего, что у него единственная сенсация — он расширил географию съемок «Золотой лихорадки» и собирается снять несколько сцен в Мехико. Те сочли это странным и сообщили ему об этом. Чарли посмеивался: «Я бываю очень странным, когда снимаю фильмы. Надеюсь, на конечном результате это никак не отразится». Он отказался объяснять что-то еще, и репортеры, наконец, сдались и стали рыскать по поезду, пытаясь получить информацию от кого-нибудь еще. Но никого не нашли.

Гуаймас был невероятно непривлекательным городом, а в сравнении с местным отелем гостиница в Тракки казалась роскошной. Было взято напрокат рыболовное судно, и Чарли велел технической команде плавать на нем весь день, чтобы создать впечатление съемок морских сцен. Эта изощренная бессмыслица поддерживалась до тех пор, пока репортеры, следовавшие за нами, — и несколько других подозрительных типов — не отказались от своих кровожадных планов в ближайшем баре, ставшем для них своего рода вторым домом, и постепенно не пришли к тому, что их приезд в Гуаймас оказался бессмысленной затеей.

Именно этого и ждал Чарли. В тот момент, когда их бдительность ослабела, он закинул меня, маму и Чака Рейснера в подготовленную заранее машину, и мы, в сумерках, сломя голову, помчались в Эмпальме, штат Сонора, где нас уже дожидались Дворец правосудия и переводчик. Коно оставили на случай, если

газетчики поймут, что мы от них улизнули.

Все развивалось с такой бешеной скоростью, что я не успела заметить, как очутилась перед пузатым судьей в тесной и унылой жилой комнате. По бокам стояли мама и Чарли, а рядом с Чарли стоял с угрюмым видом Чак Рейснер. По бокам судьи находились такая же пузатая жена и исполнявший роль переводчика старый мексиканец, похожий на Стэна Лорела. И Чарли, и я ужасно нервничали, но он особенно. Он никогда не был злостным курильщиком, а уж тем более не курил на официальных мероприятиях, тут же во время церемонии он держал между пальцев зажженную сигарету и даже нервно попыхивал ею.

Судья, тяжело дыша, бормотал что-то по-испански. Я отвечала, после того, как меня толкали локтем в бок. Так все свершилось. Чарли поморгал, откашлялся, нервно осмотрелся и поспешно чмокнул меня в щеку. Жена судьи захлюпала носом, обняла меня и защебетала нечто, означающее по-видимому поздравления и лучшие пожелания. Она попыталась обнять и Чарли, но тот отстранился. Не оглядываясь по сторонам, он вышел из комнаты через боковую дверь, как актер, который хорошо знает сцену и тщательно отрепетировал уход.

Мама поцеловала меня, то же самое сделал Чак. В его глазах стояли слезы.

Один номер в отеле был заказан для меня и Чарли, а другой, в конце коридора, для мамы. Когда управляющий показал нам наши комнаты и удалился, Чарли минимальным количеством слов дал нам понять, что займет мамину комнату, а она может разделить со мной брачное ложе. Он оставил нас и зашагал в конец коридора, с шумом захлопнув за собой дверь.

— Кажется, дела пошли на лад, теперь все будет хорошо, — безмятежно лопотала мама, еще больше напоминая Поллианну, чем бабушка.

Я была слишком опустошена и обессилена, чтобы начать плакать снова. Комната в отеле не способствовала улучшению моего настроения. Убогая обстановка состояла из кривобокой старомодной железной кровати, раковины, потрескавшейся фарфоровой ночной вазы, нескольких изношенных донельзя одеял и пары комковатых подушек, покрытых застиранными белыми накидками.

А когда вернулась тошнота, я окончательно почувствовала себя несчастной. Мама обняла меня и стала напевать, совсем, как когда я была маленькой.

Я никак не могла понять, что заставило Чарли преодолеть все эти непомерные расстояния от момента, когда мы поехали в

Мексику, до времени, когда мы вернулись. Путешествие в эти богом забытые места с технической группой, чтобы одурачить прессу, дикая автомобильная гонка окольными путями на эту мрачную свадебную церемонию, которую можно было провести с той же секретностью во множестве куда менее унылых мест, — все это выглядело, как изощренная провокация. Его доводы состояли в том, что он хотел избежать прессы, но в действительности это не объясняло ровным счетом ничего. Он прекрасно знал, хотел он того или нет, что в тот ноябрь 1924 года он был человеком, о котором писали больше, чем о ком-либо во всем мире, и каждый его шаг вызывал неизбывное любопытство, особенно у прессы. К тому времени, когда мы вернулись в Лос-Анджелес, как он и ожидал, каждый американец знал, что он вторично женился.

На обратном пути в Калифорнию он передал через Коно — который и на этот раз охранял меня от посторонних, — что моя мама должна перебраться в его апартаменты. Он собирался провести ночь в купе салон-вагона со мной. Я была смущена, но мама была счастлива: «Он смягчился, дорогая, разве ты не видишь? Я же говорила, что все уладится. Теперь у тебя есть муж».

Когда Чарли наконец пожаловал в купе, через полчаса после того, как мама покинула его, выяснилось, как далека она от истины.

— Рейснер говорит, что один из этих репортеров следил за нами по дороге в Эмпальме и телеграфировал своей газете. Поэтому для приличия жених останется со своей невестой, — сказал он, запирая за собой дверь.

— Пожалуйста, давай поговорим, — взмолилась я.

Он снял пиджак и мятую рубашку, не глядя на меня.

— Я не разговариваю, я маленький человек, а маленький человек никогда не говорит с тем, кого он не уважает, кто ниже его. Этого ты никогда не понимала в маленьком человеке, так ведь? Все образованные и необразованные люди всего мира понимают это, но ты — нет. Все дело в том, что как бы низко ни падал маленький человек, как бы его ни пытались унизить подлые люди, он всегда остается на высоте. Он презирает жадных до денег мерзавцев.

Он говорил тоном, с каким вполне мог заказывать ужин в элегантном ресторане.

— Не надо… — попросила я.

— Не надо что? Прикасаться к тебе? Не беспокойся, я не собираюсь. У меня не больше желания трогать тебя, чем заниматься любовью с вождем гуннов Аттилой — о котором, я

уверен, ты никогда даже не слышала. Ты слышала о Валентино, и, конечно, знакома с популярными песенками, возможно, даже знаешь, как написать собственное имя и сколько будет дважды два. Или я неправ?

Я закрыла глаза.

— Хорошо. Я ужасна. Только почему раньше я не была так ужасна?

— Ты всегда была ужасной, с того самого момента, как забеременела, — сказал он, зайдя в ванную комнату и оставив дверь открытой.

Теперь его голос звучал монотонно, словно он читал лекцию.

— У тебя есть только одна вещь, которая не была ужасной, эта вещь у тебя между ног Тебе не потребовалось много времени, чтобы извлечь максимум из твоего единственного таланта, так ведь?

Я могла бы вынести, если бы он кричал на меня, или ударил, или даже выгнал. Но я не могла выносить этот мягкий голос, изливающий на меня весь этот сарказм, этот нежный до приторности голос. Я велела ему прекратить, и он подчинился.

После этого наступила тишина, если не считать звука колес и струи воды в металлической раковине. Страшная тишина.

Потом я попросила воды, а он поинтересовался, не боюсь ли я, что он отравит ее. А потом он небрежно помог мне надеть пальто и повел подышать воздухом на экскурсионную платформу, и как раз там, стоя позади меня, он спросил, почему бы мне не прыгнуть с нее, — все тем же приторным голосом. А когда я обернулась, стараясь разглядеть в темноте его лицо, то получила не больше ответов, чем давал его голос. Поезд дернулся несколько раз подряд, и стыки внизу металлической платформы, на которой мы стояли, с грохотом сталкивались с основанием вагона.

Его лишенные выражения глаза гипнотизировали меня, а лязгающие звуки поезда, казалось, становились все громче, все оглушительнее. Я хотела спрятаться где-нибудь, где угодно.

Он ушел с платформы в вагон.

Я осталась там, где была, пока не промерзла до костей. Потом я, окоченевшая, вернулась в купе. Чарли лежал в постели на своей половине и слегка похрапывал.

Глава 10

Хотя я не беспокоилась о своей физической безопасности, но побаивалась оставаться наедине с Чарли в его доме в Беверли-Хиллз. Я хотела, чтобы со мной была мама, но она отказывалась: «Я вернусь к бабушке с дедушкой. Не веди себя так, словно тебя бросили, дорогая. Я буду совсем недалеко. Но твое место сейчас рядом с ним».

В Шорбе, как раз перед Лос-Анджелесом Коно показал себя мастером на все руки. Он соскочил с поезда и кивком дал понять шоферу Фрэнку, который задолго до назначенного времени был в полной боевой готовности, чтобы тот подъехал как можно ближе. Он вызвал частное такси, усадил в него маму с ее багажом, дал водителю адрес и заплатил вперед. Потом дал сигнал Чарли и мне и, когда мы поспешно вышли из поезда и нырнули в лимузин, Фрэнк выпрыгнул, вытащил наши сумки, погрузил их в багажник и запрыгнул обратно. Коно сел в поезд, готовый сопровождать остальную компанию в Лос-Анджелес, где нас наверняка поджидала ватага репортеров.

Чарли опустил разделительную штору и уселся в дальний угол бокового сиденья. За всю долгую поездку мы не обменялись ни единым словом.

Машина прорывалась по Коув-Вэй, оставляя позади клубы пыли. Обогнув вершину холма, мы увидели ворота, охраняемые батареей репортеров и фотографов.

Чарли дернул вниз защитные экраны на боковых окнах и рявкнул Фрэнку: «Открывай ворота!» Фрэнк затормозил и стремглав помчался через толпу к воротам, пока репортеры толпились вокруг нас, пытаясь поравняться с затемненными окнами. Хотя прошла всего секунда, прежде чем Фрэнк уселся за руль, воцарился бедлам. «Поезжай вперед!» — взревел Чарли. Машина рванула в раскрытые ворота, сбивая камеры с треножников и заставляя толпу спасать свою жизнь. Мощный локомобиль преодолел людскую свалку и крутой подъем.

Ральф, слуга-японец, уже держал наготове открытую для нас переднюю дверь, и немедленно закрыл ее, едва мы вошли в дом. Чарли устремился прямо к лестнице, перескакивая через две ступеньки, и скрылся из виду, оставив меня наедине с Ральфом. Потом и Ральф исчез наверху лестницы, очевидно, чтобы получить инструкции от хозяина, а я осталась в прихожей, как узел с бельем, приготовленным для прачечной.

Я была дома.

Через несколько мгновений снаружи раздались шумы, и в

дверь начали настойчиво звонить. Журналисты требовали аудиенции Чарли, а некоторые кричали, что он сломал их камеры, и они привлекут его к ответственности. Я стояла недвижимо, пока не появился Чарли, посмеиваясь надо мной. «Фрэнк подъехал с другой стороны, он внесет чемоданы, когда будет уверен, что газетчики разойдутся по домам, и тогда мы поднимем чемоданы наверх».

Он показал мне знаком следовать за ним наверх, и на втором этаже направил меня к комнате рядом с той гостевой, где спала мама. Он открыл дверь, и я вошла в нее. Это была достаточно удобная комната, большая по размеру, чем гостевая, но не такая большая, как комната Чарли. Эта комната предназначена для меня — было сказано мне. Не настаивая на том, чтобы видеть своего мужа, я просто села, слишком усталая и слишком испуганная, чтобы двигаться.

Ральф и Фрэнк, не глядя на меня, принесли багаж. Потом Ральф сообщил, что м-р Чаплин будет обедать внизу в половине первого, прежде чем отправится в студию:

— Он сказал, вы можете спуститься вниз, если хотите, либо повар принесет обед сюда.

— Передайте ему, пожалуйста, что я спущусь.

Я приняла душ, надела лучшую для дневного времени одежду и спустилась в столовую, где Чарли восседал, как на троне, в своем кресле с высокой спинкой, и ел сосиски и яйца. Он знал, что я приду, но не посмотрел в мою сторону, выражение его лица было таким же безжизненным, как у слуг. Я села напротив него, на дальнем конце стола, где для меня были накрыты приборы. Иму, еще один слуга, обслужил меня и ушел.

После нескольких минут гнетущего молчания Чарли, наконец, заговорил. Хотя нас разделяло около пяти метров, он говорил обычным голосом.

— Ну вот, дело сделано, — произнес он, глядя в тарелку. — Мы ввязались во все это, и теперь остается выходить с достоинством из создавшегося положения.

Ждал ли он, что я снова стану извиняться? Или предполагались мои заверения, что мы не просто будем делать хорошую мину при плохой игре, но можем быть счастливейшими людьми в мире? Я не сказала ничего.

Больше он не заговаривал, пока не закончил есть. После этого он сообщил:

— Я ухожу на студию. Коно останется здесь еще час. Он даст тебе инструкции.

— Инструкции? — нахмурилась я. — Я что здесь, новая служанка?

Он понял, как прозвучали его слова.

— Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что у меня нет времени вникать в разные мелочи. Коно расскажет все, что тебе необходимо знать.

Когда он поднялся, я осмелилась спросить:

— Тебе нужно идти? Уже прошло полдня. Ты не можешь остаться — хотя бы сегодня? Мне было бы… так приятно это.

— Я и так уже запустил дела, — сказал он и поспешил прочь.

Коно выглядел, как типичный крепостной в кинофильме. Другие работники в доме — все японцы — с одинаковой раздражающе искусственной улыбкой на лицах, одетые в белые жакеты, беззвучно передвигались в обуви на резиновой подошве, но Коно отличался от них. Этот высокий стройный мужчина среднего возраста носил сдержанные деловые костюмы. У него была жена, с которой он жил в гостевом коттедже неподалеку, но, несомненно, все его время, когда он не спал, посвящалось исключительно обслуживанию Чарли. Вскоре я обнаружила, что в некоторых отношениях я замужем скорее за ним, чем за Чарли.

Моя первая встреча с ним в тот день была невероятной.

— Ваши потребности будут исполняться персоналом и мной, — сообщил он на безупречном и невыразительном английском языке. — Основы рутинных процедур ведения дома меняться не будут, поскольку м-р Чаплин не любит перемен. Если у вас будут какие-либо проблемы, от вас требуется обращаться ко мне, а не к мистеру Чаплину.

— Какие проблемы?

— Самые обычные. Мы не можем предугадать. У вас будет открытый счет в аптеке, которая здесь совсем близко, там вы можете купить любые лекарства и косметику. Другие магазины вам не будут нужны. Если вам что-нибудь понадобится, я прослежу, чтобы у вас это было. М-р Чаплин предпочитает покой, поэтому если вы захотите развлечься с друзьями или родственниками, лучше всего делать это в его отсутствие.

Он назвал впечатляющий список правил и предписаний, сказав, что я могу делать, а чего не должна. Он говорил коротко и отрывисто, а его голос был утомительно монотонным, но главная идея была предельно ясна: меня должно быть не слышно и, по возможности, не видно. За обедом я саркастически спросила Чарли, уж не новая ли я служанка. Теперь я поняла, что все гораздо хуже. Я была незваной гостьей в доме моего мужа.

Было уже за полночь, когда я услышала, как шаги Чарли достигли верха лестницы. Я провела бесконечный день, бродя из комнаты в комнату, придумывая слова, способные уменьшить

ненавистные барьеры, разделяющие нас. Несмотря на его язвительные высказывания, несмотря на данное им поручение слуге объяснить мне мои права и обязанности, я все-таки не могла поверить, что именно такую жизнь он мне предназначает. Как и мой дедушка, он был упрямым британцем. Его карьерные и жизненные планы радикально поменялись, и я была тому причиной. Я была способна понять его разочарование и уныние, даже если моя семья этого не могла, потому что я понимала Чарли. Но в глубине души он знал — он должен был знать, ведь не было ничего, чего он не знал, — что я всегда готова быть на его стороне, что я не такая, какой он назвал меня.

Я подвязала поясом халат и вышла встретить его. Он выглядел измученным и явно нуждался в чашке горячего чая, а возможно, и в любви. Он увидел меня, и вспышка узнавания промелькнула на его лице. Обнадеженная, я сделала шаг или два вперед, но остановилась, увидев, как устало и печально поникли его плечи.

— Могу я сделать что-нибудь для тебя? — спросила я мягко.

Ослабив галстук на шее, он зевнул.

— Да, — ответил он так же мягко. — Дай мне пистолет. Я вышибу себе мозги.

Он поплелся в спальню, но не закрыл за собой дверь, и я пошла следом, наблюдая, как он медленно начинает раздеваться.

— Ты не можешь ненавидеть меня, — сказала я тихо. — Ты не можешь думать так, как говоришь. Не может быть, чтобы ты меня так любил, как утверждал совсем недавно, и так ненавидел, как говоришь сейчас, Пожалуйста, позволь мне остаться возле тебя этой ночью…

— Не смеши меня.

— Пожалуйста, — повторила я, пытаясь не кричать.

— Будь добра, когда будешь уходить, не забудь закрыть за собой дверь, — устало сказал он, словно ножом по сердцу.

По телефонам и в дверь звонили, не переставая. Наконец, после упорной паузы, в офисе Чарли официально подтвердили, что мы поженились, о чем все и так уже знали. Никаких деталей, кроме единственной дополнительной информации: «Миссис Чаплин, (урожденная Лита Грей) отказывается от роли девушки из дансинга в фильме „Золотая лихорадка“: который сейчас снимается. Каждую секунду своего времени она хочет посвятить мужу. Роль будет играть Джорджия Хейл».

Репортеры и колумнисты требовали от меня интервью, но я была счастлива, что их ко мне не пускали, так как не знала, что говорить. Чарли, который вел себя с прессой непредсказуемо то

был слишком неприветливым, то излишне оживленным, — сделал короткое публичное заявление, объясняющее мое уединение: «В последнее время моя жена не совсем здорова. Ничего серьезного, но я хочу, чтобы она как можно больше отдыхала».

Так или иначе, он говорил правду. Отдыхала я предостаточно — мне было нечего делать и не с кем говорить — и чувствовала я себя не лучшим образом. По утрам я просыпалась с позывами к рвоте, а после нее несколько часов чувствовала слабость. Коно организовал для меня регулярные встречи с врачом. Мне было сказано, что беременность протекает прекрасно, но я не должна переутомляться.

Пока Чарли решал, когда я созрею для появления на публике, визиты к доктору были моими единственными отлучками из дома. Фрэнк заходил за мной в дом и привозил обратно так, что у прессы не было шанса увидеть меня. Меня сопровождала мама и довольно часто возвращалась в Коув-Вэй и проводила со мной вместе остаток дня. Поначалу я плакала и выдвигала обвинения против Чарли, и мама терпеливо выслушивала меня. Но через некоторое время тема была исчерпана. Мама по-прежнему была уверена в том, что противоестественный по всеобщему признанию брак наладится. Я не разделяла ее оптимизма.

Мне было приятно, что она хорошо выглядела и, как она уверяла, прекрасно чувствовала себя. Она, конечно, отложила свою операцию, но утверждала, что лекарства, которые она принимает, делают чудеса. По ее словам, она не испытывала ни малейшего дискомфорта с той самой ночи, когда осталась здесь, и была совершенно уверена, что теперь все позади.

Происходило и кое-что, вносившее разнообразие в мою жизнь и облегчавшее мне первые недели пребывания в статусе одинокой новобрачной. Школьная система Лос-Анджелеса подразумевала, что я все еще не вышла из школьного возраста. Чарли или его помощники умышленно сбивали с толку дотошную публику, исподтишка подбрасывая информацию, что мне семнадцать или восемнадцать лет, — об этом писали статьи в газетах и журналах, которые я читала о себе. Но школьная система располагала сведениями обо мне и настаивала на продолжении моего образования. В результате для обучения миссис Чаплин по школьной программе были организованы визиты учителя Хилдера Питерсона в Коув-Вэй на несколько часов в день.

Любопытно, что если раньше я была достаточно безразлична к учебе, то теперь стала проявлять более глубокий интерес к ней. У меня появилось желание учиться, прочитать все книги на полках Чарли и знать так же много, как он, — чтобы он мог

гордиться мною, когда (если это случится) он сменит гнев на милость.

Книги в этом огромном доме были единственным, что не имело своего места. Их были тысячи, они находились почти в каждой комнате, и многие из них были зачитаны до дыр. Мне предстояло узнать, что Чарли — фантастический читатель. До сих пор не могу понять, откуда он брал время, но читал он ненасытно, и по моим наблюдениям, интересовало его буквально все. Когда Коно или слуг не было, я просматривала книги, словно в библиотеке, и брала ту, с которой, как я думала, смогу справиться.

После недели такой практики я поняла, что все отобранные мною книги, т. е. те, которые я могла осилить и которые меня привлекали, — так или иначе были связаны с сексом.

Я была зачарована высокопарно написанным медицинским мануалом, который ухитрялся исследовать совокупление главу за главой, и заинтригована тем, что рукой Чарли, карандашом, были подчеркнуты места, подробно описывающие десятки способов половых сношений вдобавок к тому, что постоянно упоминалось как «нормальное половое сношение». Вот что было курьезно: в книге подчеркивалось, что извращения не заслуживают даже презрения, но в то же время, не упускалась возможность описать до мельчайших деталей акты, кажущиеся дикими и способные озадачить акробата.

С помощью медицинского словаря я освоила ту книгу; подобный метод позабавил бы моего наставника. Еще я осилила толстый роман под названием «Мемуары любительницы развлечений», более известный, как я узнала позднее, под названием «Фанни Хилл». Я добралась до мест, подчеркнутых рукой Чарли, — сексуальных сцен, — и еще больше захотела, чтобы Чарли объявил перемирие и пришел ко мне.

Но Чарли, казалось, все больше отдавался «Золотой лихорадке» и все больше игнорировал меня. Когда он был дома, он запирался в своей комнате и либо работал, либо спал. Он старался поддерживать равномерную загрузку в рабочие дни на студии, хотя бы потому, что не мог выносить вида слоняющихся без дела сотрудников компании, которым платил, но в отношении собственной занятости никакой рутины у него не было. Иногда он мог до зари работать в постели, потом слегка вздремнуть и отправиться на студию. В другое время он мог отсыпаться допоздна из-за полного изнеможения, оставив Коно распоряжение не беспокоить его ни при каких обстоятельствах. При таком множестве комнат — о большинстве из которых он и сам едва подозревал — у Чарли не было домашнего кабинета как

такового. Он использовал старый стол у окна своей спальни, с кучей пожелтевших блокнотов и карандашей, и когда приходил домой — в шесть часов, в девять, или позже, — припадал к нему.

Мое странное существование в качестве непризнанной квартирантки в этом огромном доме было нарушено в один прекрасный солнечный воскресный день. Я сидела возле бассейна, увлеченная домашним заданием, полученным от моего учителя, когда появился Чарли в купальном костюме. Его вьющиеся волосы были в беспорядке, а настроение казалось не таким мрачным, как обычно. Он только что проснулся в то утро, и Ральф принес ему стакан апельсинового сока.

Я не смотрела в его сторону и уткнулась в свой учебник, словно его не было рядом.

Но он был, и он подсел и спросил так, словно напряженности между нами никогда не существовало:

— Что это ты читаешь?

— Историю Америки.

— Да, и до чего ты дошла?

— До «Типотдоум»[3].

Он засмеялся, и краем глаза я видела, как он кивнул.

— Да, такое симпатичное название для такого несимпатичного скандала… все эти лицемерные благочестивые общества, которые грабят вдов и сирот Ты замечала, что чем более красивое и витиеватое имя, тем более грубый или, по крайней мере, более тупой человек его носит?

Он был явно настроен поболтать, впервые за долгое время, которое началось еще до нашей поездки в Эмпальме. Я не закрыла свою книгу, но посмотрела на него, готовая услышать или увидеть знак, что теперь мы больше не будем враждовать.

— Интересная мысль, — продолжал он, развалившись и подставив лицо солнцу. — В Англии места с самыми очаровательными названиями населяли гнусные головорезы. А в штате Нью-Йорк есть деревушка под названием «Дальний Утес», откуда казалось бы, должен открываться потрясающий вид на океан, но, как говорят, ничего подобного там нет. А в Пенсильвании маленький городок с красивым названием «Приятное местечко», говорят, полон воров и убийц. А еще больше подтверждает мою теорию, только подумай, — он изобразил пальцами в воздухе кадр, — «Голливуд». Есть ли название более сладкое, и где можно найти большее количество воров и разбойников на одном квадратном метре, чем здесь?

Ему подали рыбу, тосты и кофе, и я ощутила его неудовольствие оттого, что упорно не отрывалась от книги, которую якобы читала.

— Завтра у нас будут к ужину гости, — сказал он. — Роб Вагнер и его жена. Роб — художник и писатель моего примерно возраста, он очень талантливый, очень спокойный и мыслящий человек. Должен быть приятный вечер. Он знает о…

Я знала, что он пытается сформулировать, и посмотрела на него сердито.

— Знает что? Что у меня будет ребенок? Что я связала тебя по рукам и ногам, затащила тебя в постель и заставила мою семью женить тебя на мне?

— Шшшш! Слуги…

Гнев, наконец, прорвался, и я не могла остановиться:

— Ты говорил своим друзьям, что я потаскушка, и поскольку мы жили под одной крышей, ты захотел, чтобы я стала твоей женой, так как ты такой замечательный и всепрощающий, а я не позволяю тебе прикасаться ко мне? Скажи мне! Скажи, что ты говорил друзьям, чтобы я знала, как вести себя завтра за обедом, чтобы тебе не пришлось стыдиться за меня!

Чарли был еще более взволнован моей речью, чем я сама. Он бросил нож и вилку на поднос и встал, его лицо потемнело.

— Дешевка, невероятная дешевка, не знаю, как я мог связаться с тобой!

Он проследовал обратно в дом, и оставшуюся часть дня я его не видела.

Вагнеры прибыли на следующий вечер в половине седьмого, минута в минуту. Они были очень милы и непринужденны, и хотя большая часть разговора за обедом была выше моего понимания, они не обращались со мной как с полной дурой. Я вела себя тихо, пока разговор крутился вокруг книг, которые читали Чарли и они. И, чтобы показать себя в выгодном свете, я заметила:

— А я как раз закончила читать «Мемуары любительницы развлечений».

На минуту наступило неловкое молчание, потом я поняла, почему. «Фанни Хилл», хотя и считалась литературой, тогда была запрещена в этой стране, и это не была книга для изысканных леди, особенно шестнадцатилетних. Чарли воскликнул:

— Да? Это новость для меня. Я и не думал, что это в твоем вкусе, Лита.

Он застенчиво улыбнулся.

— Моя избранница, похоже, очень эмансипированная юная дама.

Я заподозрила, что совершила непростительную оплошность, но несколькими часами позже, после того, как Вагнеры откланялись, Чарли посмотрел на меня одобрительно.

— Ты была очаровательной хозяйкой сегодня. Поздравляю

тебя.

Я не была уверена, говорит он это саркастически или нет. Я решила, что нет.

— А что, по твоему мнению, я должна была делать, — сказала я, — сосать палец и играть в куклы?

Он засмеялся.

— Идем в постель, Лита.

Этот поворот на 180 градусов поразил меня. Означало ли это, что блокада закончена? Эта мысль обнадеживала, но я не стала показывать это.

— Ты наговорил мне столько гадостей. И вообще, я привыкла спать в собственной кровати.

Покраснев от глупости собственной чинной речи, я ушла. И услышала его смех вдогонку. Минутой позже я была в его постели и в его объятиях.

Он не забыл, как меня можно быстро завести. Между поцелуями он шепотом вспоминал некоторые эпизоды из «Фанни Хилл» и наблюдал за моей реакцией. Я отвечала трепетом наслаждения. Вдохновленный, он изображал эпизоды, поддразнивая меня, пока я не взмолилась, чтобы он не медлил больше ни секунды. Мое желание было таким неистовым, что я была уверена: этой ночью наконец я познаю оргазм, от которого отказывалась так долго. Но этого не случилось ни в первый, ни во второй, ни в третий раз, когда он происходил у Чарли. Но мне не на что было жаловаться. Ведь Чарли снова был со мной.

Однако это было не так. Прежде чем уйти и студию на следующее утро, он сказал, что мне пора дать интервью «журналистскому отродью». Он сказал, что доволен тем, что я не обнаруживала до сих пор никаких признаков беременности, и что меня проинструктирует Джим Тулли, как себя вести. Я ожидала от него хотя бы крупицы той любви, которую он проявлял прошедшей ночью. Хотя бы поцелуя, доброго слова, одобрительного взгляда. Но он ушел, даже не попрощавшись, словно не было этой ночи.

Тулли провел целый день, давая мне наставления по поводу интервью. Он учил, как обходить озадачивающие вопросы, как не дать заманить себя в ловушку, как вести себя предельно безопасно и в то же время не создать у журналистов впечатления, что их одурачили. Я была поражена очевидностью хитростей, которые он предлагал, но слушала и училась.

Было дано множество интервью газетам и другим средствам массовой информации, и приближался день, внушавший мне дурные предчувствия. К счастью, однако, мои страхи оказались беспочвенными, интервью были прекрасными: в те дни

журналистские вопросы не были настолько личными, как сегодня. Я справилась успешно. Я использовала все эффектные клише: «Чарли покорил меня!», «Какая девушка устоит перед предложением самого желанного мужчины в мире?» — и увидела, что репортеров вполне устраивало слышать именно это. И я поняла, как мудро со стороны Чарли было стоять в стороне от всеобщей конфронтации; его отсутствие гораздо больше делало его объектом внимания, чем присутствие. Он прочитал опубликованные материалы и остался доволен.

Незадолго до того, как моя фигура начала выдавать наш секрет, Чарли позволил объявить всем, что «Чаплины ожидают ребенка!» Для публики он играл роль ликующего будущего отца, но со мной стал вновь холоден. Иногда он приходил домой вовремя к ужину и удивлял меня предложением поесть вместе. По такому случаю мы ели на передвижном столике возле камина и гостиной. Всякий раз во мне загоралась надежда, что он действительно видит во мне жену, и всякий раз мы съедали наш ужин, как чужие люди. Где-то между супом и мясным блюдом я точно могла рассчитать момент, когда он спросит: «Как твои занятия?» А я скажу ему, что все в порядке, и он отзовется: «Хорошо, хорошо. Слишком образованных людей не бывает». Время от времени он напоминал скорее себе, чем мне: «У меня есть одна смутная идея относительно одной сцены. Она может быть безумно смешной, но никак не могу придумать». Я предлагала поделиться на тот случай, если каким-то образом смогу подтолкнуть его идею. После этого он либо внезапно менял тему, либо раскрывал вечернюю газету и читал ее до конца трапезы.

В те ночи, когда Чарли вызывал меня к себе в спальню, я шла, все больше чувствуя себя потаскухой, как он однажды назвал меня. Я шла к нему, как девушка по вызову. Иногда он занимался любовью со мной, Литой Чаплин, но чаще в тот период он просто вымещал на мне свою страсть и выпроваживал, объясняя это тем, что ему надо еще поработать.

Такие эпизоды опустошали меня на некоторое время, и я пыталась всеми силами заставить его видеть во мне что-то иное, чем тяжелую ношу на своей шее.

— Ты знаешь, что у меня совсем неплохие мозги? — сказала я однажды.

Он взглянул на меня с насмешкой.

— И кто это сказал?

— Их надо тренировать, но они не спят, — продолжала я. — Я быстро схватываю, если у меня есть стимул. Я не просто так говорила тем репортерам, что люблю тебя. Я очень хотела бы

научиться всему, что могу, и быть тебе помощницей.

Я сделала паузу.

— Почему ты не пускаешь меня в свою жизнь?

Он спокойно спросил:

— А что тебе там делать?

Он увидел боль в моих глазах и сказал:

— Ну ладно, это прозвучало грубо. Но обнадеживать тебя было бы гораздо более жестоко в конечном счете. Мы несовместимы ни в чем, за исключением постели. Я понимаю, что ты, вероятно, одинока, что тебе нечем заняться…

— Я могу тратить свое время, делая что-нибудь полезное для тебя! — умоляла я. — Разве я не могу отвечать на письма поклонников или читать о чем-то, что может подсказать идеи для картин, или вклеивать заметки в журнал, или я не знаю… — что угодно, лишь бы быть частью тебя?

— Лита, — сказал он мягко, — сколько раз я могу повторять? Моя жизнь очень хорошо организована. Я нанимаю десятки людей, и они делают все, что мне нужно, потому что они обучены делать все именно так, как я этого хочу. Но я подумал… почему бы твоей маме не перебраться сюда? Уверен, она согласится, и тебе так будет лучше.

Мама переехала только после того, как я убедила ее в том, что это была идея Чарли. Она считала, что матери не должны жить с замужними дочерями и зятьями. Фрэнк привез ее и ее вещи в дом, когда Коно, бесстрастный как всегда, проинформировал ее, что ее ждут и что этот дом — ее дом.

В момент, когда она прибыла, я почувствовала себя более защищенной от внешнего мира. А потом, к моему огромному удивлению, Чарли пришел домой к ужину и по-королевски принял маму. За столом, пока он не ушел с извинениями в свою комнату, он обращался с ней, как с почетным гостем. Он был оживленным и очаровательным и потчевал ее забавными историями на съемочной площадке. Он вел себя с ней, как мог бы вести себя со своей женой. Глядя на них со стороны, никто бы не подумал, что всего несколько месяцев назад они набрасывались друг на друга. Чарли, казалось, вздохнул с облегчением, что теперь есть кому позаботиться о его нежеланной инфантильной суженой.

Теперь он мог жить сам по себе, не чувствуя за собой вины.

Глава 11

Приглашения на званые вечера продолжали поступать, но Чарли отклонял их, не только из-за нежелания отвлекаться от работы над «Золотой лихорадкой», но и потому, что вечеринки вообще были ему в тягость. Поэтому я была удивлена, когда неожиданно он сказал мне, что мы приглашены в «Пикфэр», дом Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса. Позже я узнала, что это они настояли, чтобы мы пришли. Они были не только партнерами по бизнесу — они вместе создали компанию United Artists, — но и давними друзьями. Как-то раз они отвели его в сторонку и сказали, что с его стороны преступление не познакомить друзей с женой.

Чарли уступил, но казалось, был в полном смятении, когда я сказала, что у меня нет подходящей для этого случая одежды.

— Почему ты не обратилась к Коно? — спросил он.

— Я обращалась много раз, — ответила я. — Он говорил, что у меня вполне удовлетворительный гардероб. Может быть, и так. Меня не слишком волнует одежда. Но если мы пойдем в «Пикфэр», и я буду выглядеть жалко, не будет ли это плохо для тебя?

Это сработало. Меня отвезли в универмаг купить вечернее платье, которое я смогла носить еще несколько месяцев, пока рос мой живот. Было дано ненавязчивое распоряжение, что платье должно быть красивым, но недорогим. Я уже успела увидеть, как тяжело расставался Чарли с каждым пенни.

«Пикфэр» по роскоши напоминал Коув-Вэй, но казался более теплым и уютным, возможно, потому, что здесь была женская прислуга, тогда как штат Коув-Вэй был укомплектован исключительно представителями мужского пола. И хотя внешне владелец и владелица «Пикфэра» казались столь же несовместимыми друг с другом, как Чарли и я, — Даг был большим ребенком, в то время как Мэри — величественной леди из «Эпохи невинности» [4], — не нужно было много времени, чтобы понять, насколько они подходят дуг другу. Мэри была не только любимицей Америки, она принадлежала Дагу, и он, несомненно, обожал ее.

Чарли был в приподнятом настроении, пока не прибыл Джон Берримор, после чего он неожиданно поник и оставшуюся часть вечера вел себя сдержанно. Мне приходилось видеть Чарли и Джона вместе в нескольких ситуациях, и я была заинтригована тем очевидным фактом, что мой муж, редко испытывавший неловкость в компании людей, которых боготворил, неизменно

затихал в присутствии Великого профиля[5]. Насколько я знала, необычайно красивый Джон Берримор не был подвержен зависти или соперничеству; он был открытым с артистами, которых уважал, а Чарли он считал уникальным и гениальным. Чарли же не был завистливым или малозаметным человеком в искусстве, но само присутствие Джона неизменно заставляло его ретироваться, словно он чувствовал, что актер заслоняет его.

Джон приехал слегка навеселе, но был любезен с хозяевами и засветился при виде Чарли. «Ну, как поживает наш балерун?» — пророкотал он. Позже я узнала, что этим словечком Чарли окрестил его друг Уильям Филдс. Филдс посмотрел ранний фильм Чаплина «Тихая улица» (Easy Street), где Чарли скакал, прыгал и бегал с неподражаемой грацией, и когда его спросили, что он думает об исполнении Чарли, завистливый Филдс бросил: «Да это просто балерун. Встретил бы я этого сукиного сына, убил бы!»

Притихший Чарли ответил, что поживает хорошо, и представил меня Джону Берримору. «Она прекрасней звездной ночи!» [6] — продекламировал актер голосом, ласкающим слух. Потом, слегка пошлепав меня по животу, заявил: «Моя международная шпионская сеть проинформировала меня, что в вашем животике кто-то есть, моя небесная голубка. Можете ли вы для меня кое-что сделать? Если у вас будет белочка, назовите ее в мою честь».

Хотя Чарли не принадлежал к типу людей, которые резвятся на вечеринках с абажуром на голове, думаю, в самом факте присутствия Берримора он ощущал угрозу, доводившую его до ступора. Своими приколами Джон мог собрать вокруг себя толпу, а в тот вечер он был в ударе. И перед ужином, и после он носился по комнате, перепрыгивая через стулья и фехтуя с воображаемым противником, чтобы показать, как Даг Фэрбенкс завоевывал славу. Его пародии были утрированными до абсурда, но в них не было ничего пошлого. Даг захлебывался от смеха, но Чарли, который тоже мог бы сделать смешную пародию на нашего хозяина, просто сидел на стуле и наблюдал. Время от времени он смеялся, но смех его был натянутым.

Я чувствовала, что Мэри не очень одобрительно относится ко всей этой кутерьме, но она никак не выказывала своего недовольства. Когда, наконец, она получила возможность вставить слово, она попросила совета по личному вопросу. После многих лет успеха в образе маленькой девочки с золотыми кудрями недавно она сыграла роль в фильме «Розита», снятом режиссером Эрнстом Любичем, где она попыталась создать характер более зрелый, по крайней мере, взрослый. Публика не

приняла ее, тем не менее она понимала, что не может оставаться профессиональной малышкой навсегда. Чарли предложил ей как можно дольше поддерживать этот детский образ: «Вы никого не стремитесь одурачить. Вы не из тех престарелых актрис, которые пытаются убедить публику, что они вдвое моложе. Все знают, что вы — взрослая и никого это не волнует. Их интересует лишь то, что вы играете роль лучше любой другой актрисы. Вы предлагаете им прекрасную иллюзию, а не ложь. Это не одно и то же. Не слушайте никого».

Джон посоветовал, чтобы она немедленно взялась развлекать кинозрителя: «Сыграйте в следующем фильме женщину легкого поведения, которая балуется наркотиками, курит огромные сигары и спит с матросами за гроши. И я гарантирую, вы оставите след на кинонебосклоне на все времена!»

Мэри морщилась. Даг хохотал. А Чарли нехотя смеялся.

Я не могла не заметить, что Чарли стал уделять мне больше внимания на вечере после того, как ему стало ясно, что я всем понравилась. Фэрбенксы были со мной очень милы, хотя мне нечего было рассказать им. И Джон при всех его шутках, розыгрышах и пьянстве был очень внимателен и нежен со мной. Ничто не укрылось от взгляда Чарли, который похлопал меня по руке, словно желая показать, что я выдержала серьезное испытание.

Хотя Чарли не придавал значения большинству религиозных праздником, он очень сентиментально относился к Рождеству. К Рождеству 1924 года — когда оставалось около четырех с половиной месяцев до появления на свет нашего малыша — он с помощью Коно готовил елку, праздничный обед и подарки для мамы и для меня. Когда я спросила Чарли, могут ли прийти к обеду мои бабушка и дедушка, он посмотрел на меня сурово, словно я потребовала чего-то невозможного, но ответил: «Конечно, если они хотят — и не рассчитывают услышать здесь эти невыносимые рождественские песнопения».

Сначала дедушка пришел в ярость. Ни при каких условиях его ноги не будет в доме этого человека. Но мама и бабушка провели с ним работу, и его автомобиль прибыл в Коув-Вэй вовремя.

Чарли и дедушка пожали друг другу руки и начали общение настороженно, словно пещерные люди, каждый из которых уверен, что другой прячет что-то за пазухой. Но после рюмки-другой хереса, они, казалось, вполне поладили. Оба были родом из Британии и обнаружили достаточно много общего, чтобы обстановка разрядилась. Когда мы сели за стол, Чарли начал

подчеркнуто ухаживать за бабушкой, и она была покорена. Он сам искусно порезал индейку, а потом, когда все уже были обслужены и готовы к еде, сбил меня с толку неожиданным вопросом: «Может быть, кто-то хочет прочитать молитву? Это было бы очень кстати». Дедушка согласился.

День был не самый простой для каждого из нас, но, должна сказать, дедушка вел себя учтиво, а Чарли просидел все время послеобеденной беседы, не ерзая от нетерпения и неловкости.

Вскоре после Нового года мы получили приглашение на впечатляющий костюмированный бал, который давала актриса Мэрион Дэвис. Он должен был проходить в огромном зале в отеле «Амбассадор», ожидались тысячи гостей, представители элиты — кинозвезды, общественные деятели и другие известные люди, — и денег на него не жалели. Чарли пообещал, что мы будем, как он сказал, поскольку очень нежно относится к Мэрион.

Решив, что мы будем одеты как Наполеон и Жозефина, он немедленно — и сам лично — заказал костюмы. Когда они прибыли, как раз перед балом, я волновалась, что моя беременность испортит грациозные линии платья императрицы, но Чарли показал, как крой исторического костюма делает выпуклости незаметными. Потом, удовлетворенно улыбнувшись, он сказал: «Так или иначе, ты не представляешь, насколько тебе повезло. Другой Наполеон так и не смог сделать свою Жозефину беременной».

Это был один из тех немногих драгоценных моментов, когда он хотя бы вскользь упомянул о своем грядущем отцовстве, и я не могла не сделать свой комментарий:

— О чем это ты? Ты чувствуешь, что тебе повезло?

Улыбка исчезла.

— О, чрезвычайно! — сказал он с саркастической ноткой в голосе, повернулся и вышел из комнаты.

Даже горечь из-за холодности Чарли не могла омрачить мою радость от костюма. Платье было волшебным. Бархатное, бледно-голубое, с щедро расшитой искусственными жемчугами и бриллиантами верхней частью корсета, с завышенной талией и бесстыдным декольте. Мама, волновавшаяся не меньше моего, выложила бархатное платье, перчатки и инкрустированную драгоценными камнями диадему и помогла мне одеться. Длинные, глубокие складки юбки совершенно скрывали мою беременность. Мама надела диадему на мою голову, повернула меня так, чтобы я могла видеть себя в зеркале, и заявила: «Ты великолепна, Лиллита. Дедушка с ума сойдет, если увидит, насколько открыт лиф, но ты — настоящая мечта!»

Я поцеловала ее и поспешила в комнату Чарли, чтобы

предстать и дверном проеме во всем имперском величии, словно в раме. Чарли, полностью одетый в наполеоновский костюм, стоял перед собственным зеркалом, внимательно осматривая себя и пытаясь решить, с правой или с левой стороны груди приколоть орден Почетного легиона. Когда я вспомнила фотографию моего дедушки, на которой орденская ленточка была слева, Чарли кивнул и принял предложение. Потом, отступив от зеркала, чтобы иметь лучший обзор, он с особой тщательностью пристроил на голове широкую шляпу, просунул правую ладонь за борт мундира и секунду или две внимательно изучал свое отражение. Потом взглянул на меня, сказал: «Ты выглядишь прелестно — пойдем», — и зашагал походкой императора из комнаты.

Бал был ослепительный. С высокого потолка огромного зала свисали вращающиеся хрустальные люстры, бросающие цветные блики на созвездие знаменитостей, заставляя сверкать их бриллианты и жемчуга. В баре предлагался огромный выбор напитков, хотя, кажется, все пили шампанское, по всему залу тянулись столы с закусками, начиная от множества разных видов канапе до блинчиков, подогреваемых на огне в закрытой посуде. Стол украшали ледяные фигуры в обрамлении листьев мяты и папоротника и декораций из папье-маше, подобранных по контрасту или в тон. Снующие официанты были одеты в атласные панталоны до колен, черные башмаки с серебряными пряжками, белые парики и прочие атрибуты костюма французского суда в пору его расцвета. Эрл Бертнетт и его оркестр отеля «Балтимор» играли безостановочно, и зал гудел от оживления.

Даже гул тысячи голосов, звуки музыки, звяканье тарелок и стаканов не взволновали моего невозмутимого императора, остановившегося при входе с нашим приглашением в руке. Мелькали тысячи лиц, некоторые полностью измененные гримом и прической, но в большинстве своем узнаваемые немедленно. Возле нас были шах и арабская танцовщица — Рудольф Валентино и Наташа Рамбова. Позади них стояли Лилиан и Дороти Гиш, одетые, как героини фильма «Сиротки бури» (Orphans of the Storms), и разговаривали с Джоном Гилбертом в образе принца Давило. Кроме них, я заметила сестер Дункан, Вивиан и Розетту, в виде Топси и Евы, и супругов Любичей, одетых как Ромео и Джульетта. Это было комическое зрелище, так как Любич не смог скрыть корсетом свой толстый живот и не жевать длинную сигару. А неподалеку болтал в кругу друзей Уильям Рэндольф Херст, знаменитый американский газетный магнат, наряженный Генрихом VIII.

Не понадобилось много времени, чтобы вокруг Чарли собрались поклонники, и как только у нас появились

немногочисленные, но внимательные сопровождающие, Чарли успокоился. Я в очередной раз была озадачена: это казалось нехарактерным для него, так как обычно он не искал внимания. Я никак не могла понять Чарли: он не терпел лести, когда был единственным артистом, когда же вокруг были другие — а в тот вечер так оно и было — он боялся, что его обойдут вниманием.

Мэрион Дэвис, одетая в очаровательное белое довоенное платье с кринолином, пересекла зал, подошла к нам и обняла Чарли. Впоследствии мы так хорошо узнали друг друга, что делились подробностями личной жизни, но в ту первую встречу она меня игнорировала. А я не возражала. Я с удовольствием смотрела на нее. Она была очень хороша собой и полна жизни, на свое заикание она так мило не обращала внимания, что оно было привлекательным, и она так женственно льнула к Чарли, что я была скорее польщена, чем расстроена.

Еще я была польщена тем, что мужчины хотели танцевать со мной, и я танцевала то с одним, то с другим, хотя и просила знаком разрешения у Чарли, а он кивал в ответ. Каждый делал мне комплименты, и пусть я смущалась и краснела, но должна признать, что большую часть этого вечера чувствовала себя самой красивой женщиной в зале, который означал для меня весь мир. Я себе нравилась; впервые за долгое время я чувствовала себя чистой и защищенной, и я была личностью. В эти чудесные часы я была Жозефиной и очаровывала всех своей красотой и утонченностью.

У стола с закусками я неожиданно услышала: «Привет, королева!» Я обернулась и увидела Джона Берримора, покачивающегося из стороны в сторону, как маятник, и держащего в руке тарелку с горой мяса, солений и оливок. Протягивая мне тарелку, он величественно произнес: «Немного простой пищи для моей очаровательной императрицы».

Он был одет как Гамлет и был неприлично пьян. Когда я улыбнулась и покачала головой, он поставил тарелку на стол и сказал сонно: «Не могу винить вас. Эту бурду привезли сюда наши отважные солдаты из Франции в 1918 г. И она ожидала здесь своего часа. Никто не догадался поставить в холодильник. Нет слов! Наши отважные солдаты сражались за нас, а мы даже не поставили ее в холодильник. Пойдемте, я научу вас танцевать фанданго, меня научила одна роскошная дама из роскошного публичного дома. Не могу вспомнить ее имя».

Он увел меня от стола с едой, но было очевидно, что он не в состоянии танцевать. К счастью, он вовремя понял это и позволил мне отвести его к ближайшему свободному дивану. «Сядьте со мной», — сказал он, и я подчинилась. Когда я отказалась от

сигареты, предложенной им, официант в атласных панталонах приблизился с подносом с напитками, и Джон махал ему рукой, пока не получил коктейль. «Дай тебе бог, храбрый солдат. Эта униформа тебе особенно к лицу. Будь я сегодня потверже на ногах, я бы стоя отдал тебе честь».

Официант улыбнулся и ушел.

— Никому ни слова, — сказал Джон, и замолчал, чтобы сделать несколько шумных глотков, — но этот нубиец-официант, который только что отошел, мой сын. Я проверил его IQ, и он оказался 201, что означает гениальность. Я заставил его дать торжественную присягу, что когда он умрет; он оставит свой мозг лучшей школе официантов.

Он отпил снова. Его глаза смотрели поверх стекол на низкий вырез моего платья.

— Вы очень забавный, — сказала я, слегка нервничая.

— А вы — очень пухленькая спереди, моя императрица, — сказал он с наглостью, которая в своей чрезмерности воспринималась безобидной. — У меня твердые убеждения относительно груди: я убежден, что грудь должна быть твердой. У меня железные убеждения относительно молочных желез.

В смущении я поспешила сменить тему. Яне могла вспомнить, женат ли он, и спросила:

— С кем вы пришли сюда сегодня?

— С обольстительной юной леди. Но кто-то обольстил ее, пока я искал свою шляпу и пальто.

Он вздохнул:

— Правда… в том, что она обозвала меня пьяницей, неотесанным чурбаном, и кучей других имен, отражающих мой родительский и супружеский статус, и бросила меня.

— Мне жаль.

— О, она была права. Я действительно неотесанный. — Он подмигнул мне. — Я докажу это. Что если мы переведем стрелки, королева? Нужно поискать консервный нож, чтобы стащить с меня эти панталоны, но тогда уж…

Я не была оскорблена — весь его вид говорил, что это клоунада, а не страсть, — но я встала. Так или иначе, с меня было довольно.

— Лучше я поищу своего мужа, — сказала я. — Он наверное гадает, куда я пропала.

— Балерун? Он с девой Мэрион, разве нет? Мои шотландские водянистые глаза видели его с милой Мэрион. Милая Мэрион — барракуда. Она не вернет его вам, пока не обглодает хорошенько.

Пьяный или нет, он говорил с такой убежденностью, что это наводило на мысль: он знает нечто большее, чем просто слухи о

моем муже и Мэрион Дэвис. Но больше я не могла оставаться с ним ни минуты.

— Извините, — сказала я слабо.

— Моя императрица, — заявил он, — мне говорили, что когда Пегги Хопкинс Джойс впервые встретила балеруна, она защебетала: «Чарли, а это правда, что вы настоящий жеребец? Это все говорят». Можете ли вы ответить на этот вопрос, а то мои друзья по плавательному клубу хотят знать.

Я бросилась прочь, готовая беззастенчиво искать Чарли. Джон Берримор — пьяный, грязный мужик. Невероятно, чтобы у Чарли были какие-то шашни с Мэрион Дэвис или вообще с кем-то. По крайней мере, сегодня, на таком балу…

Нет, не совсем, сказала я себе. Это вовсе не невероятно. Что касается Чарли, все может быть. Он вполне может делать с ней это, хотя я и беременна. А может быть, именно потому, что я беременна. А может быть, ему вообще не нужны обоснования, кроме его собственного желания.

Кто-то пригласил меня на танец. Я покачала головой и кинулась сквозь толпу гостей и официантов. Меня бросало то в жар, то в холод. Нужно было найти Чарли. Может быть, у него и не было никакой любви, никаких чувств ко мне, но я не могла поверить, не могла поверить, что он может заниматься любовью с кем-нибудь, кроме меня.

Неожиданно передо мной возник Уильям Рэндольф Херст, огромный человек с удивительно высоким голосом, в своем костюме Генриха VIII.

— Извините, вы, кажется, миссис Чаплин, не так ли?

Я сказала, что да, и он представился, в чем не было никакой необходимости.

— Вы случайно не знаете, где сейчас Чарли? Я хотел поприветствовать его.

Я знала, что он тоже обеспокоен. Мне удалось улыбнуться.

— Уверена, он где-то здесь, м-р Херст. Здесь такое большое пространство. Если увижу его, передам, что вы его искали.

— Спасибо, я просто хотел поздороваться.

Минут через десять, в другой части зала через одну из боковых дверей вошла Мэрион Дэвис, поправляя волосы и улыбаясь, и сразу же присоединилась к небольшой компании. Я стояла там, где была, и видела, как через ту же самую дверь вошел Чарли. Он огляделся вокруг, расправил плечи — я почти слышала его вздох облегчения — и после этого увидела то, что мне показалось внезапным желанием, чтобы кто-то оказался рядом.

Будучи не в восторге от самой себя, я подошла к нему,

прежде чем это мог сделать кто-либо другой. Странно, но он засиял, увидев меня.

— Вот ты где? — воскликнул он. — Я везде искал тебя?

С нарочитой невозмутимостью я сказала:

— Я была с Джоном Берримором.

Он шагал передо мной:

— Прекрасно. Когда Джон не слишком пьян, он бывает довольно забавным. У него быстрый, блестящий ум.

— Он предложил мне отправиться в постель с ним.

Голова Чарли сделала полный разворот.

— Ты шутишь!

— По поводу?

— Он, конечно, плут, но он мой друг и не лишен честности. Он действительно предлагал, или ты предполагаешь? Берримор не такой уж распутный, когда не пьян вдребезги, а тогда он недееспособен. Должно быть, он очень пьян.

Я поймалась.

— Что ты говоришь? Что трезвый мужчина не может счесть меня привлекательной?

— Ну ладно, прекрати. Если ты разговаривала с Берримором, это не повод возвеличивать себя.

— Я общалась и с другими, — сказала я невинно. — Я встретила Уильяма Рэндольфа Херста. И с ним мы тоже разговаривали.

Чарли застыл:

— О чем?

— Он спросил меня, не занимаетесь ли вы любовью с Мэрион Дэвис этим вечером.

Побелев, он схватил мою руку.

— Ну-ка повтори!

Я не испугалась.

— Вы делали это с ней, разве нет? Все в этом зале знают об этом. М-р Херст знает. Даже твоя тупая жена знает.

Никогда — ни до, ни после этого случая — я не видела Чарли таким страдающим. Его глаза впились в мои, а тонкие пальцы сжали мою руку. Потом он отпустил меня, и я увидела, как он приветствует м-ра Херста, а м-р Херст приветствует его. Они были, словно давно не видевшие друг друга братья, и их разговор казался дружественным и оживленным. В конце концов появилась и Мэрион Дэвис, и все трое обнимались и улыбались. Если и была какая-то проблема, глядя на их дружбу, никак нельзя было представить себе ничего подобного.

Мы ушли задолго до того, как бал закончился, поскольку, как сказал Чарли, он увидел слишком много пар, одетых в костюмы

Наполеона и Жозефины, и ему это было неприятно.

По дороге домой Чарли сел назад и промолчал всю дорогу. Один раз я упомянула Мэрион Дэвис, а он отрезал: «Полный абсурд, дикость. А теперь помолчи». И остаток пути я молчала.

Глава 12

Мой ребенок толкался с такой силой, что вопрос, кто у меня будет, не возникал. Конечно, мальчик. Доктор был согласен с этим; более того, во время одного из осмотров ему послышался звук двух сердец. Кстати, примерно в то же время школьная система Лос-Анджелеса изменила свое отношение к принудительному образованию будущей мамы и отозвала моего учителя.

По мере того, как я стала раздаваться, Чарли все чаще избегал меня. Однажды вечером, когда он пригласил на ужин сводного брата Сидни и его жену Минни, я заметила, что Чарли не сидится на месте. Он с искренней нежностью относился к своему брату, который работал у него в студии мастером на все руки, он был при этом его первым управляющим в студии, еще даже до образования Chaplin Film Corporation. Именно Сидни помог Чарли совершить первую сделку на миллион долларов, и это не переставало изумлять Чарли. «Я был поражен, что Сидни знает столько об акциях, облигациях и капиталовложениях, — сказал он мне как-то. — Если бы не он, я никогда бы не заработал настоящих денег».

Сидни был на несколько лет старше Чарли, на полголовы выше и необычайно восприимчив. Он заметил, как Чарли нервничал в тот вечер, и позже, когда мы с ним остались на несколько минут наедине, сказал:

— Будь терпелива с Чарли, ты представить себе не можешь, насколько ему трудно. Он так боится за ребенка.

— Боится?

Он кивнул.

— Мы говорили с ним об этом. Когда его первый ребенок умер трех дней от роду, Чарли пережил страшную депрессию, и я не уверен, что он до сих пор оправился. Он считает, что это его вина, что ребенок родился больным и умер. Теперь, когда должен появиться второй ребенок, он уверен, что все повторится.

— Он говорил вам все это? — спросила я, а Сидни кивнул в ответ. — Почему же он мне не мог сказать?

— Потому что это Чарли. Уверен, тебе нелегко с ним, Лита. Но постарайся проявить максимум понимания. По большому счету Чарли хороший человек. Просто он сам не понимает этого.

Частично напряжение, связанное с «Золотой лихорадкой», уменьшилось, когда большая часть сцен была переснята к удовлетворению Чарли. Он пришел домой к ужину однажды вечером необычно оживленный и объяснил, какой груз наконец

свалился с его плеч, когда он вернулся к намеченному графику. Он даже пригласил меня с мамой прийти на съемочную площадку, чего не делал с тех времен, когда мы еще были неженаты. В ту же ночь он дал мне знак, что ждет меня в спальне. Я колебалась, главным образом из-за призрака Мэрион Дэвис, но пошла, и он был необычайно любящим. Теперь я была грузной и громоздкой, но он не упоминал об этом, даже в шутку. Я не испытывала особых ощущений, но притворилась, что они есть, и ему это было приятно.

На студии на следующий день я встретила Джорджию Хейл. Было что-то извращенное в том, чтобы видеть собственную замену, видеть ее в своей раздевалке и на площадке, где до этого была я, видеть, как с ней обходительны сотрудники компании — как еще совсем недавно были со мной. Но она казалась такой приветливой, что я не могла быть нелюбезной с ней. Я была мила, несмотря на мои подозрения — от которых никак не могла отделаться, — что она была дружна с Чарли не только на картине. Мне было стыдно так думать, ведь у меня не было никаких оснований, но после бала в отеле «Амбассадор» мое доверие к Чарли сильно пошатнулась.

Оказалось, что у Джорджии в тот день не было работы. Чарли уже много раз снимал и переснимал эпизоды с Маком Суэйном, но поскольку он считал эти сцены визуальным каркасом фильма, то настаивал на их повторении. Среди них была та знаменитая сцена, где Чарли на грани голодной смерти готовит на обед свой башмак. Несколькими месяцами раньше я наблюдала, как дни напролет он работал над этой сценой, и думала — как и все другие, — что она давно закончена и забыта. Но в тот день ему пришло в голову снимать все сначала.

Добиваясь совершенства, он варил огромный черный башмак в кастрюле, помешивал его, вынимал, раскладывал на блюде и начинал аккуратно разрезать, в то время как Мак зачарованно наблюдал. (К этой завороженности, как я узнала позже, примешивалось отвращение. Двумя месяцами раньше бедный Мак пять дней подряд упорно работал над этой сценой с поеданием башмака. Башмак и шнурки были сделаны из лакрицы, которую он — и Чарли тоже — после этого просто возненавидели. Тогда в течение пяти дней на съемках и пересъемках, происходивших одна за другой, он сидел на лакричной диете, а потом несколько дней вообще ничего не мог есть. То же самое было и с Чарли. И теперь им обоим опять предстояло пройти через все это. Чарли подал порцию башмака Маку, и они приступили к трапезе. Блистательный мастер превращал мерзкий башмак в аппетитное блюдо; Чарли нарезал его так, словно режет гвинейскую курицу,

наматывал шнурки на вилку, как спагетти, и при виде их пира вы бы не усомнились, что он приготовил королевское блюдо.

Все — и особенно Мак — вздохнули с облегчением, когда Чарли объявил: «Ну, вот, на этот раз, надеюсь, получилось». Потом он вспомнил, что на площадке нахожусь я, объявил перерыв и повел меня поздороваться с сотрудниками. Он был даже обходителен с мамой, и, казалось, гордится мной. Чего я не могла понять, так это той легкости, с какой он отключал это чувство гордости; так другой человек выключает свет.

Чтобы скоротать время, я начала с маминой помощью учиться шить. После чудовищных первых проб я сшила несколько платьев, вызвавших у Чарли восторженное одобрение. «Лита, это настоящее искусство! — восклицал он. — Они не хуже тех, что мы могли бы найти в Париже!». Конечно, они вовсе не были такими уж восхитительными, но их несомненным достоинством была дешевизна.

Меня всегда озадачивало отношение Чарли Чаплина к деньгам. Я знала, что его мучительная нищета в детстве, когда он редко знал наверняка, что ему удастся поесть, сильно способствовала его скаредности, доходившей порой до глупости. Помню, как много раз он говорил о том или ином человеке, которого оставила удача: «Вы только посмотрите на него? Было время, когда Голливуд был у его ног. Но он думал, что деньги так и будут течь рекой, и тратил их быстрее, чем они поступали, он не сделал ни одного вложения, не отложил ни пенни. Теперь он ждет подачек. Такого не случится со мной». И все же ничто не может объяснить его непоследовательности. Чарли был непостижим, он мог тратить огромные деньги на щедрые вечеринки, но при этом пользовался теннисным мячом еще долго после того, как тот терял последний ворс и переставал пружинить. Никто не знал, как он собирается распорядиться своим по праву заслуженным состоянием, и меньше всех он сам. Он мог сказать: «Мы идем к Голдвинам на ужин в следующий четверг», или: «Мы приглашены к супругам Де Милль», — не понимая, что хотя я не стремилась шикарно одеваться, но сам факт моего появления раз за разом в одних и тех же платьях отражался и на нем. Я говорила об этом Коно, который обещал довести это до внимания Чарли. И конечно, он не делал этого, но перед очередным мероприятием я доводила это до внимания Чарли сама.

Он велел Коно открыть для меня счет в недорогом универмаге.

Бывало, что Чарли приходил домой поздно ночью и, хотя,

вероятно, он был самым неутомимым тружеником в кино, я не могла поверить, что он проводил по шестнадцать-восемнадцать часов на студии день за днем без исключения. Будучи слишком робкой, для того чтобы начать выходить в свет и уличать его во встречах с другой женщиной, я стала проверять его довольно примитивным, но достаточно логичным способом. Я устраивала ему сюрпризы, неожиданно встречая его в его постели. Если он отговаривался тем, что слишком устал для секса, я высказывала предположение, что знаю, отчего он так устал. Если же он радовался моему присутствию и занимался любовью со мной, я говорила себе, что зря подозреваю его.

Обычно он был счастлив, обнаружив меня в постели, и любил меня. Но я не сразу поняла (хотя он с гордостью признавался мне в этом за многие месяцы до того), что он был сексуальным гигантом, о каком многие женщины могут только мечтать. Он был секс-машиной в образе человека, и даже в свои тридцать с лишним мог заниматься любовью по десять раз за ночь, а его шестой раз был таким же энергичным, как первый. Следовательно, с точки зрения возможности измены все это ничего не давало.

Маленькое частное расследование показывало, что меньше всего стоило опасаться Мэрион Дэвис. То, что они время от времени спали, было фактом, который я доказала для себя позже. Но в то время мне казалось очевидным, что чуждая предрассудков Мэрион относилась всерьез лишь к одному человеку — к Уильяму Рэндольфу Херсту, по крайней мере, по финансовым соображениям. Она держала дом в Беверли-Хиллз, а Херст проводил большую часть времени у себя в Сан-Симеоне. Но он был без ума от нее и осыпал ее всеми богатствами мира, и она не стала бы подвергать риску эту прекрасную ситуацию, втягиваясь в серьезные отношения с Чарли Чаплином, или с кем-либо вообще.

Беспокоили меня газетные сообщения о том, что он видится с такими экзотическими искусительницами, как Пола Негри. Пола Негри была восхитительной смесью немецких и польских кровей с амплуа сверхискушенной роковой женщины, для которой секс — средство разрушения. Я отнеслась к этому серьезно, особенно когда вспомнила, что Чарли как-то раз довольно много мне о ней рассказывал. Он называл ее самым чувственным животным, какое когда-либо встречал.

Я молилась, чтобы мне никогда не пришлось встретиться с ней лицом к лицу, но когда супруги Любич пригласили нас поужинать и посмотреть экранизацию «Запретного рая» (Forbidden Paradise), я узнала, что она тоже должна там быть. Я наотрез отказалась идти. Чарли требовал объяснить, почему.

— Чего ты боишься? — допрашивал он. — Ты знаешь Эрнста и Вивиан, которые были очень любезны с тобой. Ты знаешь некоторых других гостей, которые там будут. С какой стати ты вдруг предъявляешь ультиматум?

— Я не хочу встретить там твою подругу.

— Какую подругу, черт подери? Что за таинственность?

— Полу Негри. Я не хочу встречаться с ней.

— Полу? Почему, объясни ради бога!

— Потому что я думаю, что у вас с ней продолжается роман, и я умру, если мы окажемся все вместе в одной комнате.

Чарли на секунду потерял дар речи, а потом сказал:

— Что я теперь должен делать? Позвонить в сумасшедший дом и сказать, чтобы они приехали и забрали тебя? Что за бред, Лита? У меня роман с единственной дамой по имени «Золотая лихорадка», и она отнимает каждую секунду моего времени. А теперь прекрати этот идиотизм и иди одеваться!

То, что Пола Негри в 1925 году была самой популярной фам-фаталь экрана, было не случайно. Все на Paramount, кто имел с ней дело, жаловались на ее взрывы бешеного гнева и непомерные запросы. (Одного лимузина ей было мало, ей требовалось два, чтобы второй следовал за тем, в котором едет она.) Но это никак не влияло на ее огромный магнетизм. С того времени, как мы вошли в дом Любича в тот вечер, она была в центре внимания, даже когда не говорила ни слова. Она сидела во французском кресле, в сверкании бриллиантов и в скандальном декольте. Это была самая удивительная женщина, какую я когда-либо видела.

Я слышала и раньше о ее шокирующих соленых шутках, а сейчас она подтверждала правоту этих слухов. Ослепительно улыбаясь Чарли, она сказала:

— Шаррли, как приятно тебя видеть снова, сукин ты сын! — и театрально расцеловала его. После того, как я представилась ей, она кивнула, но было ясно, что ее внимание обращено на Чарли.

Всем, кроме меня, подавали коктейли. Хотя Любичи пытались завязать несколько раз какой-нибудь разговор, Пола Негри не допускала, чтобы даже на минуту она перестала быть центром внимания. Изо всех сил она играла роль королевы, и Чарли был явно очарован, несмотря на его отвращение к женщинам, которые сквернословили. Она деликатно прихлебывала свой мартини, изъясняясь трехэтажным матом. Потом, поставив стакан на мраморный столик, подавалась вперед, обнаруживая, как мало там осталось. Она брала сигарету с кофейного столика, откидывалась назад в кресле и держала ее с королевским видом, пока Чарли бежал через всю комнату, чтобы дать ей прикурить. Она нежно благодарила его, выдувая дым из ноздрей. Каждый ее

жест казался мне просчитанным. Все это было шито белыми нитками, но это действовало; Чарли, казалось, не понимал, что в комнате есть кто-то, кроме нее. Даже Любичи словно чувствовали себя немного лишними. Я была несчастна.

За ужином она несла пошлости своим гортанным голосом. Едва ли она говорила хоть что-то значимое или остроумное, но глаз от нее оторвать было невозможно. Контраст между распущенными черными волосами и чистой алебастровой кожей завораживал. Ее широко посаженные миндалевидные глаза были большими и темными, и она умело использовала свое сладострастное тело как оружие.

Перед десертом и кофе приехали два человека из студии Любича и начали устанавливать оборудование для просмотра фильма. Чарли и м-р Любич отлучились поговорить о делах, а минутой позже, извинившись, отошла и Вивиан Любич. Я обнаружила, что мы остались наедине с Полой. Она бросила на меня взгляд — кажется впервые.

— Итак, вы — миссис Чаплин, — произнесла она, изучая меня снизу доверху. — Скажите, как это вам удалось подцепить этого несносного, но очаровательного сукиного сына?

Я сказала нравоучительно:

— Не называйте его так.

Она сочла это забавным и, откинув назад свою роскошную голову, рассмеялась.

— Не перечь мне. Как хочу, так и грю. Меня все ругают, чо эт я так грю, а мне по фигу, что обо мне думают, поняла? — Я заставила себя кивнуть в ответ, а она добавила: — Шаррли такой шудесный. Тебе повезло, что ты его отхватила. Он такой секси.

Видя, что я шокирована, она встала и направилась в сторону сада, оставив тему подвешенной в воздухе. Вернулась Вивиан Любич и сказала:

— Надеюсь, Пола не расстроила вас, дорогая. Она ведет себя так раскованно, и часто это неправильно истолковывают. Конечно, мы-то все понимаем — вы знаете, как это бывает Эрнст считает ее просто божественной в работе.

Картина «Запретный рай», снятая Эрнстом Любичем с Полой Негри в главной роли, была готова к показу. Мы заняли наши места, и, к счастью, в течение полутора часов не было необходимости говорить с кем-либо. Я смогла забыть о своем кошмарном личном впечатлении от Полы Негри. Фильм был превосходный, и она тоже.

Я была рада, что никто не планировал засиживаться. Поле надо было рано утром звонить по телефону, Любич работал в жестком режиме над текущей картиной и котел быть в студии не

позже девяти, а Чарли как раз закончил последние съемки «Золотой лихорадки» и был готов начать разрезать негативы. Мы распрощались около одиннадцати, и пока шли по саду, слышали гортанный смех Полы и резкий звук ее голоса. В машине Чарли выдохнул:

— Удивительная женщина. Такая тупая и такая одаренная.

Кровь прилила к моим щекам:

— И очень хороша в постели, — добавила я.

— Ну, начинается! — нахмурился он. — Ты так и собираешься кипеть всякий раз при виде любой представительницы женского пола от восьми до восемнадцати?

— А что толку? — спросила я.

После того как мы приехали домой, Чарли показал себя никуда не годным актером.

— Да, хотел тебе сказать, — сообщил он, — я собираюсь провести некоторое время с моим старым другом, боксером Джорджем Карпентером. На этой неделе он выступает в театре Пантагеса. Я покажу ему достопримечательности. Будет лучше, если мы встретимся вдвоем, — понимаешь, «мужские разговоры». А потом у меня срочные дела с выставкой. Я побуду на студии, пока не закончу резать «Золотую лихорадку». Надеюсь, у тебя все будет хорошо.

— Да, у меня все будет прекрасно.

Казалось бы, недели перед рождением малыша для будущей молодой мамы должны быть самыми волнующими, но меня по мере приближения этого дня все больше переполняло чувство усталости, которое мне никак не удавалось стряхнуть с себя. Теперь регулярно приходил д-р Кайзер, новый врач, приглашенный Чарли; он постоянно осматривал меня и уверял нас с мамой, что беспокоиться не о чем. Одно меня волновало: казалась, я совершенно не способна бодрствовать. Я спала по 10–12 часов ночью, вставала, завтракала тостом с соком, и после этого чувствовала непреодолимую потребность лечь спать снова. Обязательно было нужно делать физические упражнения, это говорили мне и мама, и доктор, но у меня не было сил на них.

Чарли со мной не было. Он узнавал о моем состоянии через д-ра Кайзера и Коно, но не мог найти время увидеться со мной. По крайней мере, до того дня, когда узнал, что ко мне прорвался репортер Times Харрисон Кэрролл, который каким-то образом проник на территорию усадьбы и поджидал меня в саду.

Нельзя сказать, что мы были совершенно незнакомы с молодым и способным Харрисоном Кэрроллом, но при встрече моим первым порывом было — бежать, так как меня постоянно предупреждали, чтобы я не разговаривала ни с кем из

представителей прессы. Но Коно отсутствовал, мама была в доме, слуги занимались своими повседневными делами. У меня было ощущение, что Кэрролл отличается от других репортеров, а я отчаянно нуждалась в сочувствии и дружбе.

Он понимал, что я напугана, и начал с дружеской улыбки. «Я недавно женился, миссис Чаплин, — сообщил он. — Я говорю это, чтобы убедить вас в моем уважении к женщинам». Замечание было обезоруживающим, и я засмеялась. Он пояснил, что ему поручили написать о Чаплине в его газете, и что он приходил несколько раз на студию. Чарли был недоступен. Элф Ривз был приветлив и предложил репортеру посмотреть студию, но он хотел написать совсем о другом.

— Вы разошлись с Чаплином? — начал он с места в карьер.

— Разумеется, нет, — ответила я. — Что заставляет вас так думать?

— Просто ходят такие слухи.

Когда я нервно двинулась, собравшись уходить, он поспешно сказал:

— Минуточку, миссис Чаплин. Я должен объяснить кое-что. Я хочу, чтобы вы понимали положение репортера. Я хотел бы написать историю, не задевающую ничьих чувств — даже вашего мужа, если это возможно. Другие репортеры думают иначе. У них… да у нас всех есть подозрение, что ваш ребенок был зачат не после вашей женитьбы в Мехико.

Я открыла рот Я представить себе не могла, что наш секрет получил столь широкую огласку.

— …но другие хотят собрать факты и превратить историю в цирк. Вы не можете винить их. Когда человек рушит камеры, избегает прессы, демонстрирует неуважение к интересу публики, вполне естественно, что журналисты хотят показать его в худшем свете. Но так не должно быть. Я хочу сказать, что новости должны сообщать правду, но не ранить людей, о которых пишут Ваш муж не хотел ни с кем сотрудничать с самого начала, но еще не поздно.

Он зацепил меня за живое, и я попыталась удрать от него.

— Ради бога, простите, но… — взмолилась я. — Подождите, — сказал он. — Я действительно хочу быть вашим другом, пока другие не доберутся до вас и не оставят от вас мокрое место. Если вы хотите что-нибудь сказать мне — не обязательно для печати, — вы можете рассчитывать на мою осмотрительность.

— Мне нечего вам сказать, — кинула я и быстро направилась к дому, не решаясь оглянуться.

Наша встреча в саду не прошла незамеченной. Коно пришел

домой и позвонил Чарли на студию, и не прошло и часа, как Чарли появился дома.

— Как Кэрролл попал сюда? Чего он хотел? О чем он тебя спрашивал? Что ты ему сказала?

Я повторила вывод Кэрролла: он знает, что я была беременна еще до поездки в Мехико.

— Ах, он знает! — возмутился Чарли. — Тогда почему он не напечатает это в газете?

— Может быть, он боится причинить мне вред.

Чарли рассвирепел.

— Причинить тебе вред — а как насчет меня? Тебе нечего терять! Что ты сделала в своей жизни? Чего ты добилась? У меня карьера! Меня смотрит весь мир!

Теперь он стал больше времени бывать дома.

По-видимому, Харрисон Кэрролл решил проводить свой медовый месяц в машине на въезде в Коув-Вэй, с биноклем в руках и с молодой женой под боком. Если сообщениям в прессе о преждевременном рождении ребенка Чарли суждено было появиться, то он собирался первым объявить эту новость.

Чарли знал, что Кэрролл не отвяжется и что он принес телескоп. Последовала психологическая война между цепким журналистом и раздраженным Чарли. Ночь за ночью Чарли прилипал во тьме к окну на верхнем этаже, пригибался в машине и разговаривал сам с собой, как невменяемый. Однажды ночью я вошла и увидела, как он целится револьвером из окна. При виде оружия я расстроилась, хотя нелепость мелодраматической сцены с Чарли с пальцем на курке почти забавляла. Но мне было не до смеха при виде его возбужденного состояния и комичного бормотания.

— Я имею право выстрелить в любого идиота, который нарушит границы моих владений, — говорил он возмущенно, не понимая, насколько нелепо это звучит.

Поскольку роды должны были начаться уже в ближайшие недели, меня практически заперли на ключ. Усталость уступила место периодическим приступам паники. Я не боялась боли, но боялась иметь ребенка от Чарли без любви Чарли.

На восьмом месяце беременности мое волнение так усилилось, что проблема со сном поменяла свой полюс. Я проводила бессонные ночи, слоняясь из угла в угол; дом, который я так и не смогла назвать по-настоящему своим, превратился в тюрьму, и само сознание присутствия Коно стало почти невыносимым. Доктор Кайзер обратился к Чарли с предложением: в интересах благополучных родов мне лучше всего отправиться в какое-нибудь спокойное место, пока ребенок

не появится на свет.

К моему изумлению, Чарли арендовал для меня и мамы небольшой дом в Уайтли-Хейтс, неподалеку оттуда, где я родилась, и нанял пару восточных людей — Томи и Тоду — ухаживать за мной. Подобная щедрость повергла меня в изумление. Только спустя месяцы я узнала, что Чарли вбил себе в голову, что я могу умереть.

Нас отвезли в арендованный дом глубокой ночью, и почти сразу же я почувствовала освобождение: здесь не было неусыпного Харрисона Кэрролла. А самое главное — не было Коно, мучившего меня своим молчаливым наблюдением. Новые слуги, не в пример тем, что были в Коув-Вэй, вели себя словоохотливо и дружелюбно и делали все, чтобы сделать нашу жизнь с мамой приятной. Тода прекрасно готовил, а Томи была не только отличной горничной, но и талантливой парикмахершей.

Как ни странно, теперь Чарли навещал меня каждый день! Каждый раз он привозил что-нибудь — конфеты, фрукты, цветы. Он редко звонил раньше назначенного времени, но когда приезжал, то оставался иногда по нескольку часов, воодушевленно беседуя, задавая бесчисленные вопросы о моем самочувствии и о том, как ведет себя ребенок. У мамы снова затеплилась надежда, что наш брак имеет прекрасные перспективы, а я откровенно радовалась вниманию Чарли. Я шила симпатичную домашнюю одежду для себя, чувствуя себя несравненно лучше и радуясь, что Чарли радуется мне.

Эта радость, как и следовало ожидать от самого непредсказуемого человека на земле, вскоре стала физической; чем более бесформенной я становилась, — тем, казалось, и более неотразимой. Во время его третьего визита едва мама вышла из спальни, как он разделся и нырнул в постель. Сначала я была шокирована, но лишь потому, что именно так должна была реагировать по моим представлениям. В этот день и дни, последовавшие за ним, я больше не чувствовала себя одинокой.

Я все еще не могла забыть, как он назвал меня «маленькой потаскухой» в прошлом октябре в своем офисе, но слова утратили прежнюю остроту. Что ж, пусть так, если мне не придется остаться с ребенком на руках, когда никто, кроме мамы, не любит меня и не заботится обо мне.

Доктор Кайзер часто навещал меня, когда в доме был Чарли. После обычного осмотра следовали наставления: делать зарядку, никаких переживаний, максимальный отдых. Во время одного из его визитов у них с Чарли состоялся долгий разговор в холле. Я слышала только отдельные слова, но было ясно, что у них какие-

то разногласия. Казалось, Чарли отклонял предложение, на котором настаивал д-р Кайзер. Спор продолжался до тех пор, пока, похоже, доктор не принял точку зрении Чарли. Я понятия не имела, о чем они толковали, но поняла, что для Чарли важно, чтобы все думали, что ребенок родится еще только через шесть-десять недель. Чарли отчаянно старался утаить правду.

На рассвете 4 мая 1925 года я проснулась от боли и сразу же поняла, что начинаются роды.

Мама оставила меня на попечение Томи, а сама побежала звонить Чарли. Потом она поторопилась вернуться и сообщить мне, что локомобиль прибудет немедленно: Чарли хотел, чтобы ребенок родился в большом доме, а не в чужой арендованной хибаре.

Мама и Томи упаковали небольшой чемодан и укутали меня в тяжелое пальто. Через полчаса лимузин прибыл, и они помогли мне спуститься по лестнице. Мы вышли на улицу втроем в сопровождении Тоды, уверяющего меня, что он позаботится о доме, и у меня родится сын, а может быть и два.

Путь в Коув-Вэй казался бесконечным. Боль то приходила, то отступала, но я была полна дурных предчувствий. Мама стискивала мою руку, а Томи постоянно промокала мой лоб и шею носовым платком. Наконец мы подъехали к дому. Мы с облегчением вздохнули, когда машина нырнула в открытые ворота, и один из слуг сразу же запер их.

Сам Чарли стоял перед домом, готовый открыть дверь и помочь мне выйти из машины. Он провел меня к лестнице, успокаивая шепотом: «Все под контролем, Лита. Доктор Кайзер предупрежден и уже едет сюда». В середине лестницы мне пришлось остановиться, так как боль в спине была нестерпимой. Чарли побелел. Когда боль ослабела, я заставила себя улыбнуться, чтобы успокоить его.

Он проводил меня в спальню в северной стороне дома, подготовленную для родов. Там были хирургические инструменты, фарфоровые тазы, специальное освещение, боксы со стерильными материалами, газовая плита с двумя горелками, детская ванночка и даже аппарат искусственной вентиляции легких. Когда мама и Томи устроили меня, насколько это было возможно, поудобнее, Чарли взял часы и начал следить за временем схваток. Они происходили с интервалами порядка пятнадцати минут, и Чарли явно вздохнул с облегчением, когда появился доктор.

Доктор Кайзер отослал Чарли из комнаты и осмотрел меня. «Нам предстоит долгое ожидание, — сказал он маме. — Не думаю, что она родит раньше чем через двенадцать-пятнадцать

часов». Он спросил меня: «Больно?» — хотя ответ был очевиден. Я кивнула. Он сделал мне обезболивающие уколы в каждую ногу и показал, как дышать во время схваток. Потом они с мамой привязали несколько простыней к спинке кровати, так чтобы я тянула за них во время схваток. Наконец он пояснил: «Так она будет еще целый день, но уколы помогут. Советую вам пойти позавтракать, миссис Спайсер». Он вышел из комнаты.

Уколы не очень помогали. Каждые пятнадцать минут возвращалась боль, и каждый раз я скручивала и тянула простыни. Мама и Томи осушали ручьи пота, которые текли с меня, и пытались успокоить. Чарли продолжал заглядывать, он казался взволнованным и беспомощным, но утешал меня, что все будет в порядке, что скоро все закончится, и что я молодец. Это были банальности, но я была рада им. Он держал мою руку и говорил со мной, а потом снова исчезал. Уже ближе к вечеру доктор сделал мне еще инъекции от боли. Они не помогали. Во всяком случае, схватки становились все более мучительными.

К одиннадцати часам вечера схватки стали повторяться каждые пять минут, но и тогда д-р Кайзер сказал, что впереди еще несколько часов. Чарли застыл в кресле, приготовившись к суровым испытаниям. Мама сидела подле меня, держа за руку, и с каждым моим стоном ее лицо искажалось.

Наконец время пришло, д-р Кайзер снова выпроводил моего мужа из комнаты, сделал мне еще обезболивающее и сказал твердо: «При каждой схватке тужься. И не прекращай делать это, пока боль не отступит. Между схватками набирайся сил для следующего раза».

Теперь боль была такой ужасной, что я не могла понять, как все еще остаюсь живой. Мама начала паниковать, когда мне ее помощь была нужнее всего, она закричала: «Я не могу больше выносить эти страдания!» — и выбежала из комнаты. Схватки становились все чаще, через пять минут, через четыре, через три, и потом в течение еще одного часа, казавшегося вечностью, интервал между схватками был всего минута. Я едва переводила дух. Только заканчивалась боль, разрывающая мою спину, как приближалась следующая волна. Я извивалась и визжала от боли.

Доктор надел резиновые перчатки и надел на мой нос конический предмет с марлей. «Вдыхай, Лита, не переставай дышать», — повторял он. Я вдохнула пары эфира и следующие несколько минут была словно в тумане. Я слышала голоса и чувствовала тупую боль, но не понимала, что он делает. Вернулась мама, и я снова ощущала, как ее рука крепко сжимает мою.

Не успела я и глазом моргнуть, как увидела своего ребенка.

Несмотря на эфир, что-то в лице доктора насторожило меня. Он яростно шлепал моего ребенка по ягодицам, промывал его рот и нос и окунал то в горячую воду, то в холодную, и снова в горячую, в холодную… Я с трудом поднялась на локтях. Разве ребенок не должен кричать, когда рождается, или они не всегда кричат, когда начинают дышать? Я услышала чье-то испуганное завывание и поняла, что оно исходило от меня.

Мой ребенок был мальчиком.

И он не дышал.

Мама и Томи держали меня, а доктор быстро накинул марлю на распухший маленький ротик и начал вдыхать воздух в легкие моего ребенка.

Но ничего не получалось. Он снова сделал попытку, вдох, выдох, вдох, выдох… и снова ничего.

— Мама, он мертвый, — сказала я. — Мой ребенок мертвый!

И новая попытка. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. И, наконец, крик.

Мой ребенок дышал. И кричал.

От облегчения и благодарности я заверещала, как безумная, а потом потянулась вперед посмотреть на крошечное личико. Глазки были опухшие, а маленькое тельце искажено борьбой за жизнь, я плакала и смеялась, а потом упала в подушки, преисполненная усталости и благодарности.

Я снова провалилась в полубессознательное состояние. Голос доктора был далеко, но я слышала, как он сказал маме: «Так, сюда, запеленаем его. Я займусь пуповиной». Потом мне дали попить, и я почувствовала, как руки доктора давят мне на живот. Тогда я отключилась.

Я очнулась в два часа пополудни. Мама стояла подле меня и держала малыша в руках. По ее улыбке я поняла, что все в порядке.

— Вот, милая, — произнесла она. — Ухаживай за своим красавцем.

Я кормила его, восхищаясь им. Я спросила, здесь ли Чарли.

— Да, он был здесь, — ответила мама, — он заглядывал, а потом спустился вниз пообедать. Он сказал Томи, что пойдет спать. Думаю, он в своей комнате.

— Мама, он казался… счастливым?

— А почему бы ему не быть счастливым? — сказала она. И я не сразу поняла, что она не дала мне ответа.

При всей искренней радости отцовства, Чарли решил быть практичным. Последние сутки он и д-р Кайзер много спорили.

«Вы один можете мне помочь, — настаивал он. — Ребенок через шесть месяцев после свадьбы — конец моей карьере».

Они спорили и спорили, пока доктор не сдался. У него был домик в горах Сан-Бернандино, где я могла скрыться.

И за вознаграждение он выдаст фальшивое свидетельство о рождении. Он напишет, что мой ребенок родился 28 июня 1925 года, вместо 5 мая.

Глава 13

Что заставляло нас согласиться скрываться, словно мы — преступники? Мама пошла на это, потому что ее отношения с Чарли достигли той точки, когда он мог говорить ей что угодно. Я смирилась, потому что у меня не было выбора. Я все еще не умела возражать Чарли по сколько-нибудь важному вопросу. Мы согласились уехать, как только мне и ребенку будет безопасно путешествовать.

Одно грело душу — это всепоглощающее внимание, которое он уделял ребенку. Он боялся взять его на руки или даже притронуться к нему, но он мог стоять у колыбели и квохтать: «Разве это не чудесно… это мой сын!» Я хотела, чтобы ребенка назвали его именем. Он не считал это хорошей идеей, рассуждая, что дети, которые носят имена знаменитых родителей, с самого рождения несут крест. «В любом случае, у нас есть масса времени на то, чтобы рассмотреть варианты. Официально этот ребенок не родится в ближайшие шесть-десять недель».

Девятого мая, через четыре дня после родов, Коно сообщил, что Харрисон Кэрролл по-прежнему дежурит перед въездом на Коув-Вэй. Чарли решил действовать. Он вызвал д-ра Кайзера по телефону и дал нам с мамой указания: «Соберите все необходимое. Когда вы будете в доме, ни с кем не общайтесь, кроме меня и доктора. Я приеду навестить вас, если смогу. А теперь поторапливайтесь!»

Поскольку ехать с шофером было рискованно, Чарли разработал изощренный план. Доктор Кайзер поведет машину, а мама, ребенок и я последуем за ним в мамином «Студебекере». По сигналу мы вышли из дома через боковую дверь, где в машине нас ждал доктор. Пока мы ехали за ним по крутой дороге в маминой машине, я крепко прижимала к себе ребенка и сидела, пригнувшись, так чтобы в случае, если Кэрролл окажется на своем посту, он не увидел меня.

— Зачем мы это делаем, мама? — спросила я. — Мы ведем себя, как идиоты.

— Нет, это не так, — горячо возразила она. — Воспринимай это как приключение.

Я посмотрела на нее так, словно она сошла с ума.

Поездка в Сан-Бернандино заняла два часа по шоссе, а потом еще час по неасфальтированным горным дорогам. Доктор Кайзер проводил нас в бревенчатый домик, окна и двери которого были обиты гнилыми досками, словно он с трудом перезимовал. Я нежно прижимала к себе ребенка и ждала, когда доктор выйдет из

своей машины, а мама — из нашей. День был холодный и тяжелая роса покрывала землю и листву. С виду в лачуге было ненамного теплее, чем снаружи, но и холоднее едва ли могло быть, поэтому, хорошенько укутав ребенка в одеяло, я вышла из машины и направилась к двери, на которой доски держались на одном или двух ржавых гвоздях.

Извиняющимся голосом доктор пояснил: «Мы с друзьями используем дом для охоты или рыбалки, но только летом. Сейчас тут должно быть очень грязно и сыро, но все поправимо. Давайте войдем и посмотрим». Он оторвал доски и открыл дверь.

Внутри действительно было грязно, сыро и невероятно уныло. Пока мама и доктор разжигали огонь в камине, единственный свет в гостиной исходил от грубого сооружения, подвешенного к потолку на ржавой цепи. Доктор вел себя беспокойно, словно хотел уехать как можно быстрее, и выглядел как человек, которому стыдно за то, на что он пошел ради денег. «Места здесь немного, — сказал он. — Но все есть, и ребенку будет хорошо. Есть много консервов, кастрюли, сковородки, тарелки и все такое. Моющие средства, поленья и газеты там, на заднем крыльце. Если вам сложно разжигать огонь, для обогрева можно использовать печь. Здесь нет телефона, но вам ничего не понадобится. Я обязательно вернусь в пятницу вечером и привезу все необходимое».

Он вышел, а через минуту жужжание мотора затихло, и воцарилась тишина. В камине потрескивало полено. Ребенок начал плакать.

В горном домике не было горячей воды, ковров на полу и привычного кухонного оборудования, зато были удобные кровати, достаточное количество одеял и граммофон с множеством пластинок. Как только я пришла в себя от унижения из-за ощущения, что меня выкинули на задворки цивилизации, я должна была признать, что ландшафт великолепен. На деревьях и кустах распускались свежие весенние побеги, а зеленые косогоры пестрели дикими цветами.

Мы принялись за обычные дела. Когда ребенок спал, а делал он это большую часть времени, мы занимались домашней работой, ловили нежные лучи солнца, слушали граммофон и рано отправлялись отдыхать. Я чувствовала себя прекрасно. Впервые за год я была способна не думать бесконечно о Чарли. Это удивляло меня и радовало, так как я обнаружила, что, не зацикливаясь на нем — на обожании, ненависти или страхе, — я не разрушаю себя. Я могла быть собой. Я могла отдавать себя ребенку — моему ребенку.

Д-р Кайзер приехал в пятницу и привез детские вещи и некоторые другие предметы первой необходимости. Он осмотрел меня, взвесил ребенка, нашел нас обоих в добром здравии, сказал, что ребенок набирает вес нормально, и собрался уезжать. Я спросила его, видел ли он Чарли, и не передавал ли тот мне что-нибудь на словах.

«Он очень занят и, наверное, у него не будет возможности приехать сюда, но он передает самые лучшие пожелания», — ответил доктор и ретировался, оставив нас в этом забытом богом месте.

Временами я подолгу слушала пластинки. Иногда, когда мама купала ребенка в тазу, я ложилась на одеяле возле дома и наблюдала, как насекомые строят свои летние домики, а потом поворачивалась на спину и смотрела, как птицы парят над вершинами деревьев. В таком бездумном состоянии легче было верить, что мое пребывание здесь не унизительно, и что я должна безоговорочно слушаться мужа.

К концу второй недели мама посетовала, что у нас на исходе бакалея, и отправилась на машине вниз по дороге. Некоторое время спустя она вернулась с провизией и с новостью, что ее появление в небольшом магазине, который она нашла, вызвало некоторое любопытство. В следующую пятницу д-р Кайзер приехал снова и опять привез продукты, опять осмотрел нас и заверил, что все отлично, и по-прежнему не передал никаких новостей от Чарли, за исключением привета и лучших пожеланий. Лучших пожеланий. И на этот раз снова, засмущавшись, он поспешно засобирался уходить.

В следующую среду в дверь постучал человек и любезно попросил д-ра Кайзера: он играл с ним в прошлое лето в покер и, проезжая мимо, увидел дым из трубы. Просто зашел поздороваться. Никак не называя себя, мама объяснила, что доктор не появится в ближайшие пару дней. Потом, когда человек ушел, и она была уверена, что он не вернется, она поехала в магазин, позвонила Чарли и рассказала ему о случившемся. Ей было велено паковать вещи и ждать, пока за нами заедут Коно с Франком. Он ни слова не спросил ни о ребенке, ни обо мне.

Коно с шофером приехали на следующее утро и отвезли нас — маму и меня с малышом в «Студебекере» в двухэтажный дом на Манхэттен-бич, который для нас в считанные часы арендовала под вымышленным именем жена Элфа Ривза, Эмми. Здесь мы по-прежнему не были дома, но это был огромный прогресс по сравнению с вынужденной сельской жизнью. Дом смотрел на море, и лишь прибрежный бульвар отделял его от песчаного пляжа. Звук набегающих волн, разбивающихся в белую пену,

облегчал душу после тишины гор.

Эмми Ривз была прекрасной женщиной, готовой сделать что угодно для Чарли, который привез Элфа из Англии в Калифорнию управлять студией. В распоряжении Чарли были адвокаты и банки, чтобы поддерживать порядок в его денежных средствах, а его брат, Сидней, занимался его капиталовложениями; но именно Элф подписывал платежные ведомости компании, платил по всем счетам и отчитывался за каждый пенни. Эмми прошла с нами в дом и была бодра и весела. Обо мне заботились, и с ребенком было все прекрасно, но я была глубоко задета тем, что Чарли оставался в стороне и даже просто не позвонил. Он заявил в официальном пресс-релизе, что появление ребенка ожидается 28 июня, и очевидно настроился, что до этого момента никто не потревожит его, даже ненамеренно.

Двадцать четвертого июня неожиданно меня начало лихорадить, а в моей левой груди появился болезненный ком. У меня началось кровотечение, а боль по всей груди была такая острая, что было невыносимо малейшее прикосновение к ней. Сразу же ребенка пришлось перевести на кормление из бутылочки.

К двум часам ночи мое состояние настолько ухудшилось, что Эмми позвонила Чарли и велела ему немедленно приехать с доктором. Она описала мои симптомы, и Чарли обещал перезвонить.

Примерно через полчаса он позвонил: «Нам понадобится не менее полутора часов, чтобы добраться туда, но я выезжаю прямо сейчас. Я должен заехать за доктором».

Они прибыли в четыре часа, и доктор Кайзер немедленно принялся останавливать кровотечение. Когда я рожала, боли были ужасные, но были передышки. Сейчас же боль была устойчивой и непрерывной. Доктор поставил мне градусник и осмотрел угрожающего вида багровое пятно на моей груди. «У нее затвердение, слишком много молока, — заявил он и достал из своего саквояжа молокоотсос. — Это и массаж должны помочь».

Глаза Чарли наполнились ужасом, когда доктор сообщил мою температуру: «Сорок градусов. Она совсем плоха. Жар не спадет, пока мы не избавимся от очага». Сняв пиджак, он закатал рукава и сказал безумно встревоженной маме: «Принесите мне немного масла, лучше всего оливкового».

Не глядя на меня, Чарли спросил, насколько серьезно мое состояние.

«Грудь полна молока, и его нужно по мере образования

постоянно сцеживать, — ответил он. — С помощью массажа затвердение можно убрать». К тому времени, как вернулась мама с маслом, д-р Кайзер работал насосом, а я стонала от боли. Сцедив из груди молоко, насколько смог, он начал втирать масло, нажимая на затвердение пальцами так, что из глаз моих потекли слезы, а тело покрылось испариной.

Я хваталась за края матраса и крепко сжимала их. «Еще немного, — повторял он. — Еще чуть-чуть, скоро закончим».

К рассвету температура снизилась до тридцати семи, и это говорило о том, что дела пошли на поправку.

Это была ужасная ночь. Доктор массировал и массировал мою грудь, пока его руки не перестали ему подчиняться, а я дрожала, обливалась потом и кричала все это время. Но затвердение ушло, и с кровотечением удалось справиться.

Большую часть дня я спала, а проснулась в сумерки. Мама и Эмми сидели в полутьме у окна, никто и не подумал включить свет. Мама подошла ко мне. «Ну, проснулась наконец», — сказала она с облегчением. Ее лицо казалось измученным до предела.

Эмми выскользнула из комнаты, и через минуту или две в комнату вошел Чарли с бульоном и крекерами на подносе. Он сделал знак маме, и она удалилась. Потом, сидя на краешке кровати, он начал кормить меня.

— Это подкрепит тебя, — сказал он, и его скупая, усталая улыбка походила на сочувствие.

— Сколько времени ты пробудешь здесь? — спросила я.

— Я не уехал. Доктор уехал некоторое время назад. Он считает, что все в порядке. Я не хотел уезжать, пока ты не проснешься. Я хотел убедиться собственными глазами, что все хорошо. И это так.

Когда я смогла найти слова, я сказала:

— Так ты не ненавидишь меня…

— Ненависть? Никогда у меня не было к тебе ненависти!

Преисполненная благодарности, я дала ему накормить себя бульоном. Наконец я осмелилась спросить:

— Когда мы сможем поехать домой?

— Завтра, если ты будешь в состоянии, — ответил он. — Ты и мой сын уже достаточно долго были вдали от дома.

Жизнь дома означала совершенно новый опыт с неугомонным Чарли. Казалось, словно и не было никакого разлада между нами со дня нашей встречи. Он стал так внимателен и заботлив — при этом постоянно, — что я была потрясена. «Золотая лихорадка» должна была выйти в августе, но он проводил много времени дома, следя за тем, чтобы все мои желания и потребности

исполнялись. Еще больше я была потрясена, когда двадцать восьмого июня он объявил прессе о рождении своего сына Чарльза Чаплина младшего. Он сам отклонил это имя, когда я предлагала его, и больше я об этом не заикалась, но очевидно, он пришел к выводу, что имя приемлемо. Было очевидно, что он любит ребенка, хотя по-прежнему боялся брать его на руки, и каждое утро, прежде чем уйти на студию, он приходил и смотрел на него с восторгом и благоговением. Казалось, особенно трогало его сходство между ребенком и им самим. «Посмотри на его уши, они совершенно такие же, как мои! — восклицал он. — Даже загривок у него такой же, как мой».

В один из таких дней он зашел к нам в новом легком костюме и склонился над кроватью, рассматривая Чарли-младшего, который лежал раздетый и радостно сучил ножками. Неожиданно мощный фонтан оросил новый костюм Чарли, и он импульсивно отпрянул. Уже через секунду Чарли смеялся так неукротимо, что повалился на кровать, обнимая одной рукой меня, а другой — нашего сына. Он смеялся и смеялся, а я смеялась вместе с ним, потом мы затихали, и после передышки один из нас начинал смеяться вновь, а другой вторил. Наконец он встал, застегнул пиджак и объявил с широкой улыбкой: «Уж не знаю, что бы это значило, но мне надо идти работать».

Я указала на его испачканный костюм.

— Ты, конечно, переоденешься?

— Переоденусь? — он был поражен. — Мой сын описал мой костюм! Я собираюсь предъявлять это всем, кого повстречаю!

Никаких фотографий Чарли-младшего не показывали публике, хотя Джим Тулли охотно выдавал представителям прессы груды материалов о счастливом семействе. И, учитывая, как изменилось поведение Чарли по отношению ко мне, у меня не было никаких сомнений в том, что он действительно счастлив. Теперь он снова был нежен со мной. Он разговаривал со мной так тепло и участливо, как когда-то, еще до нашей женитьбы.

Со мной тоже произошло нечто неожиданное, и это меня поглощало полностью: я желала секса с Чарли. Много секса.

Безусловно, у меня и раньше бывали подобные приливы нежности и вожделения к нему, когда одно лишь знание о предстоящей любовной встрече с ним опьяняло меня. Но тут было другое. Мои желания в прошлом щедро сдабривались мыслями о романтической и возвышенной любви. Сейчас же я хотела телесной любви, хотела, чтобы он обладал мною. Когда я не занималась ребенком, я проводила удивительно много времени, испытывая неотступное желание, и оно было гораздо более настоятельным и плотским, чем прежде. Я слышала, что такое

необузданное влечение может овладевать женщиной, которая недавно родила. Ничего не могу сказать о других женщинах, знаю только, что не могла дождаться близости с ним. И это было не так, как обычно.

Чарли был всегда расположен к сексу, и его явно впечатлял мой голод. Я по-прежнему сопротивлялась одной разновидности оральной игры, несмотря на то, что именно этого он больше всего от меня и хотел, но в остальном никаких ограничений не было. Я удивляла его — и даже себя — своей изобретательностью и даже агрессивностью. Я придумывала изощренные игры, ублажая Чарли и заставляя его восхищенно говорить: «Ты самая фантастическая девушка на свете, Лита. Ничего подобного я раньше не встречал».

В любое другое время такой комплимент не заставил бы меня гордиться. Но теперь, хотя никакие имена не упоминались, я чувствовала, что обошла Полу Негри и других секс-символов, которых знал Чарли. И победа в этом конкурсе меня возбуждала.

И еще одну победу я одержала — над самой собой. После рождения Чарли-младшего я наконец начала достигать оргазма, и это наслаждение делало меня все более жадной. Кровать, на которой мы теперь спали вместе каждую ночь, превратилась в арену, а Чарли постоянно недоумевал: что меня превратило из довольно вялой партнерши в такую ненасытную.

Неделями мы предавались безумию, оставаясь вместе, и не знали покоя, оказываясь порознь. Прошло больше года с того момента, как мы впервые прикоснулись друг к другу, но мы словно только теперь открыли, каким прекрасным может быть секс. Непонятно почему, но, к моей огромной радости, я стала чуть ли не воплощением одержимой сексом нимфетки. В моем воспаленном мозгу как-то раз возникла мысль, что чем более насыщены эротикой наши отношения с Чарли, тем меньше его глаза обращены на других, но никогда я не вела себя с расчетом.

Что касается Чарли, в отношениях с разными женщинами, по слухам — а ничего другого я не знаю, — он демонстрировал схожие повадки; но могу сказать с уверенностью, что со мной он следовал некоторым непоколебимым правилам. Те вещи, которые могут взволновать многих мужчин, для него были банальными и, следовательно, исключались. Кроме той ночи, когда он цитировал мне «Фанни Хилл», он никогда не употреблял нецензурных слов или скабрезных образов ни до, ни в процессе акта любви. А однажды, когда я попыталась возбудить его несколькими отборными словечками и вызывающе предложила себя, он велел прекратить, заявив с пафосом, что это недопустимо. Порнографические изображения и тексты, призванные

стимулировать сексуальное возбуждение, ему явно наскучили, и он не был фетишистом. Если его друзья вдохновенно рассуждали о женских ножках, бедрах или груди, он разочарованно отмечал не только их грубость, но и, как он называл это, «жалкую провинциальность». Чарли был сенсуалистом; почти все, связанное с чувствами могло его завести — нежный аромат, шорох тафты, особый взгляд.

Как только я вернулась к прежнему, двенадцатому размеру одежды, он стал охотно выводить меня на люди. Мама была целиком за, так как это позволяло ей больше времени проводить, нянчась с малышом. Однажды выдалась такая неделя, когда Чарли взял меня и на концерт Вагнера в «Голливуд-Боул», и на кинопремьеру в китайский кинотеатр Граумана, и на ужин в отель «Балтимор».

В тот вечер, когда мы ужинали в отеле «Балтимор», мы ждали перед входом машину, когда появился Коно с конвертом. Чарли вытащил из него карточку и прочитал вслух: «М-р Уильям Рэндольф Херст имеет честь пригласить вас в „Сан-Симеон“, на уик-энд двадцатого августа. Подразумевается, что вы привезете с собой костюм для верховой езды, купальник и спортивную одежду».

Он казался воодушевленным и надел свою соломенную шляпу. «Ну, это должно быть нечто! Я всегда хотел увидеть „Сан-Симеон“».

Когда мы приехали в «Балтимор», мы обнаружили, что зал полон знаменитостей, но Чарли настаивал на выборе столика на нижнем уровне, подальше от танцевальной зоны. Он был в превосходном расположении духа, заказывая ужин, но едва официант ушел, его лицо стало почти алым от сдерживаемого гнева.

— На кого ты смотришь? — спросил он.

Я наблюдала за танцующими, и его резкий тон обескуражил меня.

— На кого смотрю? — переспросила я. — Ни на кого конкретно.

— Брось, пожалуйста, ты смотришь на парня, танцующего с Джейн Питерс.

Я удивилась, как он мог видеть так далеко, — лично я не видела. Я узнала Джейн Питерс, комедийную актрису, чье профессиональное имя вскоре сменилось на Кэрол Ломбард, только после того, как он раздраженно указал на нее. Я не узнала мужчину, танцевавшего с ней, и не увидела в нем ничего достойного особого внимания и сказала об этом.

— В чем ты меня обвиняешь? — спросила я. — И зачем ты это

делаешь?

— Зачем ты отрицаешь, что смотрела на него?

Он вел себя так странно, что я не могла понять стоит ли мне рассердиться.

— Это глупо, — сказала я резко. — И если ты намерен и дальше продолжать это, лучше отвези меня домой.

— Прекрасно, — сказал он холодно. — Только для начала я съем ужин.

Ужин прошел в напряженном молчании. После того, как он оплатил чек — оставив по своему обыкновению ровно десять процентов чаевых, — он поднялся из-за стола, взял мои перчатки и сумку, протянул их мне и под руку вывел через роскошную арку из отеля. Я думала, он покончил с этим нелепым недоразумением, но в машине он начал все сначала.

— Я хочу знать, почему ты смотрела на партнера Джейн Питерс.

Слишком злая, чтобы говорить что-либо, я схватила его соломенную шляпу, бросила ее на пол машины и проехалась по ней своим высоким каблуком.

Странно, но Чарли не выглядел рассерженным, или даже недовольным. Он казался возбужденным.

Он обхватил меня руками, уткнулся ртом в мою щеку и прошептал: «Поцелуй меня, Лита. Поцелуй так, как я учил тебя…» Его губы были такими теплыми, а прикосновение таким нежным, что я повернулась к нему, прежде чем сообразила, что происходит. Наши губы встретились, и мы сжали друг друга в непреодолимой страсти. Он что-то бормотал, чего я не могла разобрать, но я понимала его и энергично кивала в ответ. Он потянулся и закрыл штору, отделявшую нас от водителя.

Чарли явно выдвинул это глупое обвинение в «Балтиморе», чтобы взбесить меня, поскольку мой гнев возбуждал его. Теперь, когда я разгадала его уловку, я действительно могла разозлиться. Но нет. Мы занимались любовью на заднем сиденьи машины, и это было хорошо, как никогда…

Когда мы собрались ехать на уик-энд в «Сан-Симеон», у меня возникли некоторые опасения, так как я знала, что там должна быть Мэрион Дэвис. Чего я не знала, так это того, что опять беременна. Не знала я и того, что по большей части именно из-за этой второй беременности наш брак отныне был обречен.

Глава 14

Нельзя сказать, что приезжать в Сан-Симеон на собственной машине было запрещено, но м-р Херст предпочитал делать все по-своему. Чтобы не омрачать его настроения, все приглашенные на уик-энд собирались и назначенное время в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, где их ждали лимузины «Кадиллак». Каждому выделялся свой лимузин с шофером, и после этого все длинной шеренгой ехали на север города, до самого берега и замка. Это напоминало свадебный или похоронный кортеж и было весьма впечатляюще.

Впрочем, назвать Сан-Симеон впечатляющим — значит, не сказать ничего. Территория, на которой располагался замок, составляла тогда девяносто шесть тысяч гектаров земли, и ее протяженность вдоль океана насчитывала около восьмидесяти километров. Когда мы приблизились к основанию холма, мы увидели груду контейнеров на площади величиной в городской квартал; позже нам сказали, что в них содержались фрагменты итальянских церквей, предназначенных для последующей сборки. Конечно, я была взволнована, когда мы приблизились к замку, но Чарли, казалось, был просто в трансе. Обычно нетерпимый к показухе, он смотрел через окно машины, как бедняк, готовый предстать перед принцем.

Как ни странно, Уильям Рэндольф Херст приветствовал нас всех не как принц, а как заботливый хозяин, который был скорее смущен этой потрясающей демонстрацией богатства. Мы въехали дорогой, ведущей к главному зданию, называемому Дайнинг-Холл, а потом нам показали квартиры в наших гостевых домах, обращенных к Тихому океану, с обещанием, что тем из нас, кто здесь впервые, после обеда покажут окрестности.

Потолок в доме, где мы разместились с Чарли, был обшит золотыми листами. Огромную кровать покрывал гобелен, а стены украшала жизнерадостная французская живопись. Вид на океан был роскошный. Пока один из слуг, который привел нас сюда, начал проворно распаковывать багаж, Чарли позвал меня осмотреть ванную комнату, облицованную черным мрамором, и с массивной золотой раковиной. «Могло ли тебе даже присниться подобное?»

Еще большее благоговение вызвали у него две кнопки, обнаруженные им в ванной комнате. Если вам требовались услуги камердинера, например, почистить одежду, вы нажимали на одну кнопку, если же хотели поесть или выпить что-нибудь — на другую. Он нажал на обе, и через три минуты в дверях стояли и

камердинер, и горничная. Он отдал камердинеру одежду, чтобы ее погладили, и попросил горничную принести виски с содовой. Ожидая их возвращения, он наслаждался роскошью. «Вот как надо жить!» — восклицал он. Казалось невероятным, что это тот самый человек, который искренне сочувствует миллионам голодающих и проявляет несомненный интерес к социалистическим экспериментам, призванным покончить с захватом земли лендлордами. И наоборот, казалось, еще труднее поверить, что этот человек, который был куда большим миллионером и при желании мог позволить себе бесконечную роскошь, вел себя в этих условиях, словно деревенщина.

Напитки принесли в считанные минуты. Когда я вышла из душа, стакан был едва почат, но это было неважно, мой муж доказал то, что хотел доказать.

Мы оделись к обеду в повседневную одежду, и нас проводили в относительно небольшую обеденную зону, где был накрыт стол на пятнадцать человек — четырнадцать гостей и д-ра Херста. В плавательном клубе «Санта-Моника» и в других подобных местах я встречала Грету Гарбо и Джона Гилберта, и, разумеется, я встречала Мэрион Дэвис. Сейчас она влетела в комнату с уверенным видом гостьи, бывшей на самом деле хозяйкой. Меня представили остальным, среди них были Норма Толмедж, одна из самых высокооплачиваемых кинозвезд того времени; писатель Дональд Огден Стюарт, врач Роберт Милликен, который, казалось, чувствовал себя довольно одиноко среди людей, свободно общавшихся в силу сходных профессиональных интересов, связанных с искусством и СМИ.

За столом могли разместиться пятьдесят человек, и было жутковато видеть тридцать пять пустых стульев. У каждого конца стола стоял дворецкий, и, несмотря на непринужденный стиль одежды и обещанный обычный обед, я чувствовала себя не более раскрепощенно, чем в Букингемском дворце, который, между прочим, выглядит достаточно непритязательно в сравнении с Сан-Симеоном. М-р Херст усадил нас по собственному усмотрению, а сам сидел рядом с Мэрион по правую руку. Он разместил нас с Чарли ближе к противоположному концу стола, что, как нетрудно было заметить, вовсе не понравилось Чарли. Во время обеда наш хозяин оставался гостеприимным и заботливым, больше слушал, чем говорил, словно выражая благодарность за то, что его удостоили чести. Меня поразило подобное поведение со стороны такого могущественного человека, одно имя которого в 1925 году вызывало трепет в столь многих сердцах. Я помню его высокий и невыразительный голос, и возможно, это смущало его, но едва ли одного только голоса было достаточно, чтобы держаться в тени, и

притом добровольно.

Чарли, чувствуя себя все более раскованно, делил свое время, обсуждая книги с Дональдом Огденом Стюартом и искоса поглядывая на безмолвную Грету Гарбо. Я не могла винить его; в ней все было прекрасно, и каждый мужчина был ею околдован. Даже слуги роились вокруг нее, а Джон Гилберт, который, по слухам, был ее любовником, не сводил с нее телячьих глаз. Но меня волновал единственный мужчина — Чарли. Если у них с Мэрион Дэвис случались время от времени любовные встречи, Сан-Симеон был бы последним местом, которое они выбрали бы для свидания в уик-энд. Я не видела соперницы в хорошенькой Норме Толмедж, хотя бы потому, что ее муж, Джозеф Шенк — отсутствовавший в этот уик-энд — был в плохих отношениях с Чарли из-за недавнего вступления Шенка в должность президента United Artists, а она горячо поддерживала мужа. Другие женщины были либо чересчур некрасивы, либо чересчур порядочны, либо то и другое вместе. Если какая-нибудь женщина и внушала мне опасения, так это загадочная Грета Гарбо.

Моя ревность поутихла, когда мне стало очевидно, что она не обращает внимания на Чарли. Она игнорировала и Гилберта тоже, но по-другому. Она знала о страсти Гилберта и вела с ним мучительную игру, держа его на расстоянии. Что касается Чарли, то если она и знала о его существовании, то, похоже, это не имело никакого значения.

Обед завершился, импозантный шестидесятидвухлетний Уильям Рэндольф Херст похлопал в ладоши и энергично пропищал: «Хорошо, те, кто хочет отправиться на экскурсию по ранчо, за мной!» Сан-Симеон, официально называемый La Casa Grande был ненароком причислен своим господином к «ранчо».

Его стремление показать нам дом я сочла весьма привлекательным, и все, что мы видели, казалось мне невероятным. Восемь гостей — Гарбо, д-р Милликен, Чарли, я и администраторы Херста с женами — отправились на персональную экскурсию, и никто из нас не пытался выглядеть пресыщенным, так как это было бы просто смешно.

М-р Херст вплотную приступил к обустройству своей империи только за три года до этого — к 1949 году он ухнул туда тридцать миллионов долларов — но даже теперь, казалось, все предусмотрено; со всего света сюда доставляли сокровища живописи, скульптуры и архитектуры. В интерьерах огромных зданий были представлены образцы всех мыслимых культур. М-р Херст повел нас в здание, которое преимущественно занимал он сам, и мы поднялись на третий этаж в библиотеку в лифте, который, кстати, когда-то находился в одной католической

церкви в Европе. Эта библиотека насчитывала тысячи прекрасных старинных книг, многие из которых, будучи первыми изданиями, по его признанию, были самым ценным его достоянием. Ни одна из книг не застрахована, добавил он шепотом, так как никакие деньги не способны восполнить потерю.

Нас проводили через десяток из пятидесяти трех спален в основном здании, каждая из которых была уникальна. М-р Херст показал нам множество великолепных гобеленов и обратил внимание на один — свое последнее приобретение. «Я заплатил за него сто тысяч, но трудно судить, какова его истинная стоимость, — сказал он. — На днях я собираюсь оценить его». Нас повели в главную столовую, которая славилась своим массивным золотым жезлом из Ирландии и потолком XVI века из Италии. Мы увидели гигантскую кухню, где почти каждым блюдом заведовал отдельный шеф-повар, и гигантские морозильные комнаты, где тысячами висели тушки пернатых, по большей части выращенных и умерщвленных здесь же. Нам показали и собственную спальню м-ра Херста. «Эта кровать принадлежала кардиналу Ришелье, — сказал он с улыбкой, — но я сделал для нее современный матрас». Мы видели систему междугородной телефонной связи, соединяющей все его издательские центры, что позволяло мгновенно связаться с любым из сотрудников.

Потом мы осмотрели сады, необъятный зоопарк, частный аэропорт, стадо баранов, конюшню, — словом, все. Нам показали плавательный бассейн. «Он построен из греческой колоннады и отделан мозаикой. Он стоит сто тысяч, — сообщил м-р Херст и обратил наше внимание на летний домик: — Алебастровая тарелка ручной работы, которую вы видите над этой группой колонн, привезена из Италии из дворца Доры. А теперь я покажу вам еще один бассейн».

Чарли, уже слегка обалдевший, пошутил: «Два бассейна? А второй для чего — ополаскиваться?»

Второй был гигантский. «Этот стоит миллион долларов, — объяснил м-р Херст — Над ним более двух лет трудились итальянские художники. Видите лазуритовые мозаики?»

Чарли, голодное дитя лондонских трущоб, почтительно присвистнул.

Некоторые из нас провели оставшуюся часть дня возле бассейна — естественно, того, что стоил миллион долларов. Я думала — пожалуй, почти злорадно, — о том, насколько лучше я смотрелась в купальном костюме, чем Грета Гарбо. Это было жестоко с моей стороны, но я завидовала ее великолепной красоте, и у меня не было иных козырей, кроме хорошей фигуры.

Она разговаривала тихо и, видимо, серьезно с Джоном Гилбертом, который, несомненно, боготворил ее, и, казалось, испытывала неловкость оттого, что ее широкие плечи и массивные ноги были открыты.

Чарли и Мэрион по-прежнему сторонились друг друга. Он был поглощен разговором с д-ром Милликеном, а она оживленно болтала то с одним, то с другим по паре минут и ни с кем конкретно. Наконец, она подсела ко мне и сказала: «У нас не было возможности поговорить друг с другом, не так ли?»

Оглянувшись украдкой, она достала из пляжной сумки, висевшей на плече, металлическую флягу и бумажный стаканчик. Она налила в стаканчик бесцветную жидкость и подмигнула мне. «Шампанское, — призналась она. — Для меня это материнское молоко. Обожаю. У. Р.[7] убил бы меня, если бы увидел. Он в своем кабинете, работает. Но ты же не настучишь на меня?»

Я покачала головой. Она предложила стаканчик мне, и я снова замотала головой. Ухмыльнувшись, она выпила украдкой и убрала все обратно.

— Да, кстати о материнском молоке, ты же мать? — заметила она со своим обезоруживающим заиканием. — В тот вечер, когда мы встретились в «Амбассадоре», я не могла поверить, что ты ждешь ребенка. Ты выглядела потрясающе. Ты знаешь, я ведь завидовала тебе! Я думала, что я царица бала, а потом появилась ты и присвоила мою корону.

А ты присвоила моего мужа, хотела сказать я. Но не стала, поскольку эта женщина, которую я знала так мало, была слишком мила и дружелюбна, чтобы сердиться на нее. Пола Негри — вот та выводила меня из равновесия. А Мэрион была такая открытая, не агрессивная и симпатичная, что я, пожалуй, не очень расстроилась бы, если бы она в тот же момент призналась мне, что они с Чарли были любовниками.

— Как мило, что вы говорите это мне, мисс Дэвис. На самом деле я…

— О, называй меня Мэрион, — прервала она меня. — Давай будем друзьями, хорошо?

— Конечно.

— Я встречаю здесь столько чванливых людей, что просто приятно встретиться с нормальным человеком. Конечно, я не всех их не терплю, — она усмехнулась. — У. Р. воплощенное чванство, а я без ума от него. И твой Чарли — тоже из этих, а я его тоже обожаю.

Поспешно, но не оправдываясь, она пояснила свои слова.

— Ты понимаешь, я не имею в виду ничего такого. Я имею в виду, что он хороший друг.

Она снова оглянулась и глотнула еще.

— Нет, мне не следует называть твоего мужчину чванливым. Ты ведь любишь его, как сумасшедшая. Я же вижу.

Мне становилось все приятнее и приятнее с ней общаться.

— Ты права, я люблю его, — сказала я. — Но я не слепая. Он бывает ужасно официальным, когда стремится к этому.

— Правда? Ты знаешь, чего я никак не могу понять в Чарли? Когда ты меньше всего ожидаешь от него, когда он важничает дальше некуда — он может ввести тебя в заблуждение, а потом вдруг все переиграет и начнет с неподражаемым юмором смеяться над собой. Ты замечала?

— Да, — солгала я. Я редко замечала, чтобы Чарли, самый смешной человек в мире, обращал свой юмор на самого себя.

— Не то, что те двое, — сказала Мэрион, понизив голос и показывая подбородком в направлении печальной Гарбо и Гилберта, сидевших не менее чем метрах в пятнадцати от нас. — У них роман, а они сидят словно на похоронах. Посмотри на них. Ты видела когда-нибудь такие прекрасные лица и притом такие печальные? Джонни настоящий мужчина, все от него без ума, кроме этой шведки. Он был в моем доме в Санта-Монике дважды за последний месяц, и оба раза лил слезы оттого, что шведка не выходит за него замуж!

Она помотала головой, словно хотела сказать: что может быть хорошего в жизни, когда нет чувства юмора? Со временем, я увидела, как успешно Мэрион справляется со своими обязанностями, но она верила, что жизнь предназначена для удовольствий и не скрывала этого.

Мэрион поспешно спрятала свой портативный бар, и я поняла почему: к нам приближался м-р Херст. Он сердечно держался со мной и заботливо с Мэрион.

— Мэрион, сколько раз тебе говорить, что не следует сидеть на ветру, если ты не одета? — распекал он ее.

Ветра не было. Солнце шпарило отчаянно. На ней была легкая шаль.

Она ответила очень спокойно и терпеливо, как по заведенному обычаю:

— Да еще немного и мы расплавимся. Будь хорошим мальчиком, иди полюбезничай с гостями.

— Не пойду, пока не наденешь свитер. Я велю кому-нибудь принести его для тебя.

Мэрион вздохнула, поднялась и встала на цыпочки, чтобы дотянуться губами до его подбородка:

— Ну, ладно, иду, ей-богу, ты хуже всякой бабы.

Она подмигнула мне и удалилась. Он зачарованно смотрел

ей вслед. Хотя ему предстояло прожить еще двадцать шесть лет, он так и не женился на Мэрион Дэвис. Но она была рядом, когда он умирал. Считая бал в отеле «Амбассадор» и этот уик-энд, мне довелось встретиться с Уильямом Рэндольфом не более пяти-шести раз. Я слышала ужасные истории о его бессердечии и злоупотреблении фантастической властью и уверена: нет дыма без огня. И все же я относилась к нему с искренней любовью, несмотря на то, что всегда находила его несколько пугающим. Херст, которого знала я, был совершенно лишен высокомерия или жестокости. Несмотря на Сан-Симеон, он был одним из наименее претенциозных людей, которых я встречала. Когда он говорил, что заплатил сотни тысяч долларов за то, и миллион долларов за это, он скорее констатировал факт, чем пытался щегольнуть своим богатством.

Полная свобода передвижения была лозунгом в Сан-Симеоне, но существовало одно правило, которому гости должны были подчиняться: ужин накрывали в главной столовой в семь часов вечера и ни минутой позже.

У м-ра Херста была система ротации, и гостей рассаживали всякий раз на новые места, так что на ужине мы с Чарли оказались ближе к главе стола, чем на обеде; мне выпала честь сидеть справа от м-ра Херста. Ужин оказался таким роскошным, что изысканный обед, который был у нас днем, показался поспешным перекусом. Широкий выбор вин из огромного винного погреба был гордостью матери Херста, Фебы. Лакеи ходили вокруг, передвигая сервировочные столики, уставленные всеми мыслимыми видами мяса и дичи, овощей и салата. Обслуживание было превосходным, а еда — отменной.

Чарли и д-р Милликен, увлеченные жаркой дискуссией большую часть дня, продолжали ее и теперь, за столом. Я не могла особенно следить за их дружеским спором, но была под впечатлением от того, как Чарли отстаивал свое мнение перед выдающимся американским физиком того времени, человеком, который впоследствии успешнее всех обосновал эйнштейновскую теорию относительности. Д-р Милликен констатировал с тихой гордостью, что человек как никогда близок к плодотворному использованию естественных источников энергии, в то время как Чарли выражал опасения.

Д-р Милликен доказывал:

— М-р Чаплин, безусловно, есть риск в любом движении вперед. Например, вы, несомненно, — лучший в своем ряду. Но ваше кинопроизводство — дело молодое, развивающееся, так ведь? Если фильмы должны становиться лучше — и в

техническом, и в художественном смысле, не потребует ли это каких-то изменений — с вашей стороны, или со стороны других? И не связано ли это с риском?

Доктор явно намекал на приближение звукового кино, а эта тема в последние несколько месяцев вызывала у Чарли болезненную реакцию.

— Я не отрицаю, что есть огромное поле для технических и художественных усовершенствований в кино, — признавал Чарли, — но настаиваю, что перемены ради перемен — как в вашей области, так и в моей, — чаще всего могут принести только вред.

Потом, то ли сочтя, что на него нападают лично, то ли чувствуя, что угроза звукового кино — слишком деликатная тема для ужина, Чарли перевел разговор в менее противоречивое русло.

После ужина нас всех повели в замок смотреть фильм — м-р Херст любил кино и показывал каждый вечер разные фильмы, — а после просмотра, хотя было еще не поздно, м-р Херст объявил, что отправляется спать. Он резко предупредил Мэрион, чтобы она не пила слишком много шампанского, пожелал всем спокойной ночи и удалился. Мэрион возликовала и радостно начала пить.

— Это наша игра, — пояснила она. — У. Р. знает, что я люблю это дело и дает распоряжение не подавать мне после определенного часа, но он знает и то, что мне ничего не стоит обвести обслугу вокруг пальца.

Прежде чем разойтись спать, мы сидели в одном из огромных садов и слушали рассуждения Чарли по поводу грядущего звукового кино.

— Меня беспокоит звуковое кино — естественно, меня это беспокоит — но не из-за себя. Моей работе никак нельзя помешать. Меня волнует то, что звук станет игрушкой, которая поработит талантливых продюсеров, писателей и директоров. По существу, хотя в кино в целом достаточно мало настоящего искусства, уже есть признаки, что звук заинтересовал всех в киноиндустрии по ложным соображениям. Многие уже воображают, как сдадут в утиль свое оборудование, чтобы расчистить дорогу для новой игрушки, и, следовательно, они не думают о работе.

— Вы пессимистичны, Чарли. Звуковое кино может стать мощным импульсом, в котором нуждается кино, — сказал Джон Гилберт, чья карьера впоследствии разрушилась отчасти именно из-за появления звука в кино.

Чарли кивнул.

— Я пессимистичен, только если звуковое кино станет

доминировать в коммерческом кино. Тогда искусство действительно умрет, поскольку в каждом искусстве должно оставаться пространство для воображения.

Уик-энд закончился. Три или четыре раза я видела, как Чарли и Мэрион болтали; я видела, что м-р Херст тоже находился неподалеку, сдержанно улыбаясь, словно подозревая что-то между своей дамой и своим другом, но не имея доказательств. Мои собственные подозрения не ослабевали. Но Мэрион была так искренне мила со мной, что мне понадобились бы неоспоримые свидетельства их близости, чтобы злиться на нее.

Когда я узнала, что снова беременна, я думала, Чарли лопнет от гнева. Снова я была обвиняемой, а он обвинителем. Впрочем, он не объяснял, почему виновата я, если это он отказывался принимать меры предосторожности — и не из моральных соображений, а из-за неэстетичности контрацептивов. Я и сама была в шоке от новости, что, едва родив первого ребенка, уже жду второго. Мне вполне хватало и того, что ради ребенка — хотя он и радовал меня — пришлось вступить в этот ненормальный брак; предчувствие, что теперь ответственность возрастет вдвое, парализовало меня. Я ждала, что Чарли потребует, чтобы я сделала аборт, — и, несмотря на смешанное чувство по поводу случившегося, я была намерена ответить «нет».

Он потребовал. Я сказала «нет». Он рвал и метал, говорил, что я сознательно разрушаю его карьеру и жизнь. Я была тверда в своем решении. После нескольких дней, когда он особенно неотступно и оскорбительно нападал на меня, мама решилась поднять голос и заявила, что он ведет себя как безумец, — тогда он, наконец, прекратил и больше к этому не возвращался. Я была удивлена, поскольку он страшно лютовал, что я надула его и что единственная моя цель — сжить его со свету. Не знаю, почему он так резко прекратил свои требования. Возможно, в глубине души он хотел второго ребенка. Но, скорее всего, слишком был поглощен работой, чтобы продолжать предаваться гневу. «Золотая лихорадка» была завершена и шла с большим успехом, а он уже по горло был занят приготовлениями к следующему фильму «Цирк». Одна из проблем, которые предстояло решить — выбор ведущей актрисы; он был доволен Джорджией Хейл в «Золотой лихорадке», но не считал, что она подойдет на роль маленькой наездницы в «Цирке».

Менее чем через неделю после того, как он узнал, что ему снова предстоит стать отцом, он вместе с Коно отправился на поезде в Нью-Йорк, где должен был встретиться с кинопрокатчиками.

Пока в течение двух недель не было Чарли — и Коно с его

слежкой, — я почувствовала себя немного свободнее. Однажды днем ко мне случайно заехала Мэри Пикфорд с кучей подарков для Чарли-младшего и пригласила пообедать в ресторане в Голливуде. А однажды я, изголодавшись по компании сверстников, пригласила в дом пообедать и поплавать в бассейне двух девочек, с которыми занималась в школе драматического искусства Куммнока, и которые мне особенно нравились. Это оказалось жестокой ошибкой. В школе мы все были на равных, а теперь — нет, и как я ни старалась быть такой же, как они, я уже не была прежней. Хорошо ли, плохо ли, но я была миссис Чаплин, а не Лиллитой Макмюррей или даже Литой Грей. Я жила в большом доме, у меня были слуги. И я была матерью. Девочки чувствовали себя не в своей тарелке. Между нами была пропасть.

Как ни странно, единственным человеком, чьим обществом я наслаждалась, была Мэрион Дэвис. Я проводила многие дни в ее доме в Санта-Монике. Уверена, я ей нравилась, иначе она не стала бы приглашать меня — но я не обольщалась и никогда не думала, что она считает меня закадычной подружкой. При всем ее оживлении в Сан-Симеоне, она была по существу одинокой молодой женщиной, и, я думаю, она видела во мне незрелую, но такую же одинокую девушку, перед которой ей не надо играть роль.

Мэрион, пожалуй, не была алкоголичкой — по крайней мере, в те дни, — тем не менее в ее руке обычно был бокал шампанского, а поблизости бутылка, а то и две. Я соглашалась немного выпить из любопытства, но легкое головокружение сразу же отпугивало меня, и я возвращалась к содовой. Чаще всего мы сидели на террасе, и поначалу Мэрион бывала такой же искристой, как ее шампанское, она шутила, делилась сплетнями, давала мне остроумные советы по поводу брака и материнства, хотя у самой не было подобного опыта. Она принималась говорить о Чарли, но всегда только как о друге, а не как об артисте и, разумеется, не как о любовнике. Я все еще не могла заставить себя спросить ее, когда они в последний раз занимались любовью.

Понемногу, особенно в те дни, когда вино ударяло ей в голову, она изливала мне душу, разумеется, не потому что нуждалась в моей помощи, думаю, просто она чувствовала, что мне можно доверять.

— Быть женой Чарли, должно быть, самая трудная работа в мире, — как-то раз сказала она, и улыбка сошла с ее лица.

— Почему ты так говоришь?

Она пожала плечами.

— А как же иначе? Он — самый великий в кино, не так ли,

милая? Даже если бы он не был таким выдающимся, даже если бы он обладал двадцатой долей того таланта, которым обладает, он все равно не мог бы оставаться обычным человек перед всеми, кто ему рукоплещет Никто не может. Но для жизни это не подарок. Милдред Харрис была не святая, но не такой уж плохой она была, а Чарли быстренько распростился с ней.

Я осторожно спросила:

— Как это было, Мэрион?

— А разве Чарли не рассказывал тебе о ней — со своей колокольни, разумеется?

— Чарли вообще мало что мне рассказывает. Тебя, наверное, удивит, как мало я о нем знаю… или о людях в его жизни.

— Мм… Ну, никто не сказал бы, что Милдред была тихоней, до того, как Чарли женился на ней. Может быть, она любила его, но уж точно считала его билетом на вершину киноолимпа. Плохо ли это? Не знаю, может и да, но я знаю, что она старалась быть хорошей женой для него, а он вышвырнул ее после пары лет брака, как ненужный хлам. Она добилась от него каких-то денег, но только после того, как ему пришлось это сделать. Итак, она получила деньги, казалось бы, все прекрасно? Но она ведь почти дитя, и я слышала, она отчаянно пьет.

Все это звучало страшно — и страшно походило на правду.

— Я чувствую себя предательницей, обсуждая Чарли подобным образом, поскольку я к нему очень хорошо отношусь, — сказала Мэрион. — Но подумай о себе, Лита, и о ребенке. И о том ребенке, который будет, потому что, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит, а Чарли — волк. У меня нет никакой информации, просто знаю я таких дамских угодников. Чарли когда-нибудь причинит тебе боль, дорогая, — когда и как, не знаю, — но будь осторожна. Или мне лучше помалкивать?

Вместо того чтобы слушать неприятную правду, я воспользовалась моментом и спросила:

— Мэрион, а ты и Чарли — вы спите?

Она вспыхнула.

— С чего ты это взяла?

— Да или нет?

— Нет, — ответила она.

Потом размеренно произнесла:

— Было дело, но еще до тебя, и потом ни-ни. Ах, а почему ты спрашиваешь? Что он говорил тебе? Откуда у тебя эта мысль?

Я была удовлетворена: она говорила правду.

— Извини, — сказала я. — Мне не следовало быть такой тупой. Ты не стала бы одновременно и крутить роман с моим

мужем, и дружить со мной. Я иногда говорю такие глупости.

— Ничего страшного, — улыбнулась она. — Подумай сама: если бы я даже сохла по нему, что мне толку от твоего мужика? Я тебе уже говорила, что о нем думаю — он отличный парень, конечно, но ни одна женщина в здравом уме и трезвой памяти не стала бы в него влюбляться, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Ну, а если бы я решила просто перепихнуться, я была бы точно идиоткой — У. Р. наверняка узнал бы. И могу тебя уверить, рисковать этим не стоит ради сотни самых классных мужиков.

В следующий раз, когда я видела Мэрион, она выпила устрашающее количество и говорила о себе и Уильяме Рэндольфе Херсте.

— Боже мой, я отдала бы все, чтобы выйти замуж за этого глупого старика, — начала она медленно и задумчиво. — Не из-за денег и благополучия. Он мне дал больше, чем мне когда-нибудь понадобится. И не из-за удовольствия быть в его компании. Когда он начинает выступать, я не знаю, куда мне от скуки деться. И не потому, что с ним хорошо трахаться. В любой момент я могу найти десятки любовников. Знаешь, что он дает мне, дорогая? Он дает мне ощущение, что я для него чего-то стою. Вся эта куча денег — ерунда. У него есть жена, которая никогда не даст ему развод. Она знает обо мне, но в то же время все понимают, что если она захочет приехать на ранчо на неделю или на уик-энд, мне надо будет выметаться. И еще он храпит, и еще бывает ужасно жалким, и у него сыновья того же возраста, что и я. Но он добр со мной, и я никогда его не брошу.

Мэрион часто говорила о практической стороне отношений. Она говорила о времени, когда узнала, что Херст проявлял интерес к хорошенькой блондинке из Нью-Йорка. Хотя Мэрион не была ревнивой, она пошла к нему и сказала, что не собирается отдавать ему свои лучшие годы, если никак не защищена. Она видела слишком много девочек, которые из-за любви теряли голову, и молодость, и красоту, а потом их выбрасывали, и они оставались ни с чем. Херст сразу все понял. Он подарил ей дом в Санта-Монике, целое состояние в виде драгоценностей, отель в Нью-Йорке и другие капиталы, которые гарантировали ей жизнь в роскоши и кредитоспособность.

— Скажи мне, Мэрион, — поинтересовалась я, — а ты любила бы его так же сильно, если бы он не обеспечивал тебя так хорошо?

Она посмотрела на меня так, словно я не в своем уме.

— Любить его! — закричала она. — Со всеми теми недостатками, которые я назвала? Да я и дня с ним не осталась

бы! Девушки стареют, милая, и им нужно держать ухо востро, когда они связывают себя с такими мужчинами, как наши. Это я и пытаюсь тебе объяснить. Чем раньше ты поймешь это, тем больше шансов избежать лишних страданий!

Глава 15

За день до предполагаемого возвращения Чарли из Нью-Йорка мне позвонила Мерна Кеннеди, которая только что вернулась в Лос-Анджелес после почти двухлетнего турне с водевилем. Я настояла, чтобы она пришла ко мне и осталась на ужин. Мы кинулись друг другу в объятия, словно давно не видевшиеся сестры, какими мы и были в некотором смысле. Мерна изменилась и во многом к лучшему. Ее разговоры по-прежнему были немного с перчиком, но она избавилась от вопиющей вульгарности в поведении и манере одеваться. Она обняла мою маму, словно собственную мать, и проявила большой интерес к ребенку.

Перед ужином и во время него мы вспоминали все, что произошло с нами за это время. Мерна рассказывала, как пользовалась успехом в водевиле и повидала страну. Я не хвасталась собственной жизнью за эти два года, хотя и ответила на большую часть ее вопросов — не слишком честно, — каково это быть женой кинозвезды. Если она и знала об истинном возрасте Чарли-младшего, то ничем себя не выдала.

Меня пленил внешний вид Мерны, и я подозревала, что и Чарли она понравится. Неожиданно я представила себе, как она играет наездницу в «Цирке», но не осмелилась сказать ей и дать надежду, которая так легко могла не оправдаться. В ней были свежесть и задор, ее фигура должна была отлично смотреться в костюме наездницы, а ее темперамент мог оказаться очень выигрышным для экрана. Я решила подумать о ее талантах, но в тот момент просто радовалась, что могу видеть подругу своего возраста.

Чарли приехал в несколько лучшем настроении, чем был, когда уезжал. Он кивнул мне, довольно формально, поздоровался с мамой, заглянул к малышу, после чего отправился к себе в комнату. Хотя он был по-прежнему натянутым и отстраненным за завтраком на следующее утро, он немного рассказал о своей поездке в Нью-Йорк: о том, как простудился там и как провел оставшуюся неделю; о том, какой интересный, но дорогой город Нью-Йорк, как замечательно идет «Золотая лихорадка» в кинотеатре «Странд» и с каким удовольствием он улегся бы в постель на целый месяц, чтобы отоспаться.

— Почему бы и нет? — спросила я. — Ты выглядишь таким усталым. Ты словно не переставал работать. Длительный отдых тебе бы не помешал.

— Не могу. Нужно сделать миллион дел, и все лежит на мне.

Прокатчики ждут «Цирк», а я и не начинал еще снимать эту треклятую картину. Я даже не нашел актрису.

— Могу я предложить тебе одну?

Он уставился на меня.

— Кого, себя?

— Нет, Мерну Кеннеди. Ты ее помнишь?

Он повторил ее имя дважды.

— Смутно. Это твоя однокашница, да? Хорошенькая, но простоватая. Рыжеволосая?

— Ты не назвал бы ее простоватой, если бы увидел сейчас, — сказала я, надеясь, что не перегибаю палку. — Она была здесь позавчера вечером и выглядит потрясающе. Она была в турне.

Он кивнул.

— Ясно. Она хочет сниматься в кино, и ты обещала ей, что твой знаменитый и влиятельный муж даст ей роль, а тебе достаточно щелкнуть пальцами и роль ей обеспечена. Об этом вы говорили?

— Нет Мне жаль, что я подняла эту тему.

— Надеюсь, — буркнул Чарли и закончил завтрак в молчании.

Но прежде чем уйти, сказал:

— Эту Кеннеди, может быть, стоит попробовать. Пусть она свяжется с Элфом Ривзом.

Я позвонила Мерне, которая жила в Глендейле. Через две недели она была утверждена на роль.

Мерна приехала ко мне, преисполненная благодарности, словно это я дала ей роль, а не просто предложила ее кандидатуру. Мы прекрасно провели время, и я пригласила ее приходить еще. Она обещала, что будет, но прошли месяцы, прежде чем она позвонила мне сама. Если звонила ей я, она была мила, и всякий раз объясняла, почему никак не может прийти: то она шла на урок актерского мастерства, то на урок танцев, то на свидание.

К несчастью, у меня было предостаточно времени, чтобы бередить свои раны, так как Чарли я теперь почти не видела, кроме редких официальных мероприятий, когда он брал меня с собой на приемы, премьеры или концерты. Мы начали ходить раз в неделю в «Голливуд-Боул». Он любил классическую музыку, но главное было в том, как я поняла, что тяжелая и печальная музыка неизменно оказывала на него столь мощное впечатление, что это в свою очередь стимулировало его творчество. Он нуждался в некой ауре меланхолии, когда вынашивал идеи. Но именно в ауре: если происходило что-то в действительности,

например, умирал знакомый или даже незнакомый человек, которого он просто уважал, это погружало его в пучину жестокой депрессии. В отличие от волнующей музыки, это не обогащало его работу, а наоборот, могло выбить из седла и заставить искать уединения на некоторое время. В такие дни он звонил на студию и приказывал: «Распустите всех по домам. Сегодня я не в духе».

В первые месяцы моей второй беременности он держался отстраненно и стал меньше интересоваться не только мной, но и Чарли-младшим. Он всегда очень любил воду, но теперь мог принимать душ или ванну по десять раз в день. У него началась навязчивая бессонница, и он мог уйти среди ночи, прихватив пистолет, в поисках грабителей. Я, конечно, беспокоилась, и, несмотря на наше отчуждение, принималась разыскивать его и выказывать мои волнения. Он же обычно предлагал мне заниматься своими делами, а не соваться в его.

Моей главной заботой теперь были Чарли-младший и малыш, который был на подходе. Физически я чувствовала себя хорошо, совсем не так, как в первую беременность. Утренней тошноты почти не бывало, меня не мутило, и не было головокружений, знакомых мне по первому опыту.

Однако эмоционально я была гораздо в худшей форме. Я была более уверена в себе в социальном плане, чем год назад, — пожалуй, я научилась более непринужденно вести себя в компании, — но я чувствовала сильнее, чем когда-либо, что наш брак в кризисе. Должно было быть какое-то объяснение нашим проблемам. Но какое? Что двигало Чарли, и почему эта сила уводила его от меня?

По мере приближения появления младенца на свет, росло мое ощущение собственной ненужности. Была Мэрион, которую я навещала, но разве это могло заполнить мою жизнь? Был Чарли-младший, которого я любила, но мама посвящала ему столько времени, что на мою долю оставался минимум материнских обязанностей. Несколько раз я ходила на студию посмотреть, в каком состоянии съемки «Цирка», но Чарли всегда было не до меня, за исключением случаев, когда он хотел произвести на окружающих впечатление заботливого мужа, а Мерна была со мной радушна, но слишком занята мириадами дел, связанных с исполнением главной роли.

Я готова была рвать на себе волосы, так как было совершенно ясно: во-первых, моему второму ребенку предстояло родиться в семье, ничуть не более счастливой, чем она была во время появления первого ребенка, и, во-вторых, наш брак мог либо окончательно развалиться, либо медленно плыть к неизбежному концу. Оказалось, возможен и третий вариант — страшное

ухудшение того немногого, что осталось от наших отношений.

Все началось с воскресного дня, когда Чарли пришел домой с д-ром Альбертом Эйнштейном, к которому относился с благоговейным почтением. Я тоже трепетала, так как знала, что это один из величайших людей столетия, хотя и смутно понимала, в чем его заслуги. Он остался на ужин, предпочитая говорить о музыке, а не о физике. Это был застенчивый, необычайно скромный человек. Его глубоко посаженные глаза испытующе смотрели из-под кустистых бровей. Волосы с проседью ниспадали на спину, а одежда была бесформенной и лишенной стиля. Он говорил тихим мягким голосом, и Чарли, несомненно, был очарован им.

Хотя я пыталась следить за разговором, боюсь, я видела не больше, чем просто нечесаного и очень старого человека, и когда он ушел, а Чарли вернулся от дверей в возбужденном состоянии, я была не в состоянии поддерживать разговор. «Уверена, что д-р Эйнштейн великий человек, но разве непонятно, что мне не хватает друзей моего возраста?» — спросила я.

К моему удивлению, Чарли выслушал меня. Он не желает, чтобы пустоголовые подростки с дурацкими песенками и болтовней болтались по его дому, заявил он, но если они так важны для меня, он не видит ничего страшного, если я встречусь с ними в другом месте. Обдумав это, примерно через час он вызвал меня и сказал: «Возможно, ты хочешь устроить небольшую вечеринку — не здесь, но, допустим, где-то в городе. Никакой роскоши, но если тебе это что-то даст, разумеется, я оплачу. Я не приду, конечно, — у меня нет ни времени, ни желания, — но если ты хочешь принять гостей, скажи Коно, я предупредил его».

Я поблагодарила его за неожиданное предложение. Я хотела сказать больше, но он дал мне понять, чтобы я вышла, сообщив, что у него масса работы.

Первой гостьей, которой я позвонила, была Мерна. «О, Лита, в любое другое время с восторгом, но в ближайшие пару месяцев мне даже есть и спать некогда из-за картины, — извинилась она. — Мне надо так многому научиться, столько всего сделать, что каждая минута, которую я отрываю от картины, не дает мне покоя. Но спасибо в любом случае, и желаю приятно провести время, хорошо? Всем привет от меня!»

Она повесила трубку.

Я была обескуражена ее обращением со мной, но решила не обращать внимания, в конце концов, ей представился уникальный шанс в кино.

Поведение Мерны не ослабило моего радостного предвкушения. Коно, которого отправили изучить возможные

варианты, нашел кабинет в ресторане отеля «Балтимор» по разумной цене. Он проинформировал меня, что я могу пригласить не более восьми гостей. Я с энтузиазмом начала обдумывать, кого хочу видеть, и вскоре поняла, что не знаю ни одного мальчика достаточно хорошо, чтобы пригласить. Тогда я связалась с четырьмя девочками из прошлых времен, которых могла без натяжки назвать своими подругами, и договорилась, что они придут со своими приятелями.

Но при всех моих приготовлениях и ожиданиях вечеринка оказалась совершенно бездарной. Ребята, которые пришли, как и те две девочки, которые были у меня когда-то в гостях, старались вести себя непосредственно, как я, но не получалось. Я была одного с ними возраста, но в то же время я была миссис Чаплин — и не только уже была матерью, но и снова собиралась стать ею. Вечер казался бесконечно долгим.

В десять часов, когда вечеринка выдохлась, я была в отчаянии. Неужели этим все и закончится? В приливе жажды казаться взрослой я закричала:

— Внимание! Как насчет того, чтобы всем вместе отправиться ко мне в гости?

Все мгновенно оживились.

Я дала адрес, и мы договорились встретиться там. Я добралась до дома первая, ругая себя за импульсивность и в то же время радуясь ей. Что я сделала неправильно? Ведь это и мой дом? И это интеллигентные ребята, не какие-нибудь лоботрясы.

Мальчик-слуга открыл дверь и вылупил глаза на подъезжающие к холму машины. Он казался слегка испуганным, когда говорил: «Миста Чаплин, он нет дома из студии». Но я сказала ему, что все в порядке, это мои друзья едут сюда. Четыре девочки и четыре мальчика вошли в дом, слуга взял их пальто и повесил в раздевалке под лестницей, а мама появилась, чтобы поприветствовать меня и моих друзей и вернуться к ребенку.

Я видела, как осматривались мои гости, и гордилась, что наконец произвела впечатление на других, что все это принадлежит мне, что у меня есть полное право приглашать, кого захочу, и если Чарли это не нравится, ему придется смириться с этим.

Я проводила их по комнатам, которые, как я знала, вызовут их интерес, начиная с большой — где находился киноэкран и проектор Чарли. Я слышала восторженные возгласы. Потом я провела их в музыкальную комнату, а после этого в гостиную, где хотела показать коллекцию нефритов. Они были так взбудоражены всем увиденным, что перестали владеть собой, дойдя до полной беспардонности.

Все восьмеро рассыпались по большой комнате. Один из мальчиков нашел фонограф, открыл дверь кабинета и взял несколько пластинок. Сразу же остальные обступили его, разочарованно читая названия: Бах, Верди, Бетховен — пока, наконец, не добрались до чарльстона. Раздался радостный возглас узнавания. Меня словно не было.

Прежде чем мне удалось остановить их или попросить, по крайней мере, не слишком увлекаться, уже крутилась пластинка, и четыре пары радостно танцевали. Партнеров как таковых не было, каждый мальчик на мгновенье хватал меня, крутил и отпускал, а потом хватал другую девочку. Все это случилось так быстро, что я не могла найти слов, чтобы велеть им прекратить, но минутой позже я уже не могла придумать никакой причины, по которой им следовало не делать этого. Суть была ясна — разумеется, в этой роскошной комнате не бывало ничего подобного. Ну и что? Мои гости веселились. И мне пришлось признать, что я и сама получаю удовольствие, какого давно не испытывала.

Пластинку поставили снова. Я видела, как слуга направился через холл от буфетной стойки к входной двери, и предположила, что в дверь звонили. Обеспокоенная, я последовала за ним и увидела, что права. В дом вошел Чарли, посмотрел в направлении музыки, куда ему указывал слуга, и снова на слугу. Он уставился на меня, прошел со мной в гостиную и закричал:

— Что здесь происходит?

Все замерли, за исключением одного мальчика, который выключил фонограф. Я поспешно начала объяснять, что мы ушли из «Балтимора» вскоре после десяти, чтобы приехать сюда и посмотреть дом, и мы пришли совсем недавно, и…

— Чтобы этих пьяных рож здесь не было! Немедленно! — проревел Чарли и пошел вверх по лестнице. — Немедленно, я сказал!

Пока ребята выстроились в очередь за своими пальто, Чарли добрался до середины лестницы. После этого он остановился, сверкнул глазами и громко, так чтобы все его слышали, обратился ко мне:

— Это что, всегда такое происходит? Стоит мне уйти из моего дома, как ты превращаешь его в бордель для своих немытых пьяных дружков?

Я онемела, не в силах пошевелиться. Ребята уже схватились за свои пальто, но Чарли не унимался:

— Что здесь было бы, если бы я пришел десятью минутами позже? Вы, шлюхи и сутенеры, верхом друг на друге кувыркались бы по всему дому, на моей мебели! Это не ее дом, это мой дом!

Можешь убираться вместе с ними, если думаешь, что слишком хороша для меня!

Он добрался до конца лестницы и захлопнул дверь.

Я не видела, как восемь подростков вырвались наружу. Я ослепла от гнева.

Голос Чарли был таким оглушительным, что даже мама, которая, приехав в Коув-Вэй, благополучно поселилась в задней части дома, пришла из детской комнаты с озабоченным видом. Я сделала знак головой, чтобы она вернулась обратно, и ворвалась в комнату Чарли, захлопнув за собой дверь. Я была в бешенстве. И я его не боялась.

— Если ты орешь на меня наедине, это одно дело, — бушевала я. — Но ты унизил меня, как никто не унижал меня в жизни! А тебя не волнует, что они подумают о тебе?

Он смотрел на меня, пытаясь определить, всерьез ли я это говорю.

— Что они подумают обо мне? Это что, главная проблема в твоей жизни? Что эти недоумки подумают обо мне?

— Зачем ты устроил эту дикую сцену? Зачем ты меня так унизил?

Он все еще был багровым.

— Довольно, Лита! Мы не можем жить вместе! Видит бог, я всегда всем желал только добра. Но ты губишь меня, ты заставила меня жениться с одним ребенком, а теперь пытаешься окончательно доконать вторым. Все, с меня хватит, ты не нужна мне, я хочу одного: чтобы меня оставили в покое и дали мне работать. Я презираю тебя, я проклинаю тот день, когда ты вошла в мою жизнь, мне отвратительны эти ублюдки, твои друзья, я…

— А Чарли-младший? Он тоже отвратителен тебе? — спросила я осторожно.

— Ага, теперь ты будешь давить на жалость! Черт подери, как убедить тебя, что все, связанное с тобой, невыносимо?

Его лицо было красным, а на виске так пульсировала вздувшаяся вена, что, казалось, его может хватить удар. Теперь я уже была не столько взбешена, сколько обеспокоена, и сказала тихо.

— Что ж, наверное, пора поговорить о разводе.

— Да, — накинулся он на меня. — К этому ты и вела — к разводу. Вытрясти из меня деньги и провести остаток дней в роскоши со своими сородичами-мексиканцами! Я давно думал, когда, интересно, ты заговоришь об этом?

После этого мой муж, которому претило любое физическое насилие, потянулся к столу, открыл выдвижной ящик и достал

револьвер. Его красивая рука тряслась, но он направил его на меня.

Это выглядело нелепо, и я испугалась, но не от мысли быть убитой. Я не могла представить себе, что он нажмет на курок. Меня испугали дикость его высказываний и вся эта мелодраматическая чушь.

Я продолжала стоять, пока он размахивал револьвером и выкрикивал безумные угрозы и проклятия. Он остановился лишь после того, как кто-то начал отчаянно барабанить в дверь, и мы услышали, что мама требует впустить ее. Чарли заморгал, кинув взгляд на револьвер, очевидно, поняв, как он шумел, и быстро положил оружие обратно в стол. Расправив плечи, он открыл дверь и дал войти маме, которая в смущении смотрела на нас.

— Я немного потерял контроль над собой, но теперь все в порядке, — сказал он вежливо, словно его недавние крики не имели никакого значения. — Не о чем беспокоиться. Вам обеим надо отдохнуть.

Он мягко выпроводил нас, закрыв за нами дверь, явно убежденный, что я не скажу маме о пистолете.

Самое интересное, что я действительно не сказала. Я сообщила маме о нашей перепалке, но деталей не уточняла. Я уже давно перестала откровенничать с ней: слишком часто она повторяла, что не следует вмешивать ее в наши отношения.

Сидней Эрл Чаплин родился 30 марта 1926 года, на пять недель раньше срока. Его рождение было таким же легким, каким трудным было рождение Чарли-младшего.

Позднее, когда они росли, Чарли проявлял к обоим мальчикам искреннюю, хотя и неровную, любовь, но в 1926 году его отцовских инстинктов наблюдать не приходилось; казалось, он делит свою энергию между съемками «Цирка» и нарастающей ненавистью ко мне. Тема развода теперь занимала его полностью, и ни по какому иному поводу он со мной не общался. По его словам, я стала просто камнем на его шее, от которого он поскорее хотел освободиться. Я заманила его в ловушку, говорил он, но он покажет мне, как он расправляется с мексиканскими бродягами.

Он так страстно предавался этим обличениям, что истерические напоминания о моих прегрешениях против него ожидали меня буквально каждый вечер, когда он возвращался домой. Но как бы он ни нападал на меня и как бы ни обижал, какой бы предательницей меня ни объявлял, я все больше понимала: не может быть, чтобы причина его все более дикого и неуравновешенного поведения была только во мне. Почему он так жестоко и грубо набрасывался на меня? Почему, когда я

старалась молчать и ничем не раздражать его, он продолжал рвать и метать, а его глаза были такими злыми? Может быть, это груз славы и ответственности давил на него? Я не могла поверить, что причина исключительно во мне.

Наконец, сама уже на грани срыва, я снова высказала предположение, что, наверное, лучше развестись.

— Я разведусь с тобой, когда сочту нужным и только на моих условиях, — заявил он. — Я расплачусь с тобой, но когда это будет удобно мне. И не вздумай болтать об этом в газетах и вообще где бы то ни было. Я могу устроить, чтобы тебя убили. Есть люди, которые сделают это легко и быстро, им не понадобится напоминать. Какую смерть ты предпочитаешь?

Снова Чарли вел себя так мелодраматично, что я не могла воспринимать его угрозы всерьез. А вот его самого я воспринимала вполне серьезно, и старалась по возможности говорить спокойно.

— Что ты имеешь в виду под «расплатиться»? — спросила я. — Ты слишком возбужден сейчас, и я уверена, ты говоришь, не то, что думаешь… но с чего ты взял, что я хочу, чтобы ты расплатился со мной? Ужасно, что ты говоришь это. Я не продажная женщина, я твоя жена. Я дала тебе двух сыновей. Как я…

Он кивнул в ответ.

— Да, ты дала мне двух сыновей, хотелось бы еще убедиться, что я — действительно их отец.

Я старалась никогда не плакать перед ним, но теперь не выдержала. Я была слишком расстроена и разрыдалась. Ничуть не смущаясь, он продолжал твердить свои маниакальные угрозы. Он знает, кто я такая. Он освободит меня, когда закончит картину и не раньше. Если я посмею сама бросить его, он сделает все, чтобы испортить мою репутацию так, что даже моя семейка голодранцев не захочет иметь со мной ничего общего. Он знает, что мне нужны его деньги, но если я собираюсь звонить адвокатам, лучше не беспокоиться, его доходы и собственность надежно защищены, так что через суд мне никогда ничего не получить. Он предупредил меня, что был в здравом уме и трезвой памяти, когда говорил о том, чтобы убить меня. Я ведь знаю Уильяма Рэндольфа Херста? Так вот, достаточно Чарли обратиться к нему, и Херст уберет меня.

На следующее утро и еще несколько дней я просыпалась с ощущением, что безумие моего мужа мне просто приснилось. Фильмы Чарли представляли его как человека сердечного и заклятого врага любого насилия. Тогда я вспомнила, что нет сна страшнее, чем реальность. Он ненавидел меня и хотел

избавиться. Он настолько был этим озабочен, что, как я узнала несколькими месяцами позже, установил в моей спальне подслушивающие устройства. Он разработал план: когда мы с мамой оставались в доме вдвоем, слуги должны были прослушивать наши разговоры через передатчик, установленный в подвале, и докладывать ему. Если бы я привлекла его к суду, он должен был быть подготовленным. В конечном итоге, как я узнала, слуг освободили от этого задания. Они были не в состоянии представить ему сколько-нибудь существенные сведения, просто такой информации не было.

Весна перетекла в лето. Понемногу я перестала надеяться, что наш брак имеет хоть какой-нибудь шанс на выживание. Мы по-прежнему ходили в гости и на премьеры — «ради видимости», неизменно напоминал он мне, — но теперь я просто исполняла роль миссис Чаплин. Я не чувствовала себя совсем одинокой — были дети, и мама, нам помогали чудные слуги Томи и Тода. Кроме того, я по-прежнему виделась с Мэрион, которой стала доверять. Она редко могла что-то посоветовать, но я ценила ее дружбу.

С чем я никак не могла смириться, и что меня постоянно задевало и расстраивало, так это безразличие Чарли к сыновьям. Он заглядывал к ним время от времени, но все происходящее с ними, их успехи и поражения его не волновали. Он выполнял долг, и остальное его не интересовало.

Нельзя сказать, что он не чувствовал эмоциональной ответственности за близких. Он перевез свою мать Ханну из Англии и поселил ее в милом комфортабельном доме в Сан-Фернандо-Вэлли, нанял пожилую пару заботиться о ней и ездил к ней — поначалу при всякой возможности — и временами вел себя преданно и трогательно. Вскоре он начал брать к ней меня и сыновей.

Было видно, что Ханна Чаплин когда-то была очень красивой женщиной. В Англии она несколько раз находилась в психиатрических лечебницах, а теперь, с возрастом, периоды ясного сознания чередовались у нее со старческим слабоумием. Одну минуту она могла совершенно нормально играть с внуками, которых обожала, а в следующую — могла считать, что она на тридцать лет моложе, и это ее собственные сыновья. Чарли подобные ситуации очень нервировали, и тогда он отправлял меня с мальчиками в Вэлли, а сам оставался. «Это настолько выбивает меня из колеи, что я не могу ни думать, ни работать по нескольку дней, — объяснял он. — Я знаю, что она не страдает, но когда вижу, что у нее не работает голова, меня это ужасно расстраивает. Лучше мне с ней не общаться, когда в этом нет

особой необходимости». Ханна умерла в 1928 году, и Чарли, как говорили, горевал многие месяцы.

С учетом кризиса «Цирк» шел вполне успешно. Выступать с обличениями Чарли стал реже, но не прекратил. Теперь я видела закономерность: чем большему стрессу он подвергался за пределами дома, тем больше он спускал на меня собак, приходя домой, словно это помогало ему восстанавливать силы. Казалось, он находил удовольствие, изливая свою ненависть ко мне и угрожая на тот случай, если я вздумаю посягнуть на его деньги. Часто его слова и проклятия были такими грубыми и оскорбительными, что человек со стороны мог подумать, что он пьян. Но, как ни парадоксально, он пришел домой мертвецки пьяным всего один раз за всю нашу совместную жизнь, и это было в сентябре 1926 года. Я говорю — парадоксально, потому что именно в эту ночь, когда можно было ожидать, что алкоголь развяжет ему язык, он отправился прямо в кровать без единого слова.

Я скрывала детали этих «милых» сцен от мамы, отчасти, поскольку она хорошо относилась к Чарли, а отчасти — подозревая, возможно, и безосновательно, что если я расскажу ей все, она будет винить не его, а меня. А их общего противостояния по отношению ко мне я бы не вынесла. Я изливала душу Мэрион:

— Почему он так ненавидит меня? Почему с таким неуважением разговаривает со мной?

Мэрион пожимала плечами.

— Если хочешь спокойной жизни, выходи замуж за аптекаря. Если тебе нужен Чарли, приспосабливайся.

Если тебе нужен Чарли… Хорошо, а был ли он мне нужен? Я все еще любила его, но он презирал меня, и более того, ему это доставляло особое удовольствие. До сих пор я говорила себе, что детям нужен отец.

Но каким отцом был Чарли? Он игнорировал своих детей. Он говорил мне много раз, что они утомляют его и вообще все дети утомляют его. Если нам оставаться вместе, то откуда гарантии, что он станет другим отцом?

Более полугода — с рождения Сиднея в марте и до сентября — у нас не было секса. Я сожалела об этом, так как каждая женщина убеждена, и правильно, что налаживать отношения в браке лучше всего в постели. Но не возобновлять отношения — было мое решение. Несколько раз за этот период Чарли без слов давал мне понять, что хотя и ненавидит меня, я вызываю у него желание, и мы можем отправиться в постель и доставить друг другу удовольствие.

Но я дала ему понять — тоже без слов, — что не собираюсь

быть для него инструментом получения удовольствия, пока он не изменит свое отношение ко мне. Чарли мог совершенно разделять секс и нежность, но я не могла позволить, чтобы днем меня оскорбляли, а ночью использовали.

В тот же период мы провели несколько уик-эндов в Сан-Симеоне, и во время одного из них, Элинор Глин познакомила нас с девушкой по имени Андреа Гейтсбри, назван ее своей протеже. Андреа, угловатая, ненакрашенная девушка лет двадцати восьми казалась невероятно простенькой, если не вглядеться в ее серые тревожные глаза. Она была писательницей и перевела несколько поэтических книг с немецкого и французского на английский, и с великодушной помощью миссис Глин начинала делать собственное имя в американской поэзии. Я нашла ее приятной, хотя немного бесцветной и не думала о ней в тот момент, когда мы с Чарли собирались укладываться спать в нашем бунгало.

— Как бы ты оценила эту Гейтсбри? — спросил он.

— Не знаю. Нельзя сказать, что она мужеподобна, но она и не женственна. Мне кажется, она холодная.

Он засмеялся.

— Вот тут ты ошибаешься. Мне тоже поначалу так показалось: только карьера и никаких признаков пола. Но Джон Гилберт и Мэрион отвели меня в сторону и рассказали о ней совсем другое.

— О! — произнесла я, притворяясь, что моего интереса не хватает, чтобы задать вопрос.

— Да, — сказал он, надевая пижаму. — Похоже, что эта простушка — та еще штучка. Она любит секс и готова на него в любое время и в любом месте, хотя, как я понимаю, она достаточно осмотрительна. Она склонна к самым разным извращениям. Она явно искушенный коллекционер. Она идет на все, что только можно придумать.

— Так она что, лесбиянка? — спросила я, вынужденная показать, несмотря на мою сдержанность, что я знаю о лесбиянках. Я читала о таких людях в одной книге из библиотеки Чарли.

— Нет-нет, ничего подобного — в любом случае это не обязательно.

Чарли продолжал расписывать детали, которые доверили ему Мэрион и Джон Гилберт об Андреа Гейтсбри, и говорил об этом с таким воодушевлением, что я задумалась: зачем он мне рассказывает об этом — и так много? Через несколько минут я поняла, зачем.

— Я никогда ничего не имел с ней сам, конечно, — сказал он. — Но тот, кто сексуально раскрепощен и любопытен, естественно, интересен мне. Честно говоря, я провел большую часть времени за ужином и после, играя в небольшую игру. Я воображал некий конкурс, где побеждает человек, который предложит самый невероятный и изобретательный способ заниматься любовью с женщиной. Волнующая игра, не правда ли?

— О, очень волнующая, — сказала я ровно.

Прошла еще минута.

— Лита!

— Да?

— У тебя это неплохо получается, когда ты захочешь. Мы могли бы пригласить эту девушку в дом и приятно провести время. Ты, она и я. Мы втроем на огромной постели. Что скажешь?

Чутье подсказывало мне, что к чему-то подобному он и клонит, поэтому моей реакцией был скорее гнев, чем шок.

— Нет, безусловно, нет! — возмутилась я. — Отправляйся к ней, если хочешь. Ты великий гений, тебе все позволено. Можешь делать с ней или с кем-то другим что угодно. Только не надо меня впутывать в это дерьмо!

Он нахмурился, но не ответил. И не прикасался ко мне этой ночью, хотя мы были в одной постели. Я повернулась на бок спиной к нему и притворилась спящей и несколько часов ломала голову, как, интересно, я ответила бы ему, если бы у нас все было хорошо. Год назад, когда моя любовь к Чарли была безграничной, мы как-то раз собирались заняться любовью, и он спросил меня: «Правда, было бы интересно, если бы здесь была аудитория, и люди смотрели, как мы делаем это?» Я прошептала «да» автоматически, так как в этот момент хотела сделать ему приятное. Если бы он воспринял мой ответ всерьез и действительно привел сотню зрителей, возможно, что я сыграла бы активную и бесстыдную роль в этой игре, так отчаянно и безраздельно я любила его тогда.

Теперь, однако, я испытывала отвращение, оттого что этот враждебный и чужой человек сделал мне такое грязное предложение.

Оставшуюся часть недели я наблюдала за Андреа Гейтсбри: как легко она двигалась по земле, мало говорила и бесполо выглядела. Не знаю, была ли ее репутация заслуженной, или вся эта история была попыткой разыграть Чарли. Но я узнала кое-что об экзотических — и грубых — желаниях Чарли.

Неожиданно мне позвонила Мерна Кеннеди.

— Привет, Лита! Как ты? Давно не виделись.

— Да, давно, — сказала я прохладно. Разумеется, я не рассчитывала на пожизненную благодарность за мою помощь, но она могла позвонить мне раньше просто по-дружески.

Мы договорились встретиться за обедом в кафе в Голливуде. Я пришла туда первая и, когда она появилась, с трудом узнала ее. Мы были одного и того же возраста и знали друга с восьми лет, но в ней почти не было сходства с той Мерной, которую я помнила. В коричневом шерстяном платье, с подобранными в тон шляпой, туфлями и перчатками, с явно дорогой меховой отделкой и сверкающим бриллиантами браслетом она выглядела изысканно и шикарно. Первой моей мыслью было, что она разбогатела, но не в Charles Chaplin Film Corporation. Всем было известно, как мало платил Чарли всем сотрудникам — от посыльного до выдающихся актеров.

Мерна выдала залп вопросов обо мне, о маме и ребенке и после этого начала распинаться о том, какая замечательная у нее жизнь. Она чувствует себя ужасно виноватой, что не позвонила мне раньше, говорила она, но у нее не было буквально ни минуты передышки за последние полгода и приходилось помимо работы в картине брать уроки актерского мастерства и танцев. Она была занята собой, а я — более чем терпима, так как вполне могла понять ее возбужденное состояние.

Поздравив ее, я сказала:

— У тебя все потрясающе и, похоже, есть щедрый бойфренд. Браслет очень красивый.

Пропустив мое замечание мимо ушей, она сосредоточилась на еде, но я почувствовала, что она хочет сказать мне что-то и ждет подходящего момента.

Он наступил за кофе.

— Это Чарли подарил мне браслет, — сообщила она неожиданно.

Я прикусила губу. Чарли никогда не делал просто так подарков дороже, чем за несколько долларов. Было ясно как дважды два, почему он купил браслет. Поняв мое молчание, Мерна протянула свою руку с браслетом над моими руками без браслетов.

— Послушай, Лита, — сказала она поспешно. — Я не делала ничего плохого. О чем ты подумала? Верь мне, я не делала ничего предосудительного.

Я промолчала. Я просто сидела и смотрела на нее. И наблюдала, как она выкручивается — ведущая актриса и искушенная леди.

— Ты знаешь, я не позволила бы Чарли заводить со мной шашни, — сказала она. — В конце концов, ты моя лучшая

подруга. Если бы не ты, я бы не получила роль. Чарли… он дал мне его, поскольку, как он сказал, я стану когда-нибудь настоящей кинозвездой, и что прежде, чем стать знаменитой, я должна настраиваться и соответственно выглядеть: носить красивые вещи, словно я уже знаменита. У него большие планы по поводу меня. Он рассказывал тебе о своих планах на мой счет?

Я покачала головой, все еще не говоря ни слова.

— О, все так чудесно. Ты знаешь, что он собирается делать, Лита? Он собирается снимать фильм о Наполеоне и Жозефине, когда закончит «Цирк», и он говорит, я могу сыграть Жозефину!

Жозефину!

Она продолжала оживленно болтать еще несколько минут, прежде чем ошарашила всей степенью своей наглости. Оказывается, она пригласила меня на обед, поскольку хотела попросить моей поддержки. Чарли много говорил о фильме о Наполеоне и Жозефине, но в последнее время перестал упоминать об этом, поэтому она немного боялась обращаться к нему с этим. Не могу ли я обсудить это с ним и подать ему идею, что она была бы прекрасной Жозефиной?

Когда я, наконец, смогла собраться с мыслями, я сказала:

— Мерна, я хочу задать тебе один вопрос. Зачем ты надела этот браслет сегодня? Он подарил его тебе — этого мало? Зачем приходить сюда и крутить им перед моим носом?

Она моргала, словно не могла понять меня.

— Ты что, расстроилась? Я же говорю тебе, я не делала ничего плохого.

Приподнявшись, я дала ей пощечину. Потом выбежала из кафе, не глядя на других людей, которые, наверное, были не менее поражены, чем Мерна.

Я встретилась с Чарли.

Я ожидала, что он будет возмущаться и все отрицать, но он этого не делал. Конечно, он переспал с Мерной, с вызовом подтвердил он. Были и другие с 24 ноября 1924 года. И всех их я знаю… Эдна Первиэнс… Пегги Хопкинс Джойс… и Мэрион Дэвис!

— А тебе, собственно, какое дело?

— Я развожусь с тобой, — отрезала я. Я и раньше говорила это, но никогда еще не делала это с такой убежденностью, как сейчас. Чарли начал обзывать меня такими именами, к которым я уже почти привыкла. Только теперь они отскакивали от меня, а я кричала на него — впервые в жизни.

— Замолчи! Все кончено, я сыта по горло. Мне надоели твои издевательства, с меня хватит дерьма, которым ты меня обливаешь. Больше тебе не запугать меня, слышишь? Я ухожу от тебя и развожусь, я проклинаю каждый день, который провела с

тобой!

Он выслушал меня с пугающим спокойствием. Когда я запнулась в поисках подходящего слова, он спокойно подвел итог:

— Ты не можешь уйти от меня. Ты будешь разорена. Не только ты, но и дети тоже. Вы будете нищими навсегда.

Похоже, он хорошо подготовился к объяснению. Если я посмею предпринять какие-либо законные действия против него, объяснил он, я могу быть уверена, что мне не поздоровится. Слуги преданы ему, а не мне, и они скажут то, что он велит. Они скажут, что много раз видели меня в таком пьяном виде, что им приходилось отводить меня в постель. Что я не уделяю внимания детям, что я откровенно привожу любовников в дом и устраиваю оргии. Он наймет нескольких молодых людей, подучит их написать что надо, вызовет их в суд, и они засвидетельствуют десятки моих измен. Он, любимый всеми Чарли Чаплин завоюет симпатии всего мира — и детей.

Более того, он заплатил д-ру Кайзеру двадцать пять тысяч долларов за фальсификацию даты рождения Чарли-младшего, и если понадобится, он обнародует этот факт, так что не только доктор автоматически лишится своей лицензии на врачебную деятельность, но и Чарли-младший будет навсегда считаться причиной женитьбы родителей. А Сидней тоже будет вынужден страдать. Это затронет и его тоже, разумеется, но зато Чарли доставит удовольствие насолить мне.

— Так что тебе, умная девочка, следовало не торопиться принимать поспешные решения! — сказал он и улыбнулся. — Знаешь, что я сделаю? Я тебе дам денег на прекрасное путешествие. Отправляйся в Мексику, на Гавайи, куда хочешь. Отдыхай и подумай хорошенько. Возможно, ты поймешь, что жизнь со мной, в конце концов, не так уж плоха.

Глава 16

Томи и Тода взяли на себя заботу о Сиднее, который был слишком мал для путешествия на океан, а мама и Чарли-младший отправились со мной на Гавайи.

Мама огорчала меня. Когда мы приехали на море, я рассказала ей обо всех угрозах моего мужа, ожидая от нее искреннего сочувствия. Вместо этого она поддержала Чарли, попытавшись представить его не таким чудовищем, каким он был по моему убеждению. Если он изменял мне со всеми этими женщинами, это, конечно, ужасно, согласилась она. И не надо было так грубо разговаривать со мной. Но она никогда не поверит, что он серьезно относится ко всему тому вздору, который нес. Нет никаких сомнений, он — непростой человек; но я — его жена и мать его детей, и она не желает больше слышать эту чепуху о разводе с ним. Она знает, что такое брак, напомнила она мне. У нее было три мужа, и она поняла свои ошибки слишком поздно. Ее главная ошибка в том, что она не желала признать тот факт, что мужчину нужно холить и лелеять. Может быть, я была недостаточно мила с Чарли. Если я буду более внимательна к нему, когда мы вернемся домой, наши проблемы сгладятся.

Я не говорила ей раньше о револьвере, которым он размахивал. Теперь я сделала это.

Даже это не смутило ее.

— Чарли — актер, дорогая, — сказала она. — Другие мужья машут кулаками. Чарли машет оружием. Кстати сказать, незаряженным, я уверена. Не могу представить его в роли убийцы. Это просто смешно.

Я сдалась на волю судьбы. Единственный способ заставить ее поверить мне — быть убитой.

В Гонолулу мы поселились в отеле «Модна». Я плавала и загорала на побережье Уайкики, но покоя в душе не было. Долгий отдых вдали от Беверли-Хиллз дал мне массу времени на размышления, как и предвидел Чарли. Ситуация была безнадежной, брак обречен, и чем дольше мы оставались вдали друг от друга, тем реальней становилась картина моих унижений. Я пыталась вообразить, какая женщина могла бы вынести брак с ним.

Женщина, думала я уныло. Женщина — это не то, чем была я. Может быть, в этом и проблема. За эти два года я очень повзрослела, но все-таки я еще не была женщиной.

Каждый раз я ловила себя на том, что, расслабившись, готова

принять факт, что действительно люблю его, думать, что все как-то само собой может наладиться, если я изменю себя, но потом я начинала вспоминать все его жестокие выходки и погружалась обратно в безысходность. Чарли вел себя по-садистски во многих отношениях, слишком во многих, пожалуй, чтобы заслужить прощение даже самой умной и понимающей жены на свете. Он угрожал навредить не только мне, но и будущему собственных детей. Он нагло похвалялся своими изменами, совершенными уже после того, как я стала его женой, и заявлял, что его любовная жизнь меня не касается.

Но во много раз больнее в сравнении с Чарли меня ранило поведение Мэрион Дэвис. Возможно, он и лгал в отношении нее, но не думаю. Мэрион была моей единственной настоящей подругой после того, как я переехала в Коув-Вэй. Она смотрела мне в глаза и говорила, что между ней и Чарли ничего не было с тех пор, как мы с ним поженились. То, что он спал с Мерной, шокировало меня, но не убивало. С Мэрион было и то, и другое.

К тому времени, когда через три недели мы вернулись в Лос-Анджелес, я была готова опять повернуть все вспять — отчасти, поскольку мама настаивала на том, что любой брак надо стараться сохранить, а отчасти из-за моего собственного желания сделать еще одну попытку. Я ехала домой, готовая сделать все, что в моих силах, чтобы мы остались вместе.

Я не строила иллюзий. Сначала, естественно, я кинулась в детскую обнять своего ненаглядного Сиднея. Едва я успела порадоваться воссоединению с моим малышом, как Томи заговорщически закрыла дверь. «Тода рассказал мне кое-что, о чем болтают слуги, — сообщила она шепотом. — Слуги говорят, у вас плохо с м-ром Чаплином, если вы уйдете от него, он не отдаст вам Сиднея. Слуги знают, что говорят. Они не велели вам говорить, но они сказали Тоде, а он мне. Надо быть осторожней. Плохо дело, очень плохо, если он хочет малютку так использовать».

Было два часа дня. Я не стала дожидаться, пока Чарли вернется домой. Я взяла Сиднея, сказала маме, что мы не можем оставаться под крышей этого дома больше ни минуты, что Чарли затеял плохое дело, и я не могу позволить ему сделать ребенка заложником. Я велела Томи быстро упаковать детские вещи и попросила маму позвонить дедушке, чтобы он приехал за нами.

Мама сопротивлялась, говоря, что я веду себя опрометчиво, что это ошибка и нельзя принимать решения необдуманно.

— Тогда оставайся здесь с Чарли, — заявила я в бешенстве. — Я сама все сделаю, и позвоню, и возьму детей. Можешь продолжать тешить себя иллюзиями. Оставайся здесь,

сиди и радуйся, что ты — теща Чарли Чаплина!

Она позвонила дедушке, и тот сказал, что приедет.

Когда он примчался, и слуга впустил его в дом, мы были наготове. Мама собрала Чарли-младшего и необходимые вещи на ближайшее время, а я взяла Сиднея. В этот момент в холле возник Коно. Я проигнорировала его и попросила мальчика-слугу снести чемоданы вниз. Коно сделал повелительный знак рукой.

— Я не знаю, что происходит, — сказал он холодно, — но из дома ничего нельзя выносить, пока… Мой семидесятидвухлетний дедушка возвысился над Коно с угрожающим видом и пророкотал:

— Отвали, а то рук и ног не сосчитаешь, сукин сын! Моя дочь и внучка могут взять все, что принадлежит им по праву!

А мальчику-слуге рявкнул:

— Эй, ты! Делай, что тебе велено! Хватай багаж и неси.

Мальчик неохотно подчинился.

Коно развернулся на пятках и удалился, бормоча, что все будет доложено м-ру Чаплину. Мальчик спустился с чемоданами и погрузил их в багажник дедушкиного «Линкольна». Мы последовали за ним и поехали домой, где нас в дверях встретила бабушка и взяла детей.

Дома дедушка велел маме дать мне спокойно все рассказать. В порыве эмоций и от страха, что Чарли накажет меня, я рассказывала о жестокости и изменах Чарли, о его требованиях и тиранических угрозах. Мама пыталась перебить меня, что не все так мрачно, как я описываю, дедушка шикал на нее, ворча:

— Кто замужем за этим сукиным сыном, Лиллита или ты?

Закончив свою исповедь, я была опустошена.

Дедушка помолчал и сказал:

— Твой следующий шаг очень важен, детка. Пока я жив, ты не вернешься к этой скотине. Но ты должна сама принять решение о разводе. Ты абсолютно уверена, что хочешь развода?

Я горячо закивала в ответ.

— Абсолютно уверена. Мне не надо ни пенни от него. Все, что я хочу, это перестать быть его женой как можно быстрее. Мне все равно, что он сделает мне, но я не буду его женой. Я готова, если придется, работать подавальщицей, чтобы содержать детей, но не могу больше выносить его издевательств.

Дедушка вышел из гостиной, пока я начала снова обдумывать все сказанное за последний час. Может быть, я неправильно поступила, уйдя от Чарли, а тем более таким образом? Может быть, он не такое чудовище, как я его представила? Может быть, следовало прислушаться к маме, прежде чем уходить из дома, в котором я прожила два года?

В комнату вернулся дедушка, сжимая кулаки.

— Я позвонил твоему дяде Эдвину в Сан-Франциско. Он кровный родственник, так что его они не подкупят. Он приедет сюда через пару дней. А пока, он сказал, чтобы ты ни с кем не разговаривала за пределами дома.

Мама вздохнула.

— Ох, папа, да неужели мы куда-то будем выходить при таких обстоятельствах?

— Именно. Вам нельзя делать ни шага без адвоката.

Не знаю, как я догадалась, но когда позвонил телефон, я была уверена, что это Чарли. Я взяла трубку и услышала его голос.

— Лита, — сказал он медленно и устало, как человек, который теряет терпение, уговаривая избалованного ребенка. — Очень хорошо, ты поиграла в забавную игру и доказала, что ты самостоятельная взрослая дама. А теперь возвращайся домой. Я пошлю за тобой Фрэнка.

— А как насчет детей? Их я тоже должна взять с собой?

— Разумеется! Что за вопрос!

Я была удивлена силе своего голоса.

— Если я решу уйти снова, кого из детей ты намерен оставить в качестве выкупа? Снова Сиднея? Или Чарли-младшего на сей раз? Или, может быть, обоих? Да, это будет отличный ход. Ты будешь рассказывать в газетах и судье, и всем, что я сбежала с кучей любовников и бросила не только тебя, но и обоих детей. Все будут так жалеть тебя!

— Тебе что, твоя семейка вбила в голову эту чушь насчет выкупа — так ты сказала? Я пошлю Фрэнка забрать тебя. Если хочешь, если твоя семья будет довольна, оставь мальчиков там на время. Ты делаешь ошибку, Лита. Возвращайся домой и мы спокойно все обсудим, без лишних свидетелей. Я объясню тебе, что…

— Это второй раз, когда ты сказал: «Возвращайся домой», — прервала я. — Когда это стало моим домом? Я напугана, Чарли, но, похоже, ты еще больше напуган. Чего ты боишься? Ты боишься, что я больше не стану тебе подчиняться?

Он издал сокрушенный вздох.

— Послушай, это не ты говоришь. Это твоя семейка подучила тебя нести эти абсурдные обвинения. Приходи домой и говори сама за себя.

Расстояние придавало мне смелости.

— Довольно об этом, — сказала я. — Ты — блестящий человек, я глупая девчонка, но не развратница, в отличие от тебя. Я может быть и дура, но не потерплю этого скотства.

Я повесила трубку. Возле меня, попыхивая трубкой, стоял дедушка.

— Я подошел к концу твоего разговора, буквально несколько секунд назад, Лиллита, — сказал он. — Твой дядя Эдвин требует, чтобы ты вообще ничего не обсуждала с Чаплиным, но должен сказать, ты вела себя, как женщина, которая знает, что делает.

— Только я — не женщина, — произнесла я и пошла наверх к сыновьям.

К тому времени, как в Сан-Франциско приехал дядя Эдвин, готовый к работе, я была в смятении. Это был решительный, деловитый шотландец, излучающий уверенность и компетентность и готовый разорвать Чарли на куски.

И все из-за того, что я вела себя глупо и истерично, когда вернулась с Гавайев, сказала я себе. Тогда я готова была лезть на рожон, подстегиваемая уверенностью моего дедушки, что я права, а мой муж нет. Теперь, после бессонных ночей и безудержных рыданий я отдала бы все, чтобы избежать неприятностей. Я закрыла в моем сознании доступ к той его части, которая напоминала мне об угрозах и унижениях. Конечно, Чарли не был неповинен в том, что произошло между нами, но точно так же и я. Я должна была быть лучшей женой, может быть, мне надо было поговорить с Чарли, может быть, если начать все сначала, может быть, может быть… может быть… может быть… Я воображала его дома, видела, как он старается сделать что-то для меня и для детей. Я чувствовала себя лишенной чего-то, незащищенной без него…

Дедушка обрисовал проблему еще во время междугороднего телефонного разговора, но теперь, когда Эдвин Макмюррей был здесь лично, предполагалось, что я расскажу ему все подробности. Когда я попыталась повторить решительные обвинения, которые делала раньше, то обнаружила, что путаюсь, не могу ничего толком сказать, и все получается как-то расплывчато и невнятно. Только мама казалась довольной, что за несколько дней ожиданий из меня вышел пар. Дедушка же был раздражен так, что теперь, после того, как он вызвал Эдвина из Лос-Анджелеса, жестокость в моих описаниях выглядела не страшнее легкой головной боли.

Эдвин сказал:

— Я хотел бы сделать предложение, Уилл. Дай нам время побыть вместе с Лиллитой наедине. Идите с Лиллиан в другую комнату или поезжайте куда-нибудь. Девочка столько всего пережила, и ей столько еще предстоит, она стесняется. Поезжайте — покатайтесь куда-нибудь на той прелестной машине, которую я видел возле дома.

С этого момента дедушка ретировался и предоставил все моему дяде, который, дав мне почувствовать, что полностью на моей стороне, вскоре добился того, что я рассказала ему все, что могла. Он задавал сотни наводящих вопросов, но ни в коем случае не подсказывал ответы. Он делал какие-то пометки в длинном желтом блокноте, и его терпение казалось бесконечным. Он говорил и сам, но надо отдать ему должное, не пытался делать это за меня.

Потом он начал обсуждать процедуру бракоразводного процесса.

— Я не уверена, что хочу разводиться с ним, — сказала я.

Дядя нахмурился. Он откинулся, подпер ладонью щеку и сказал спокойно:

— Ну, а чего же ты хочешь, Лиллита?

Я начала запинаться.

— Не уверена, что знаю. Пока не знаю.

— Пока? И когда ты собираешься решить? А пока ты будешь решать, твой дедушка будет кормить твоих детей? Это что, обязанность твоего дедушки заботиться о детях Чарли Чаплина?

Я должна была признать, что о деньгах я не подумала.

— Уверен, что твой муж, у которого денег намного больше, чем у твоего дедушки, как раз очень хорошо подумал об этом, — сказал он и, помолчав, добавил: — Я понимаю дело так, что состояние твоего мужа составляет порядка шестнадцати миллионов долларов.

— Мне ничего не нужно, — сказала я поспешно. — Я имею в виду, что если я буду разводиться с ним, я не хочу его обдирать, как липку. Разумеется, дети должны быть обеспечены, но… Я чувствую себя просто ужасно. Говорить о деньгах, ну, не знаю…

Я сделала глубокий вдох.

— Мы должны обсуждать это? Чарли так волнуется о деньгах, которые он заработал. Он ужасно бесится. Он никогда не отдаст деньги добровольно. Можем мы — я не знаю… можете вы вести дело так, чтобы не слишком разозлить его?

Эдвин наклонился вперед и вздохнул:

— У тебя есть основания считать, что Чаплин намерен быть любящим, ответственным мужем и отцом?

— Нет…

— Забудь на минуту, что он разозлится. Может что-нибудь оправдать его, если при его богатстве он не захочет обеспечить своих детей и жену?

— Нет…

— Тогда давай прекратим миндальничать, — сказал он и потянулся к своему блокноту. — Первое, что мы должны

обеспечить для тебя, — это временное содержание. Ты боишься рассердить человека? Что за нелепость? Ты что, ребенок?

Хотя Эдвин и предупреждал меня лично, как предупреждал дедушку по телефону, что я не должна общаться с Чарли, я не могла жить с мыслью, что не увижу его больше, особенно теперь, когда мой дядя начал предпринимать такие жесткие меры. В тысячный раз во мне все переворачивалось: теперь я опять была убеждена, что у нас с Чарли нет совместного будущего; Эдвин Макмюррей потратил целый вечер, помогая мне убедить саму себя. Но нас была целая толпа, и мы собирались напасть на него. План натравить на него адвоката, не поговорив предварительно с ним, казался слишком холодным, расчетливым и беспощадным.

Не могу сказать, что я звонила ему из лучших соображений в начале ноября 1926 года, у меня вообще не было какого-либо твердого мнения. Я осмотрелась и, убедившись, что никто меня не услышит, позвонила ему. Он пригласил меня в дом на Коув-Вэй. Голос его был приветливым. Я ушла из дома, сказав, что собираюсь в кино. Ральф открыл дверь и впустил меня, кивнув несколько неопределенно, словно не вполне представлял, как приветствовать меня, и сказал, что м-р Чаплин в музыкальной комнате.

Когда я вошла, Чарли, который никогда не учился музыке, но был очень одаренным от природы, прекратил играть на органе. Его густые вьющиеся волосы были непричесанны, одет он был в свою обычную домашнюю одежду — трикотажную рубашку, бесформенные брюки и шлепанцы, и, тем не менее, был, как всегда, неотразим. Он слегка улыбнулся и привстал, когда я подошла к нему ближе, — хотя и не слишком близко.

— Привет, Лита. Ты выглядишь усталой.

— Ты тоже, — сказала я, усаживаясь в красное кожаное кресло. — Какая прекрасная мелодия. Это ты сочинил?

Чарли не воспринимал себя всерьез как композитора и часто говорил, что играет на органе или на пианино, только чтобы расслабиться. Хотя музыка, которую он придумывал, оставалась в его голове, он все равно неизменно записывал ее. Это было дальновидно, поскольку, к тому времени, когда появилось звуковое кино и он, наконец, сдался и признал, что звук должен быть и в его картинах, как и у других, музыка уже была им сочинена. Например, он написал тему к «Огням рампы» (Limelight) и отложил на пятнадцать лет, до того как в 1953 году фильм вышел в свет.

— Да. Неплохо, но не так, чтобы завтра поутру всякий мог ее напеть, — сказал он и закурил сигарету, что делал очень редко. — Что я могу тебе предложить? Сказать, чтобы принесли

бренди и содовой?

— Нет, спасибо.

Он помотал головой.

— Лита, никак не могу понять, почему мы сидим здесь, как чужие люди, хотя это совсем не так.

— Может быть, так оно и есть. Хотелось бы, чтобы это было не так, но… — сказала я вполне миролюбиво. — Я не знаю, кто мы друг для друга. Я думаю, одна из причин, почему я пришла сюда, как раз выяснить это.

Чарли изучающее смотрел на меня.

— А какие другие причины, Лита?

Я помолчала, а затем осторожно двинулась дальше.

— Я пришла сказать, что развожусь с тобой.

— Ты говорила мне это по телефону. Ты что, специально пришла сюда для того, чтобы повторить ЭТО?

Когда я не ответила, он спросил:

— Ты можешь объяснить мне, что на тебя нашло? Почему ты удрала отсюда как вор, среди ночи? Почему ты не живешь здесь?

— Потому что ты не хочешь, чтобы я с детьми жила здесь.

— Ну вот, опять этот детский спектакль. Я признаю, я наговорил грубостей, но я много работал, и я не всегда владею собой. Я не злодей, я такой, какой я есть. Если ты хотела одних только радостей в жизни, тебе надо было выйти замуж за аптекаря. Но ты замужем за мной. Это нелегко быть замужем за мной, но, в конце концов…

В моей голове пронеслось воспоминание, теперь я уже не была преданной маленькой девочкой.

— Кто-то говорил мне то же самое, почти слово в слово, — сказала я. — Если хочешь покоя и радости, выходи замуж за аптекаря. Если тебе нужен Чарли, терпи. Ты знаешь, кто сказал мне это? Мэрион. Мэрион Дэвис. Интересное совпадение, правда?

— Мэрион? С какой стати ей понадобилось…

Теперь я была тверда, как никогда, и уверена в себе более чем когда-либо.

— Чарли, ты притворщик и лжец, и я брошу тебя, прежде чем у тебя появится шанс опять причинить мне боль. Я пришла сюда сказать тебе, что детей надо кормить и одевать. Я пришла сюда сказать тебе, что это обязанность не моего дедушки, а твоя. Я хочу, чтобы ты здесь и сейчас сказал мне: ты хочешь вернуть меня и детей, потому что любишь нас, или потому что боишься расстаться с деньгами?

— Кто говорит весь этот вздор мне? Не ты, дурочка. Это твои мама и дедушка. Они подучили тебя, они вбили эти глупости тебе в голову.

— Нет, — сказала я. — Это мой адвокат. Он умный, он умнее нас всех вместе взятых, и он вызовет тебя в суд и заставит платить.

— Теперь я вижу, — зловеще прохрипел Чарли. — Ты обзавелась адвокатом, и он послал тебя вручить мне отчет о проделанной работе, так? Если я мило позволю тебе обчистить меня, то могу отправляться в богадельню, и никто меня не потревожит. Если же задам парочку вопросов, вы отрежете мне яйца. Это ты собиралась мне сообщить?

— Никто не знает, что я здесь. Меня предупредили, чтобы я не разговаривала с тобой, — сказала я. — Я просто хочу по возможности облегчить тебе жизнь. Я еще больше, чем ты, не хочу, чтобы все это переросло в войну и попало в газеты. Если ты дашь мне сумму, достаточную, чтобы обеспечить детей и встать на ноги, я откажусь от адвоката, и ты никогда не услышишь о нас больше.

Его глаза сузились.

— И какую сумму ты хочешь получить?

Я назвала сумму, которая пришла мне в голову по дороге:

— Десять тысяч долларов.

Он взорвался.

— Десять тысяч — ты серьезно?

А почему не миллион?

— Десять тысяч это разумная сумма, разве нет? Остальные твои проблемы исчисляются сотнями тысяч.

Взбешенный Чарли шагал по комнате, не сводя с меня глаз.

— Ага, деньги! Ты пришла сюда за деньгами, паршивая мексиканка? Хорошо, ты отправишься к своей банде и передашь мои слова: вы не получите ни цента из моих денег Кто ты такая? Что хорошего ты сделала, чтобы заслужить что-то от меня? Если твоя семья не хочет кормить тебя, нечего приходить сюда и распускать нюни. Подними свою задницу и придумай для нее какое-нибудь занятие, помимо сидения. Сдай ее в аренду, шлюха. У тебя неплохо получится, ты заработаешь гораздо больше, чем если будешь пытаться вытряхнуть деньги из меня!

Я поднялась.

Он продолжал разоряться по поводу своих денег, пока я молча выходила.

Я вернулась к дедушке и с бабушкой. И около года своей жизни залечивала душевные раны.

Глава 17

Рада бы сказать, что все случившееся между ноябрем 1926 и августом 1927 года происходило без моего участия, поскольку, оглядываясь назад, понимаю, что все выглядит так, словно жестокая, бездушная, корыстолюбивая женщина Лита Грей Чаплин вознамерилась завладеть деньгами Чарли Чаплина и опозорить его. Но не могу сказать этого, так как, безусловно, я должна была знать, что с той минуты, как Эдвину Макмюррею был дан зеленый свет, была запущена тактика погони за выгодой. Я могла бы защищаться, ссылаясь на свою молодость и доверчивость, — что когда люди защищают мои интересы, постоянно повторяя: «Мы знаем, что для тебя лучше», — они действительно знают. Но не могу использовать такое оправдание; я должна была осознавать, что они собираются причинить вред моему мужу, и не остановила их.

Вначале я все же надеялась, что и Чарли, и я сможем вести себя достойно. Одно дело было сообщить о плохом обращении маме, дедушке и адвокату лично, а другое — обнародовать это. К тому же, если честно, я волновалась, что рассерженный Чарли, который действительно был могуществен и способен на безжалостные ответные меры, может реализовать свои угрозы в отношении меня. А что, если бы он, или его адвокат заявили, что я плохая мать, что я пила, что у меня были любовники? Если бы я отрицала эти дикие обвинения, а он повторял их публично, и его слуги и нанятые лжесвидетели подтвердили его слова, то кому из нас поверил бы мир?

Но больше всего я беспокоилась о детях. Сейчас они были еще маленькими, но когда-то должны были повзрослеть, и на всю жизнь им предстояло остаться сыновьями Чарли Чаплина. Публичные скандалы могли нанести им непоправимый вред.

Мой дяди Эдвин приехал из Сан-Франциско и, поскольку ему было выгодно работать от фирмы в Лос-Анджелесе, поступил на работу в компанию Young, Young and Young и вел дело совместно с ней. Предварительные слушания состоялись после того, как адвокаты Чарли сообщили, что тот не намерен платить ни цента, поскольку прав он, а не я. Неожиданно мне захотелось прекратить это, но я не знала, как это сделать. Я была виновата в том, что происходило с Чарли. Я не только дала делу ход, но и в каком-то оцепенении наблюдала, как мой дядя — и умные адвокаты, присоединившиеся к параду защитников Литы Чаплин, строили обвинения в пренебрежении, неуважении и психологической жестокости Чарли. Его сторона отбивалась: мол, я купалась в

роскоши, он ни в чем не отказывал мне, а я отвечала на его любовь холодностью и эгоистическим безразличием. Я испытывала одновременно и ужас, и отупение. К тому моменту, как я смогла стряхнуть с себя это состояние и сказать Эдвину, что не хочу быть посторонним наблюдателем, когда речь идет о принятии решений, было уже поздно. Адвокаты полностью взяли все в свои руки. Меня практически игнорировали.

Десятого января 1927 года предполагалось подать заявление о разводе в суд, но я не изучала его заранее, главным образом потому, что Эдвин все реже утруждал себя разговорами со мной, и заверял, что документ написан на юридическом языке, понятном только адвокатам. Я увидела заявление совсем незадолго до того, как оно стало доступным для публики, и была словно громом поражена. Заявление затрагивало вопросы доходов Чарли, сбережений, инвестиций и было направлено не только против него, но и против его студии United Artista, Элфа Ривза, четырех калифорнийских банков, самых разных компаний и даже Коно. Тем не менее главным обвиняемым был Чарли. Заявление состояло из сорока двух страниц обвинений и требований, написанных вовсе не на таком таинственном языке, как меня уверял дядя. Я понимала большую часть того, что прочитала, и была явно не единственным неспециалистом, сделавшим это; двенадцатого января кто-то завладел документом достаточно надолго, чтобы размножить на ротаторе, и теперь тысячи экземпляров продавались на каждом углу города. Во всех газетах сообщалось о заявлении, и приводились — хотя и деликатно — некоторые выдержки из него, что в 1927 году было достаточно пикантно для общественного восприятия.

То, что я прочла, потрясло меня. Здесь были жалобы, которые я доверила моему дяде, и в некоторых местах они были с умом раздуты или искажены. Пренебрежение и крутой нрав Чарли, безразличие и угрозы рассматривались в таких деталях, что теперь, когда все это было беспристрастно изложено на бумаге, я была потрясена.

«…ответчик никогда на протяжении совместной жизни с истицей не поддерживал с ней нормальные семейные и супружеские отношения, обычные между мужем и женой.

В связи с этим истица утверждает касательно сексуальных отношений, существовавших между сторонами, что поведение, проявления и интересы ответчика были ненормальными, противоестественными, извращенными и неприличными, а именно: на протяжении всей супружеской жизни указанных сторон ответчик подстрекал, требовал или настаивал, чтобы

истица выполняла действия, потакающие ненормальным, извращенным сексуальным желаниям непристойного и оскорбительного характера, подробно изложенным в данном заявлении. Вышеупомянутые подстрекательства и требования были так отвратительны и оскорбительны для истицы и так унижали ее человеческое достоинство, показывали такое отсутствие уважения к истице как к женщине и жене, что задевали ее чувства и противоречили ее моральным устоям.

Упомянутые выше подстрекательства и домогательства начались вскоре после женитьбы и включали чтение истице книг по данной теме, с целью склонить ее к извращенным действиям, а также изложение деталей отношений с пятью известными киноактрисами.

Вышеупомянутое поведение имело такую длительность и такой характер, что истица имеет основания считать его результатом предумышленного намерения и плана со стороны ответчика с целью подорвать нормальные сексуальные влечения, снизить моральные стандарты истицы, изменить ее представления о приличиях и нарушить нравственные устои для удовлетворения вышеупомянутым ответчиком неестественных желаний и потребностей.

Упомянутые действия, поведение, подстрекательства и домогательства ответчика, кроме вышеупомянутого воздействия на истицу, были причиной постоянных трений, ссор, неудовлетворенности в отношениях упомянутых сторон и привели к пренебрежительному обращению с истицей вследствие ее постоянных отказов уступать упомянутым требованиям и подстрекательствам со стороны ответчика.

В этой связи истица утверждает, что примерно за шесть месяцев до того, как указанные стороны разошлись, ответчик был дома перед ужином и потребовал, чтобы истица согласилась на сексуальное извращение, соответствующее пункту 288а уголовного кодекса Калифорнии. Ответчик пришел в ярость из-за отказа истицы и сказал ей: „Все женатые люди делают это. Ты моя жена и должна делать то, что я хочу. Я могу потребовать развода за отказ делать это“.

Ввиду того, что истица продолжала отказываться, ответчик неожиданно уехал из дома, и истица не видела его до следующего дня.

Примерно за четыре месяца до разъезда упомянутых сторон ответчик назвал имя их знакомой и сказал ответчице, что располагает информацией о вышеупомянутой девушке, позволяющей считать, что она может захотеть участвовать в сексуальных извращениях, и попросил истицу пригласить

девушку в дом, сказав истице, что они могут „поразвлечься“ с ней».

По либеральным стандартам 1960 года фразы, подобные этим, могут показаться относительно нейтральными. Но в 1927-м такие слова, как «ненормальные», «извращенные», «неестественные» и «неприличные» — особенно применительно к всемирно любимому Чарли Чаплину, — произвели эффект разорвавшейся бомбы среди нескольких миллионов любителей сенсаций.

И хотя документ был подписан не мной, а моими адвокатами, тем не менее мое имя фигурировало на первой странице в качестве истицы. Я не просто просила поддержки, я опозорила имя Чарли, возможно бесповоротно.

Я нашла Эдвина и сказала ему, что сражена.

— Правда? А что, ты думала, я сделаю с материалом, который ты предоставила мне? — спросил он.

— Но я никогда не думала, что все это получит огласку…

Он издал один из своих укоризненных вздохов.

— Да, Лиллита, если бы этот развод оставался в твоих руках, ты не только ничего не получила бы от Чаплина, но еще и посылала бы ему каждую неделю чеки за право помыть у него пол. Послушай, нет никакого компромисса между детскими перчатками и боксерскими в таком деле, как это, — особенно, когда ясно, как божий день, что Чарли — куда более грубый и испорченный, чем можно себе вообразить. Мы пытались много раз образумить его представителей, договориться на достойных условиях, и каждый раз они были готовы обсуждать лишь смехотворные суммы. Мы настаиваем на алиментах в четыре тысячи долларов в месяц для тебя. Они же не могут понять, почему мы не прыгаем от радости, когда они предлагают двадцать пять долларов в неделю для тебя и детей. Они по-прежнему готовы урегулировать все это, но пытаются договориться за смешные деньги порядка пары тысяч долларов. Мы боремся за миллионы.

— Миллионы!

Опять вздох.

— Лиллита, ты повзрослеешь когда-нибудь? У тебя муж в весьма незавидном положении, и его адвокаты знают это, поскольку им хорошо заплатили за их изобретательность. Если мы решим, что действительно хотим добить это дело, мы можем не только обеспечить тебе и детям более чем приличное содержание, но и засадить увертливого м-ра Чаплина за решетку. Есть в уголовном кодексе Калифорнии такой пункт, очень

неприятный для мужчин, даже женатых мужчин, занимающихся оральным сексом в своих собственных домах, и на это мы ссылаемся в заявлении. Если мы захотим, можем отправить его на пятнадцать лет в тюрьму.

— Минуточку…

— Хорошо, может быть, это нелепый закон, и он никогда не исполняется, если на то пошло. Но он существует, и советники знают о нем — и знают, что мы можем воспользоваться этим.

Мне стало дурно.

— Во что я ввязалась? Мне не нужно столько денег. Никогда больше не поднимайте эту тему!

Эдвин Макмюррей пожал плечами.

— Так устроен мир, детка. Немного сантиментов с твоей стороны — это очаровательно, но тебе надо быть готовой к тому, что предстоит. Прежде чем Чаплин сдастся, он сделает все, чтобы уничтожить тебя.

Судья назначил мне три тысячи долларов в качестве временных алиментов и настаивал, чтобы я пользовалась домом Чарли в ожидании окончательного рассмотрения дела. Решение судьи состояло в том, что мальчики и я должны, по его словам, «жить в условиях, к которым привыкли».

«А где должен жить Чарли?» — спросила я. Мне сказали, что он сбежал в Нью-Йорк к своему адвокату Натану Буркану. Суд был готов поддержать управление имуществом. На все имущество Чарли в Калифорнии должны были наложить арест.

Чем больше меня поздравляли с победой на начальном этапе рассмотрения, тем более несчастной я себя чувствовала. Если хорошая жизнь с Чарли была невозможна, то единственное, чего я хотела, это разумная поддержка детей и меня. Я не хотела возвращаться победительницей в дом Чарли — он был пуст без него. Меня передергивало, когда меня называли «истицей», а Чарли «ответчиком». Его приспешники были в негодовании по моему поводу, и, вероятно имели на то основания; если бы не я, закон не позволял отчуждать от Чарли какое-либо имущество.

Чарли вручили заявление о разводе в нью-йоркских апартаментах Натана Буркана, и потом он встретился с репортерами, чтобы обнародовать заявление, которое не было правдивым, но для него было относительно мягким: «Я женился на Лите Грей Чаплин, потому что любил ее, и как многие другие глупцы, любил ее тем больше, чем больше она мне делала зла; боюсь, что и теперь люблю ее. Я был потрясен, когда она сказала мне, что не любит меня, но мы должны пожениться. Мать Литы предлагала мне жениться на Лите, и я сказал ей, что был бы только рад, если бы только мы могли иметь детей. Я думал, что

неспособен быть отцом. Миссис Грей намеренно и постоянно подстраивала наши встречи с Литой. Она провоцировала наши отношения».

Казалось, всякий человек, читающий газеты или слушающий сплетни, мог выступить экспертом или судьей в наших отношениях. И либо вы были на стороне Чарли Чаплина, независимо от вытекающих из этого последствий, — либо на стороне Литы Грей, независимо от того, что это значило. Был Чарли — несчастный маленький клоун, сраженный очередным неудачным браком, печальный гений с разбитым сердцем, трогательный мим из лондонских трущоб, достойный обожествления, но вместо этого распятый. И была я — корыстолюбивая, развратная шантажистка, неблагодарная мексиканка, чья невежественная алчная семейка вознамерилась лишить несчастного и обожаемого Чарли его последнего доллара и остатков достоинства. Распутная и жадная до денег и славы, я хитростью соблазнила Чарли.

Но общественное мнение не пощадило и Чарли. В некоторых непримиримых кругах его обличали как развратного иностранца, лишившего невинности непорочную девственницу. Его изображали, как гедониста, убежденного, что деньги и власть дают ему право позволять себе все, что в голову взбредет, и не считаться с нормами морали. Его называли эгоистичным и бездушным сатиром, который неуважительно относится к браку и семейным обязательствам, человеком, равнодушным к благополучию собственных детей. Проповедники метали громы и молнии со своих кафедр. Граждане, никогда не нарушавшие десять заповедей, призывали бойкотировать «оскорбительные для морали» фильмы Чарли, и несколько штатов отказались от их показа.

В стороне от этих крайностей держались менее пылкие наблюдатели, полагавшие, что в неудачном браке редко виноват один из супругов, а потому обвиняли и Чарли, и меня. Многие, особенно европейцы, осуждали критиков, которые не разделяли личную жизнь Чарли и его работу, тех, кто неизменно распространял отношение к Чарли как к человеку, на отношение к нему как к артисту. Не слишком большой почитатель чаплинского кино Генри Менкен так комментировал бракоразводный процесс: «Те идиоты, которые еще шесть недель назад боготворили Чаплина, теперь готовы танцевать вокруг костра, на котором он будет сожжен».

Мама, дети и я вернулись в Коув-Вэй найдя его бесприютным. Коно Чарли забрал с собой в Нью-Йорк, остальных слуг не было. У меня почти не было денег, за исключением мелочи, полученной

мной от дедушки, но я связалась с Томи и Тодой, которых Чарли уволил, и убедила их вернуться. Я не беспокоилась по поводу их зарплаты, поскольку, хотя Чарли заявил, что не несет ответственности по моим долгам, и тем самым перекрыл мне все кредитные потоки, вскоре ожидались временные алименты.

По крайней мере, так мне сказали. Несмотря на распоряжение судьи, деньги не поступили, и мне объяснили это тем, что у Чарли нет доступа к своим деньгам: федеральное правительство как раз завело на него дело за неуплату налогов в размере 1 133 000 долларов. Его главный поверенный в Лос-Анджелесе сэр Ллойд Райт напомнил о предложении Чарли посылать мне двадцать пять долларов в неделю, чтобы поддержать меня и детей в ожидании результатов слушаний. Он действительно посылал чеки. Учитывая, сколько всего навалилось и насколько измученной я себя чувствовала, я уже была на грани того, чтобы тратить их, по крайней мере, мы не голодали бы, и возможно, я могла бы обещать Томи и Тоде небольшое жалованье на первое время. Эдвин наотрез отклонил предложение Райта и был раздражен моими рассуждениям: «Достаточно один раз пойти им навстречу, и состоится прецедент. Не волнуйся. Мы добудем деньги для тебя».

Добывая их, Эдвин немедленно проинформировал прессу о том, что адвокаты Чаплина откровенно нарушают распоряжение суда, что я должна получать три тысячи долларов в месяц, и упорно предлагают, чтобы я и дети жили на двадцать пять долларов в неделю. Точно так же он не упускал случая напомнить о лишенной средств к существованию миссис Чаплин и ее голодающих детях, в то время как состояние безжалостного Чарли Чаплина превышает шестнадцать миллионов.

Это был эффектный ход, сделавший меня объектом всеобщей жалости. Женские клубы по всей стране поднялись на мою защиту. Миссис Браунфилд из Клуба «Эбелл» публично заявила: «Если Чаплин думает, что может морить голодом детей и жену, то он плохо знает женщин Голливуда. Тридцать представительниц двадцати клубов уже начали собирать деньги на достойное содержание маленьких сыновей миссис Чаплин. Мы ничего не имеем против Чаплина и не становимся на чью-либо сторону, но мы не желаем, чтобы эта восемнадцатилетняя жена и мать нуждались, в то время как ее муж, чей возраст и опыт должны были, казалось, сделать его более понимающим, нанимает дорогих адвокатов, чтобы лишить ее возможности пользоваться деньгами, назначенными судом». Нью-йоркская Sun после сообщения миссис Браунфилд пришла к выводу: «Это значит, что каждая из тридцати женщин обязуется собрать 100 долларов к

концу недели, что даст Лите 3000 долларов на удовлетворение ближайших потребностей. Женщины планируют убедить горожан собрать деньги, пока Чарли не сдастся, или пока деньги на нужды Литы не будут освобождены от ареста».

Заявление миссис Браунфилд произвело в стране фурор, поскольку было очень своевременным, и его язык затрагивал душевные струны, оно представляло Чарли как изверга, которого ничуть не волнует положение собственных детей. Чарли отреагировал на это быстро, так как подобное обвинение, оставленное без ответа, могло навредить ему и его кино в тех частях страны, где люди относились к семейным обязанностям серьезно; его картины перестали смотреть во многих территориальных общинах. Он опубликовал заявление.

«Оказывается, меня обвиняют в том, что я оставил своих детей без куска хлеба. Я слышал эти сплетни и раньше, но теперь вижу, что это обвинение упорно повторяют. Кажется глупым оправдываться, но мне приходится отрицать столько глупых обвинений, что я должен заявить: это обвинение не только несправедливо, но оно сфабриковано с единственной целью причинить мне вред.

Я не верю, что кто-то откажет голодному ребенку в куске хлеба. И если вы поймете, что у меня нет иных интересов в данном споре, чем вернуть своих детей и заботиться о них, вы поймете и абсурдность подобных обвинений. На самом деле адвокаты миссис Чаплин располагают чеками от меня, на которые можно купить еду. Причина, по которой они не обналичивают их, заключается в том, что они хотят больше. Они не хотят еды для детей. Они хотят съесть меня.

Я буду бороться за своих детей. Они никогда не будут ни в чем нуждаться. Но это будет долгая борьба, и вы будете слышать много напраслины и обвинений. Вы можете доверять группе адвокатов, которые изо всех сил пытаются оболгать и запугать меня ради денег.

Все, о чем я прошу, это чтобы люди перестали меня судить, пока рассмотрение дела не закончилось. Я могу опровергнуть несправедливые обвинения, даже если все адвокаты Калифорнии будут стоять за ними. Но не думаю, что справедливо просить меня сражаться со всеми сплетнями, слухами и обвинениями, которые распространяют обо мне люде, единственный интерес которых — получить от меня деньги».

Этот публичный ответ, первый, в котором Чаплин сам выразил негодование по поводу заговора против него, содержал

две неточности. Первая — он не упомянул, что необналиченные чеки были каждый по двадцать пять долларов, создавая тем самым впечатление, что суммы гораздо более высокие и щедрые. Вторая погрешность огорчила меня безмерно, так как получалось, что его очень заботят наши мальчики. На самом деле ни разу с нашей последней встречи в его музыкальной комнате он не предпринимал никаких усилий узнать что-нибудь о детях, о том как они живут, здоровы ли.

Я сделала собственное публичное заявление, поблагодарив моих доброжелателей и отказавшись от благотворительности, предупредив, что любые деньги будут немедленно возвращены. К счастью, когда из-за полного безденежья я была почти готова отказаться от совета дяди Эдвина и обналичить двадцатипятидолларовые чеки, поступили первые временные алименты. Чек на три тысячи долларов со всеми его нулями выглядел внушительно, но все оказалось не так просто, поскольку судья указал, что все обязательства по содержанию дома ложатся на меня. Чаплинский особняк был настоящим имением, где требовались: три помощника на участке; человек, который следит за бассейном, органом, и киноаппаратурой, даже если ими всеми не пользоваться; человек для домашней работы; плюс приходящие работники для выполнения кучи разных мелких дел. Это означало, что три четверти из ежемесячных трех тысяч долларов шли на эти расходы. Но я возражала не против этого, а вообще против нашей жизни здесь, в этом доме, где все было не нашим. Я ненавидела этот противоестественно огромный «лимб», и вдобавок ко всему я получала сотни писем и телефонных звонков, по большей части анонимных и явно не дружественных. Покровительственные — выражали соболезнования по поводу моей зависимости от дьявола. Патетические — предлагали замужество. Печальные и иногда ругательные — просили меня, даже приказывали, дать денег. Устрашающие — вызывали у меня панику, так что мне приходилось звонить в полицию. Мне угрожали похитить сыновей или даже убить меня, если я немедленно не прекращу бракоразводный процесс против величайшего из когда-либо живших людей.

Эта жизнь была не для меня. Но какая жизнь была для меня?

Я становилась, как бы это назвать поприличней, знаменитостью.

Поскольку процесс, как и ожидалось, затянулся, обе стороны бесконечно препирались поводу то одной, то другой правовой формальности. Когда их сторона выходила с новыми предложениями по урегулированию, а наша отвергала их, я

начинала видеть свое имя в газетных заголовках каждый день — в New York Times и в других.

И это заводило меня. Я уже не была той неуверенной в себе девочкой, которую мама вела за ручку на встречу с потенциальным новым мужем. Я не была тенью всемирно знаменитого человека. Я была Лита Грей Чаплин, индивидуальность, личность, человек. Черт с теми, кто выставлял меня на посмешище. Черт с теми, кто жалел меня. Были люди, которые заботились обо мне, которые верили каждому слову, сказанному моими адвокатами.

Я начала меняться. Я перестала рассматривать Чарли как незаслуженно обиженного, а себя как бессердечную ведьму. Я начала прислушиваться более внимательно к возгласам моего дяди Эдвина: «Он отец твоих сыновей! Какой смысл остаться самой и оставить сыновей ни с чем?» Теперь я прислушивалась к ним, когда они повторяли нелестные характеристики в адрес Чарли и энергично убеждали меня, что я и дети заслуживаем каждый пенни, который имеем шанс получить.

Эта перемена во мне не произошла в одну ночь. С того дня, как дядя Эдвин объявил, что будет ходатайствовать перед судом о временной поддержке, а я не вскочила и не велела ему отправляться восвояси, я догадывалась: дело не только в моей мягкотелости, я хотела отплатить Чарли за его жестокость. Я позволила Эдвину двигаться дальше, составить заявление в той форме, которая ужаснула меня, но не настолько, чтобы отречься от него. В прессе цитировались мои высказывания, которых я никогда не делала. Я негодовала, но не отрицала их публично. Не поговорив с Эдвином и другими начистоту, что было моим правом, я тем самым соглашалась с ними.

Но теперь я уже не просто соглашалась. Если прежде меня бросало — от гнева к жалости к себе, боли, одиночеству и смятению (у меня бывали периоды, когда я чувствовала себя настолько потерянной, что хотелось вернуться к Чарли на любых условиях), то теперь, когда я слышала перепевы этих страшных фактов и воспоминаний, я хотела причинить ему ответную боль.

Чарли и его приспешники способствовали укреплению моей решимости. Когда он, наконец, дал формальный ответ и ответное заявление суду, он всячески изображал себя самым заботливым отцом и мужем. Он отрицал, что пытался избежать брака со мной, узнав, что я беременна. Он отрицал, что требовал аборта; он отрицал, что раздражался или подолгу избегал общения; отрицал, что испытывал по отношению ко мне какие-либо чувства, кроме любви, хотя я не проявляла ни любви, ни преданности; отрицал измены. В заявлении утверждалось, как он и предупреждал, что я

плохая мать, предпочитающая безумные вечеринки заботе о детях, что я пью, что любовные увлечения у меня начались, как только мы поженились. Никаких доказательств этих нелепостей не предлагалось, все было представлено как обвинительное заключение. Он не просил о разводе, но требовал опеки над детьми.

С этого момента свершилось окончательное превращение пассивной жены в решительную ответчицу. Я поняла, наконец, что разрыв между Чарли и мной стал реальностью, и восстановить отношения уже невозможно; и ничто в его или моем поведении не говорит даже о слабых признаках тепла или сочувствия. Подогреваемая защитниками моих интересов, я начала впервые за долгое время испытывать, скорее гнев, чем боль.

Однажды дядя Эдвин и Линдол Янг пригласили меня приехать в центр.

— Мы откладывали это много раз, Лита, но давайте теперь поговорим начистоту о вашем характере, — сказал м-р Янг. — Есть что-нибудь такое, что вы хотели бы сказать нам, но, возможно, забыли?

— Я не понимаю.

— По поводу обвинений Чаплина, — сказал Эдвин. — Если его сторона докажет или даже посеет семя подозрения в голову судьи, что ты со слишком большим удовольствием пила, или даже здоровалась с почтальонами, или что ты не была заботливой матерью двадцать четыре часа в сутки, тебя могут ждать неприятности. Чаплин не сдастся просто так. В его интересах доказать, что ты не была тем образцом добродетели, каким должна быть.

— М-р Янг прав, — сказала я не слишком серьезно. — Мы откладывали это много раз. Если бы я была таким человеком, разве я не призналась бы вам в этом раньше? Я не пью, потому что мне не нравится вкус алкоголя, — все, кто знаком со мной, знают это. Я готова поклясться всем святым, что Чарли был единственным мужчиной, с которым я встречалась, а уж тем более с которым была близка. Так, что там еще? Ах да, безумные вечеринки и невыполнение материнских обязанностей. Не знаю, что это за безумные вечеринки, разве что он имеет в виду тот случай, когда я пригласила домой ребят и мы крутили пластинку с чарльстоном. А что касается того, какая я мать… Что я могу сказать? Я обожаю детей. Они для меня все. И я никому не позволю отнять их у меня.

Они напомнили мне слова, сказанные мною дяде Эдвину, как Чарли угрожал подговорить слуг и даже нанять кого-то, чтобы

оболгать меня.

— Это маловероятно, — прокомментировал м-р Янг, — поскольку лжесвидетельство ведет к более суровому наказанию, и если ваш муж даже каким-то образом не знает этого, наверняка его адвокаты объяснят ему. Но нельзя пренебрегать тем, что другая сторона постарается откопать все, что можно. Извините, что возвращаюсь к этому, но я должен спросить вас еще раз — есть что-нибудь, что они могут использовать против вас?

— Нет! Если у них есть какие-либо доказательства, пусть предъявят их.

В последующие месяцы они пытались сделать это, но ничего не добились. Я ждала обещанной бомбы, и Эдвин постоянно писал мне. Казалось, из всей японской прислуги Чарли только один — мальчик Иму нервно свидетельствовал, что я приводила в дом мужчин, когда была уверена, что м-р Чаплин на работе. После допроса с пристрастием Линдола Янга, однако, Иму отпал. Он признал, в конце концов, что не видел и даже не слышал ничего такого. Его подговорили прийти и сказать это. Его предупредили, что он потеряет работу, и его родителям в Японии не поздоровится, если он не сделает так.

Некоторое время ходили слухи, что жена сводного брата Чарли Минни Чаплин собиралась свидетельствовать о том, как мои измены и алкоголизм измучили моего мужа. Это казалось возможным, так как Минни обожала Чарли. Но она решила молчать, прежде чем успела помочь стороне ответчика, заявив, что в общем-то ничего существенного предъявить не может.

В одно прекрасное утро в офис Young, Young and Young пришел бывший повар Чарли, и через переводчика, говорившего на английском достаточно, чтобы его можно было понять, сделал выигрышное для нас заявление. М-р Чаплин заплатил ему пять долларов за то, чтобы тот ушел из своей комнаты в подвале, и м-р Чаплин привел туда женщину. Повар назвал дату: 30 марта 1926 года, когда миссис Чаплин наверху рожала Сиднея. Он назвал и ее имя: Мэрион Дэвис! После этого меня уже ничто не могло удивить.

Мистер Янг позвонил мне сообщить, что мы все ближе к тому, чтобы дело против Чарли завершилось в мою пользу. К этому моменту я была не менее настроена на месть и выгоду, чем мои адвокаты были настроены на урегулирование дела и прибыль. Я смутно понимала, что моя жажда победы была не меньше, чем аналогичное желание Чарли, но не хотела пока задумываться об этом. Мой дядя сформулировал заявление о разводе без моей помощи, но теперь я была готова полностью поддержать его.

Адвокаты спорили между собой, кто-то увольнялся, и его тут же заменяли другим, точно так же составлялись и заменялись документы и заявления. Адвокаты мучились с одержимым Эдвином, заявляя, что он слишком многого требует, что ему следует охладить свой пыл, более вежливо прислушиваться к людям Чарли и согласиться на компромисс. Чего он хотел добиться, сделать карьеру с помощью дела Чарли?

— Ни за что! — был ответ.

Дело тянулось месяц за месяцем, тонуло в деталях, заходило в тупик, и каждая сторона не желала уступать ни пяди. Чарли подал прошение — и оно было удовлетворено — на освобождение части его средств от ареста для завершения работы над фильмом «Цирк», который был уже почти готов, когда начался бракоразводный процесс. Его бросало в крайности: в один день он яростно избегал репортеров, на следующий — встречался с ними, чтобы повторить, как оскорбительно для него непонимание, и как он хочет мира и гармонии, но я и банда юристов хотим уничтожить его.

Он был совершенно прав относительно моих намерений. Отныне я не была виноватой Макмюррей; я стала непреклонной, готовой защищать себя и детей, и никто не мог помешать мне. И я очень хотела причинить ему боль.

Люди Чарли исчерпали все свои возможности найти в моей репутации изъяны, которые можно было использовать. Они и не могли их найти. Но приблизиться даже минимально к тем условиям урегулирования конфликта, которых мы требовали, они отказывались. Эдвин проанализировал тактику, которой придерживался с самого начала.

— Что касается тех женщин, которых Чарли упоминал, говоря об интимных отношениях, — сказал он. — Мы хотели назвать их имена, но ты отказалась. Хорошо, это дело нескоро еще закончится, Лиллита. Если ты изменишь свое мнение по этому поводу, дело пойдет быстрее. Даже Чаплин не выдержит перспективы появления имен его знаменитых подруг в газетных заголовках.

— Это сработает очень жестко, не так ли?

— Да, — сказал Эдвин спокойно. — Но ведь он изменял тебе с ними, разве нет?

Я позвонила Мэрион Дэвис и попросила о встрече. Она пригласила меня к себе в дом. Когда я приехала, она казалась удивленной, что я не ответила на ее поцелуй, но ее улыбка была как всегда невозмутимой.

— Мы что-то совсем перестали общаться, дорогая, ты не находишь? — сказала она. — В последнее время новости о тебе я

узнаю только из газет.

— Уверена, что Чарли держит тебя в курсе событий, — сказала я нежно.

— Чарли?

— А разве ты не спала с ним после того, как я оставила его? Может быть, из-за моего ухода все это потеряло свою прелесть для вас?

— О чем ты говоришь, Лита?

Я не пыталась сдерживать гнев.

— Наверное, вам с Чарли было очень смешно, когда я приходила сюда как друг, а вы говорили, что у вас нет отношений? Кто смеялся громче над тем, как я во всем верила тебе и Чарли?

Мэрион заморгала, но не сделала попытки опровергнуть мои обвинения.

— Чарли сообщил мне, что рассказал тебе о нас. Я была зла. Он не должен был делать этого.

— А ты не должна была дурачить меня.

Она торжественно кивнула.

— Да, я не собираюсь оспаривать это. Это было с моей стороны отвратительно. Я просто — я не любила Чарли, ничего подобного, поэтому я не думала, что делаю тебе, или кому-то другому, плохо.

Потом, явно обеспокоенная, она спросила:

— Почему ты вдруг вывалила это на меня? Это произошло в прошлом году, и ты все это время знала об этом.

— А разве твой друг не будет чувствовать себя ужасно, если узнает об этом, пусть это и было год назад?

Ее охватила настоящая паника.

— Ты пойдешь к нему? Ты так ненавидишь меня или Чарли, что пойдешь к У. Р.?

— Нет, но он узнает об этом, — ответила я. — Если ты не поможешь мне.

— Боже, — простонала она. — Боже, У. Р. с ума сойдет..

— Мои адвокаты и я хотим покончить с делом и добиться урегулирования, но Чарли уперся. Теперь слушай меня внимательно, Мэрион, и не сомневайся ни секунды в моей серьезности. Чарли хвастался мне, что у него были делишки с шестью женщинами за последние полгода. Пять из них — знаменитости, и одна из этих пяти ты. Нам ничего не надо доказывать. Все, что нам потребуется сделать, это назвать эти шесть имен, с Мэрион Дэвис во главе списка, и потом просто сидеть и смотреть, что будет дальше. Разумеется, ты можешь поклясться У. Р., что это неправда, и вероятно, он поверит тебе.

Но тебе это надо?

После тяжелой паузы она сказала опустошенно:

— Я знала тебя совсем другой. Как ты стала такой жесткой?

— Легко, — сказала я. — Я вышла замуж за Чарли Чаплина.

Это сработало. История гласит, что Чарли вызвал Натана Буркана в Лос-Анджелес (расстояние в 3000 миль от Нью-Йорка) и встретил его на вокзале. Они пошли в кофейню, и Чарли спросил: «Натан, что мне делать?» Буркан ответил одним словом: «Соглашаться». И следующим же поездом отправился назад на Восток.

Двадцать второго августа 1927 года я первый и единственный раз предстала в качестве свидетеля.

Меня расспрашивали в течение десяти минут о достоверности моего заявления, и я ответила, что каждый пункт изложен правильно. Судья Уолтер Герин уступил мне заботу о детях и об их состояниях. Каждому из них был назначен доверительный фонд в 100 000 долларов. Моя компенсация составляла 625 000 долларов. Чарли на суде не было.

Парадоксально, думала я. Если бы Чарли принял мое предложение в тот день, когда я была в его доме, это обошлось бы ему в десять тысяч долларов. Теперь же, вместе с расходами на адвокатов, он потратил более миллиона.

Глава 18

Через четыре дня после постановления судьи мама срочно легла в больницу для удаления аппендикса. Через пять часов после того, как ее отвезли в операционную, вышел хирург и сказал:

— Прежде всего, она жива.

— Слава богу, — прошептала я.

— Теперь об остальном. У вашей мамы был не только аппендицит. Я обнаружил опухоли в обеих трубах и опухоль в матке. Они удалены, но пока еще рано судить, как она справится.

Я охнула и схватила его за запястье.

— Держитесь, миссис Чаплин, вам понадобятся силы в ближайшие несколько дней, а, может быть, и больше, пока она преодолеет — или не преодолеет — кризис. Это состояние длилось несколько лет, не знаю, как она обходилась без лечения. Неужели она даже не подозревала, что у нее здоровье не в порядке?

Я качала головой и пыталась найти слова.

— Ее предупреждали. Ей советовали около двух лет назад сделать операцию. Она не желала и слышать. Я пыталась убедить ее пойти в больницу — но потом перестала настаивать, поскольку думала только о себе…

Я спросила в ужасе:

— Что же мне теперь остается — только ждать? Вы не можете дать ей что-нибудь, сделать что-то еще для нее?

— Сейчас нет. Мы можем только ждать.

Три дня я не покидала больницу. Дедушка и бабушка шагали взад-вперед по коридорам, сдержанные, хотя и страшно обеспокоенные, и все-таки слушались здравого смысла и время от времени уходили домой передохнуть. Дежурные медсестры давали мне информацию, безуспешно пытались убедить меня отправиться домой и, когда это было возможно, сидели со мной.

На третий день после операции я вошла в комнату к маме. Возле кровати стояли хирург, м-р Фридман, и сестра. Первое, что я увидела, подойдя поближе, были две огромные иглы у нее в груди.

У меня закружилась голова и я схватилась за металлический поручень у изножья кровати, чтобы удержаться. Ее глаза были широко открыты, но она была в коме.

Доктор Фридман вывел меня в холл.

— Не стану обманывать вас, — сказал он. — Третий день после такой операции действительно очень тяжелый. У вашей

матери операционный шок, и она может отойти от него, а может — не отойти. Мы делаем все, что можем. Посмотрим сегодня, что будет дальше.

Три дня и три ночи я не уходила отсюда. Но теперь, наоборот, когда все указывало на то, что лучше остаться, я почувствовала, что не могу больше ждать в больнице. Я поспешила к одной из сестер, которая была особенно заботлива, и спросила:

— Вы можете сделать для меня кое-что и не думать, что я сошла с ума. Я хочу отправиться в парк Гриффит покататься верхом. Когда вы узнаете что-нибудь о моей матери — что угодно, — вы не можете позвонить мне туда и сказать, что… ну, что бы там ни было?

— Конечно. Вы очень хорошо придумали.

Пока я ехала в такси, я была уверена, что схожу с ума. Что за блажь ездить верхом в такой тревожный момент? Какое оправдание можно найти подобному малодушию? Моя мама умирает, а мне не хватает духу ни на что, кроме как удрать от нее! Я сказала человеку, который давал мне лошадь напрокат, что жду телефонного звонка, и попросила его послать кого-нибудь разыскать меня и передать информацию, сразу же, когда позвонят. Человек удивленно вздернул брови в ответ на мою странную просьбу, но согласился.

Я была далеко не опытной наездницей, и мои нервы были на пределе от волнения и бессонницы, но я села на лошадь, и она исправно скакала. Как бы я ни смеялась над суевериями и черной магией, я не могла отделаться от ощущения, что бог наказывает маму за мои грехи. За долгие месяцы между январем и августом я, наконец, стала женщиной, да — бессердечной, алчной, жаждущей получить большие деньги от своего мужа и готовой втоптать в грязь имена других женщин — даже той, что была подругой. И теперь из-за этого моя мать должна умереть.

Я мчалась на лошади. Августовский ветер трепал мне волосы, глаза щипало, и я молилась. Я обещала богу, что если мама выживет, то никогда больше я не буду воспринимать близких как само собой разумеющееся. Она столько сделала для меня, а я так мало дала ей в ответ. Больше двух лет назад доктор советовал ей удалить опухоли. Я была у него в приемной и слышала его, но позволила себе забыть об этом. Я могла уговорить ее лечь в больницу. Тогда это могла быть простая операция, и она могла быстро оправиться после нее; лучше, чем теперь. Но я не сделала этого, потому что была полностью поглощена собой. Вечное дитя, маленькая девочка, которая ждет, что ее возьмут за руку и переведут через улицу… Не был ли мой брак безнадежным с

самого начала? Если бы я не была беспомощным ребенком, если бы я больше работала над собой, тогда может быть…

Боже, не дай ей умереть. Я буду хорошей.

В следующие пятнадцать минут я поняла, что потерялась, словно по заранее намеченному плану. Я была в совершенно незнакомой части парка Гриффит; вместо одной тропы вокруг было несколько, и я не знала, какую выбрать.

Я не чувствовала паники или даже сознательного беспокойства. Я спешилась и села на булыжник, как заблудшее дитя, которое знает, что появится кто-то взрослый и спасет его.

Именно так и произошло. Вскоре я услышала звук конских копыт, и ко мне подъехал конюх. Звонила медсестра, сказал он, и сообщила, что с мамой теперь все будет в порядке.

Пока мама медленно, но верно шла на поправку, я редко отлучалась от нее. Когда не осталось никаких сомнений, что скоро она восстановится, я сказала:

— Мы никогда не были в Нью-Йорке. Надо нам всем вместе с мальчиками съездить туда. Мы остановимся в лучшем отеле, будем смотреть спектакли и есть в роскошных ресторанах, мы тебя откормим, и ты вернешь те двадцать фунтов, которые потеряла. И ты будешь покупать, все, что тебе понравится.

— Ты говоришь глупости, — возразила она. — Если у тебя теперь много денег, это не причина транжирить их.

Я засмеялась.

— Это ты говоришь глупости. Мы богаты, мама! А для чего еще нужны деньги? Я устрою тебе такую жизнь, какой у тебя никогда не было. Ты заботилась обо мне столько лет, теперь я буду заботиться о тебе.

Мы поехали и взяли с собой Томи. Мы провели три потрясающих месяца на Манхэттене, не зная ни забот, ни хлопот; я потратила кучу денег, и, казалось, им не будет конца. Поначалу мама предостерегала меня от крайностей и чрезмерных увеселений, но я чувствовала себя такой свободной, независимой и безудержно веселой, что она сдалась и позволила мне купать ее в роскоши.

Нельзя сказать, что она сама не обнаружила вскоре, как легко и приятно предаваться привычке купаться в роскоши. Мы посещали все ночные клубы и театры и наслаждались походами в магазины. В этом отношении ничто для меня или мамы не могло быть слишком хорошим в начале 1928 года. Я потратила 20 000 долларов на платья, костюмы, пальто и ювелирные украшения для нас обеих. Мама продолжала протестовать, но ничего не отправляла обратно, и это было поистине лучшее время в ее

жизни. Ночью, после безумных шопингов, шоу и кабаре, она начинала вздыхать о Чарли и сокрушаться по поводу происхождения нашего богатства и нарядов. Я же запрещала ей упоминать его имя.

Но упоминал его практически каждый, кого мы встречали в Нью-Йорке. Я позвонила Бастеру Коллиеру, красивому молодому актеру и возлюбленному Констанс Толмедж просто поболтать; Бастер был моим другом со времен плавательного клуба в Санта-Монике, а теперь выступал на Бродвее. Он пригласил нас с мамой на вечеринку. Там мы получили приглашения на другие вечеринки, так и пошло. Мы посещали все, так как мама обожала весь этот гламур, а мне было очень приятно находиться в центре внимания. На одной вечеринке я встретила Луи Ирвина, театрального агента, который предложил мне не только работать в шоу-бизнесе, но и быть моим представителем.

— Вам пора попробовать себя в водевиле, — сказал он. — Вы можете попытать судьбу и обеспечить себя на всю жизнь. Начиная с этой минуты, я могу гарантировать вам годовой контракт.

— Водевиль? Что я буду там делать?

— Вы можете громко называть ваше имя? Прекрасно, делайте это, и я обеспечу вам годовой контракт по высшим расценкам.

Я поблагодарила его и отказалась.

— Не теперь, м-р Ирвин. У меня слишком много радостей. И слишком много денег. Зачем мне идти работать, да к тому же заниматься тем, о чем я представления не имею.

К тому времени, как мы вернулись в Лос-Анджелес, я загорелась новой идеей. Я хотела иметь новый дом: для мамы, для себя и для детей. И я построила его рядом с домом дедушки и бабушки на Беверли-драйв. По плану было предусмотрено одиннадцать комнат, все по высшему разряду, со сметой в 90 000 долларов. Дедушка осмотрел строение с неодобрением и счел его чересчур экстравагантным. Он постоянно предупреждал меня, что я веду себя неосмотрительно, что не успею я и глазом моргнуть, как ничего не останется для вложений: Я деликатно советовала ему заниматься своими делами; главное было то, что я независима. Я была свободна и собиралась жить по-новому.

Строительство дома стало настоящим чудом для меня, так как теперь у меня была куча друзей. Множество людей приезжало ко мне на уик-энды, и я с радостью принимала их и тех, кого они приводили с собой, и всегда было много еды и напитков. Теперь я была Литой, которая устраивает приемы; Литой, у которой весело; Литой, у которой вино течет рекой. Неважно, что большинство приходили и уходили, а их сменяли другие, которые тоже приходили и уходили. Пока у меня была компания, каждый

был моим другом.

Чтобы не отставать от веселых и оживленных гостей, я начала пить вместе с ними. Вкус алкоголя не стал более приятным, но привкус виски прекрасно камуфлировался имбирным элем. Вскоре два, три, а то и четыре стакана виски с газировкой стали расслаблять меня, не вызывая неприятных последствий. И поскольку мама не привыкла к алкоголю или к людям, которые его употребляют, для меня стало забавой тайком подмешивать виски к имбирному элю. Мне нравилось дурачить ее, стоя рядом и выпивая стакан за стаканом, пока она думала — если задумывалась вообще, — что для полного счастья мне достаточно ситро.

«Цирк» стал очередной картиной Чарли, которая шла в заполненных до отказа кинотеатрах, несмотря на то, что по всем Штатам были общины, где решительно отклонялось все, связанное с именем Чарли Чаплина. Теперь он приступил к следующему, одному из самых важных для него фильмов — «Огни большого города». Сама я с ним не разговаривала, но однажды позвонил Коно и сообщил, что м-р Чаплин был бы очень признателен, если бы его навестили дети. Поразмышляв о возможных последствиях такого визита, я согласилась, и бабушка повезла их в дом на Беверли-Хиллз. Обратно они пришли слегка обескураженные, но веселые, и когда приглашение поступило вновь, я разрешила и на этот раз.

В следующие недели и месяцы мальчики стали регулярно проводить уик-энды с Чарли, в то время как мои уик-энды по-прежнему проходили в увеселениях и доростоящих вечеринках для гостей, которые приходили и уходили, приходили и уходили. Я убеждала себя, что мне хорошо, а виски, предусмотрительно разбавленный имбирным элем, помогал мне поверить в это.

Я начала ходить на свидания, иногда по четыре-пять раз в неделю. Удача и какое-то необъяснимое шестое чувство помогали мне отличать искренних молодых людей от тех, кто интересовался больше моими деньгами, чем мной, и быстро отделываться от последних. Я могла полностью окунуться в любовные дела, но разврата мне хотелось меньше всего; сама перспектива «раскрепоститься» и прыгать из одной постели в другую угнетала меня.

Вместо этого была череда серьезных романов. Каждый из них был долгим, мучительным и важным, и каждый заканчивался ничем, так как я сама не понимала, чего хочу от отношений, и что могу дать. Я отошла от мужчин и отказалась от вечеринок. Мной овладело постоянное беспокойство, а потом началась страшная бессонница, бессонница, которую, как по волшебству, снимал

стаканчик виски с имбирным элем, а потом еще один, и еще один…

Тот год отнял у меня несметное количество денег, но ничто не могло изменить того факта, что Голливуд принадлежал Чарли Чаплину, а не Лите Грей. И, разумеется, не Лите Грей Чаплин. Когда мне поступило следующее предложение участвовать в водевиле — за 2500 долларов в неделю в течение года, — я ухватилась за него. Мама воспротивилась, ссылаясь на то, что главная моя обязанность — это сыновья.

— Ты пожалеешь, если пойдешь на это, — предостерегала она. — Твои дети не будут любить тебя, когда вырастут, а я не всегда буду рядом, чтобы позаботиться о них.

Она несла чепуху. Я выбрала собственный путь и подписала контракт.

Под именем Литы Грей Чаплин я отправилась на восток по театрам сети Keith Circuit и выступала в водевиле в качестве певицы, не имеющей особого голоса, но делающей сенсационные сборы. У меня было все, что нужно, — лучшие оркестранты, дорогой гардероб, два пианиста и эффектные декорации. Я работала по многу часов без перерыва над своим голосом, который не представлял опасности для профессиональных певцов. Я изо всех сил старалась стать индивидуальностью, способной собирать полные залы, исполнительницей, в моем случае — певицей, которая неспособна хорошо петь, — и отчаянно пытается отточить каждый трюк, чтобы привлечь публику. Я была полна решимости сделать что-то свое, добиться одобрения, уважения и популярности — но, вероятно, не настолько, чтобы убрать с афиши часть своей фамилии «Чаплин». Я считала, что могу сделать карьеру там, где Чаплин не был королем, и могу быть блестящей сама по себе в такой отрасли шоу-бизнеса, которая не имеет к нему непосредственного отношения, но где его имя добавит блеска моим результатам.

Работая все больше, наконец, я достигла уровня, когда могла выйти на сцену с чувством, что не обманываю зрителя. Я ухнула кучу денег в репертуар — попурри из популярных песен с переписанными текстами. Я исполняла их все более бойко и публика любила меня. Поскольку я была вполне уверена в себе, я хотела, чтобы мама и мальчики были вместе со мной. Деньги по-прежнему не были проблемой; мама сдала дом за 2500 долларов в месяц, и я имела гарантированный доход 2500 долларов в неделю. Пэт Кейси, один из моих пианистов и очень хороший друг, уговорил меня вложить 75 000 долларов в безотзывную доверительную собственность. Это оказалось явной удачей, и

вскоре я работала с такими профессионалами, как Джек Перл, Фил Бейкер и Джек Бенни, которые убедили меня в том, что я заслуживала тех лестных отзывов, которые получала.

Мой стиль достиг настоящего расцвета, и хотя я все еще боялась быть просто Литой Грей, я выступала в лучших театрах округа под бурные аплодисменты. Я потихоньку выпивала, чтобы лучше засыпать, но это была скорее отговорка. Я расправлялась с виски точно так же, как с аудиторией, — с бездумной легкостью юности.

Мама забрала детей обратно в Калифорнию, так как жизнь на чемоданах надоела ей. Было жаль отпускать их, но мне посчастливилось найти Глэдис Томпсон, парикмахершу с Ямайки, которую я наняла и которая заменила мне мать и стала другом на всю жизнь. Глэдис называла меня Капитаном и ездила по всему округу вместе со мной. Она ругала меня, когда я слишком часто пила, но никогда не бросала, что бы ни происходило.

Осенью 1929 года дедушкин крепкий организм начал все-таки давать сбои, и он умер. Я была потрясена этой утратой гораздо больше, чем могла ожидать. Потеря дедушки означала в известном смысле потерю моей уверенности в себе, которую он поддерживал, пока был жив, хотя я об этом и не думала. Он научил меня уважать себя, и в известном смысле никто другой в семье не сыграл подобной роли в моей жизни.

По страшному совпадению дедушка по линии моего отца умер в ту же самую ночь, что и дедушка по маминой линии. В ту же неделю погибла в автомобильной аварии шестнадцатилетняя дочь маминого брата Фрэнка.

Вслед за этими трагическими событиями наступил крах фондового рынка. Аренда моего дома упала до 1000 долларов в месяц, а моя зарплата — до 1750 долларов в неделю.

Я не могла смириться со всем этим. Вместо того чтобы подписать контракт с Keith на новый сезон, я заказала путешествие на Иль-де-Франс, поручила детей заботам Томи и Тоды, и мы вместе с мамой поплыли в Шербур.

Мы заказали роскошный номер в отеле «Георг V» в Париже и влюбились в город и его обитателей. Мне был двадцать один год, я была недурна собой, богата и убеждена, что Чарли давно меня не интересует. Я жаждала новой любви. Меня познакомили с Джорджем Карпентером, бывшим пилотом, героем Мировой войны, бывшим чемпионом Европы по боксу в полутяжелом весе, жертвой нокаута Джека Демпси и бывшим другом Чарли Чаплина. Это был человек невероятного обаяния и физической привлекательности, и я была польщена, когда он на удивительно

хорошем английском пригласил меня поужинать с ним. Я вежливо отказалась, уверив себя, что совершенно бесперспективно связываться с человеком, имеющим жену и детей, — но в глубине души знала, что хочу его ухаживаний.

Чем больше я его отвергала в последующие три недели, тем он становился настойчивее, и тем упорней я убеждала маму, что ей необходимо съездить в Лондон навестить дальних родственников. Наконец, она уехала, оставив меня одну — на некоторое время — в роскошных апартаментах.

Джорж повел меня в «Шехеразаду», ночной клуб с мягким освещением и прелестной романтической аурой. В такой атмосфере не потребовалось много времени, чтобы Джордж и шампанское привели меня в настроение повышенной восприимчивости, и когда мы пошли ко мне в номер, мы оказались в объятиях друг друга, прежде чем за нами успела захлопнуться дверь. Я впервые испытала тотальную жажду обладания мужчиной, желание раствориться в нем эмоционально и физически.

С той ночи я так полюбила Джорджа, что буквально сходила с ума, если он звонил или приходил на пять минут позже обещанного. Он объяснял, что нет ничего запретного в наших встречах, что у его жены есть любовник, и они частенько играют втроем в бридж. Меня передергивало, когда он называл меня своей госпожой, поскольку слово это воспринимала как нечто уходящее и давно забытое. Я ревниво реагировала на то уважение, с которым он относился к своей жене, и даже любовь, которую он проявлял к своей дочери, и испепеляла его взглядом всякий раз, когда он говорил, что ему надо домой.

Мама узнала, насколько серьезно я отношусь к Джорджу, и устроила взбучку: «Чарли узнает об этом и отберет у тебя детей! Неужели именно это тебе нужно — роман с женатым человеком с риском потерять собственных детей?»

Я сказала Джорджу, что больше мы не должны встречаться, не из-за боязни, что Чарли попытается потребовать детей, а потому что не могла продолжать быть «женой» в его понимании. Он настаивал, что любит меня и сделает для меня все — вплоть до развода с женой.

Я доказывала, что ситуация безнадежна, и говорила, что лучше всего расстаться как можно быстрее. Мы с мамой уехали из Парижа в Лондон.

Джордж последовал за мной.

Мы с мамой поплыли в Соединенные Штаты.

Через две недели он последовал за мной.

Он остался в Америке на пять лет, и в течение этих пяти лет

мы редко расставались. Я вернулась в шоу-бизнес, много ездила, резко поменяла репертуар в Ньюарке, играла в таких театрах, как «Стейт-Лейк» в Чикаго и «Палас» в Нью-Йорке, постоянно набираясь профессионализма. Если меня и не все устраивало, то, по крайней мере, я смирилась с тем, что мы с Джорджем любовники и брак между нами невозможен. Его жена знала о нас, конечно (как знал всякий ведущий колонки светских сплетен), но в каждом очередном письме она напоминала ему, что он католик и вопрос о разводе не обсуждается. Я жила без будущего, поскольку принадлежала Джорджу.

И у меня была выпивка. Я не была зависима от нее — я могла пойти на вечеринку после шоу и потягивать весь вечер единственную рюмку, и были ночи, когда я могла заснуть одна, не одурманивая свой мозг. Но в один прекрасный день я поняла, что алкоголь стал частью моей жизни и что мне было бы не по себе, окажись я где-нибудь без алкоголя под рукой. Мама уже обнаружила, что я не отказываю себе в удовольствии выпить, но по-прежнему она не знала, как много и как часто. Джордж читал мне лекции о вреде алкоголя, но не очень этим увлекался, он, как и я, считал, что алкоголь никогда не станет проблемой для меня.

Наконец, Джорджетту осенило: если Джордж действительно так хочет меня, она даст ему развод. Совершенно неожиданное предложение застало нас обоих врасплох. Я не говорила этого, но после того, как пять лет я была второй женщиной и тешила себя мыслью, что я первая, теперь я не была уверена, что хочу быть его женой!

Джордж, должна сказать, тоже никак не выражал это вслух, но отнесся к ситуации неоднозначно. Прежде чем отправиться во Францию, он поцеловал меня — не слишком пылко — и обещал сообщить мне, когда процедура развода будет завершена.

Почему я не переставала плакать целыми днями после того, как он уехал? Бутылки с джином стояли возле моей кровати, и я раз за разом напивалась до бесчувствия, несмотря на заверения Глэдис, что я убиваю себя. Наконец, она смогла засунуть меня в ванну, и это освежило меня. Я взяла мартини и позвонила человеку, который месяцами добивался встреч со мной. Это дошло до Джорджа (я знала, что так и будет), и он немедленно приостановил процедуру развода.

Через несколько лет он развелся с Джорджеттой и вскоре после этого женился на юной девушке, которая годилась ему в дочери. Сегодня он владеет баром в Париже и, говорят, его жена сидит там каждый вечер, наблюдая, как он встречает старых друзей.

Глава 19

В середине 30-х поползли слухи, что Чарли женился в третий раз на танцовщице из театра Зигфилда по имени Полетт Годдар. В то же время, по некоторым слухам, это было не так. По одной версии они поженились в 1932 году на яхте, и никто из них не потрудился ни подтвердить, ни опровергнуть этот слух. По другой версии они просто жили вместе в доме на Беверли-Хиллз, и тоже никто из них не соглашался с этим и не отрицал. Женский клуб и церковные группировки ополчились против Полетт за то, что они называли демонстративной аморальностью. Впоследствии эта кампания стоила ей роли Скарлетт О'Хара в «Унесенных ветром».

Мы с Чарли не виделись со времени нашего развода, хотя и пережили еще одно противостояние, когда Warner Brothers предложила мне ощутимую сумму за то, чтобы я с детьми снималась в фильме. Я согласилась. Чарли до посинения вопил, что я не имею права делать из наших мальчиков актеров, пока они не выросли достаточно, чтобы самим решать, чего они хотят. Конечно, он был прав, а я нет. И я всегда буду благодарна ему за то, что он не позволил тогда мне сделать это.

Хотя мы и не виделись, но разговаривали несколько раз по телефону, главным образом о детях, которых он навещал при всякой возможности и которые, безусловно, обожали его. Наши беседы обычно были очень неловкими, он задавал мне вопросы обо мне и не слушал моих ответов, а если говорил о себе, то в самых общих чертах, и было удивительно мало горечи в его голосе. Я никогда не спрашивала, поженились они с Полетт Годдар или нет, но я видела ее фотографии и слышала, что она очень умна. Я сделала комплимент его вкусу. Он казался польщенным.

На Рождество я заказала номер в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе и устроила праздник для детей. Я позвонила Чарли и пригласила его прийти. К моему изумлению, он согласился. Он прибыл примерно через полчаса после начала праздника с кучей подарков. Я не видела его восемь лет, а выглядел он чуть старше, чем тогда. Дети кинулись к нему, после чего достаточно официально представили его своим юным гостям. Чарли был очарователен, каким всегда умел быть с детьми, если время и ситуация располагали к непосредственности. Потом он подошел ко мне с открытой и даже одобрительной улыбкой.

— Ты прекрасно выглядишь, Лита, — сказал он. — У тебя все хорошо?

Я пыталась услышать саркастические нотки в его голосе, но их не было. Я не сомневалась, что выгляжу далеко не прекрасно. В те дни я пила больше, чем когда-либо прежде, мало спала и мало ела, поскольку это требовало от меня усилий, и была уверена, что каждый такой день оставлял след на моем лице. Чарли, напротив, выглядел так, словно только что вернулся после основательного отдыха. Загорелый и пышущий здоровьем, он никогда не казался таким привлекательным.

— Лучше не бывает, — ответила я. — Что ты делаешь с собой, Чарли? Ты становишься все моложе.

Он рассмеялся.

— Это все Полетт Она обожает свежий воздух — и таскает меня с утра до вечера то на морскую прогулку, то на теннис. Кстати, у меня всего минута. Полетт ждет меня внизу в машине. У нас назначена встреча.

— В машине? Почему ты не привел ее сюда? Я была бы рада познакомиться с ней.

Чарли, который бывал по-детски застенчив, когда вы меньше всего ожидали этого от него, спросил:

— Ты правда хотела бы?

— Конечно! Зачем ей сидеть одной в машине? Пожалуйста, приведи ее сюда. Я пошлю за шампанским.

Он позвонил вниз и дал поручение швейцару. Через пять минут Полетт, темноволосая, в черном бархате, уже входила в апартаменты. Мне она сразу же понравилась. Мне понравилась аура искренности и непосредственности вокруг нее, и мы сразу же почувствовали взаимное расположение. Через пару минут Чарли вместе с детьми начал уплетать мороженое и сладости, а мы с Полетт отправились в гостиную, устроились поудобнее и начали непринужденно болтать, словно знали друг друга всю жизнь.

Как создатель кино, Чарли сделал невозможное. В то время, когда все настаивали на том, что рынка для немого кино нет, он снял «Огни большого города» (City Lights) — картину без звука, за исключением музыкального фона и некоторых звуковых эффектов. И это был совершенный триумф, как с художественной, так и с коммерческой точки зрения. Теперь он готовил еще одну немую картину «Новые времена» (Modern Times), и его ведущей актрисой была Полетт Годдар. Именно ее Чарли возвел на пьедестал, и, безусловно, зная все о порочной, вероломной Лите Грей, она с легкостью могла разделать меня под орех. Это была в высшей степени достойная женщина, это ощущалось в каждом слове и в каждом жесте.

Тем не менее Полетт вела себя без малейшей

неестественности или рисовки. Она не стала говорить о себе или Чарли, а сразу же сообщила мне, какая я хорошая актриса.

— Я видела вас, когда вы играли в «Паласе», — сказала она. — Я была на двух представлениях. Вы, безусловно, умеете держать публику в напряжении.

Она рассказала о том, как была простой Полиной Леви из Лонг-Айленда. А я рассказала ей, как была простой Лиллитой Макмюррей из Лос-Анджелеса. Мы болтали о людях и о местах, которые знали в Нью-Йорке, пока в дверь не постучал Чарли и не сказал, что им пора уходить. Полетт встала и улыбнулась.

— Вы нравитесь мне, простая Лиллита Макмюррей из Лос-Анджелеса, — сказала она. — Я с удовольствием встретилась бы с вами снова.

Я проводила их, восхищаясь этой воздушной, светящейся девушкой и завидуя ей. В последующие годы у меня была возможность восхищаться ею еще не раз, и я в неоплатном долгу перед ней за бесконечную доброту, которую она проявила по отношению к моим мальчикам, когда я была беспомощна как мать и как человек. Она щедро дарила им свою любовь, брала их с собой, когда они с Чарли рыбачили или катались на лыжах, терпеливо заставляла их учить французский, который они знали, но забыли. Когда через год после нашей короткой и единственной встречи я легла в больницу на операцию, моя комната была уставлена корзинами с цветами и другими подарками. На карточке были слова: «Выздоравливайте и выбирайтесь оттуда побыстрее. С любовью, простая Полина Леви из Лонг-Айленда».

Здесь, в номере отеля «Амбассадор», я поняла, как я опустошена, и какую зависть испытываю. Я все еще любила Чарли и все еще хотела быть его женой. Полетт обладала всем, чего не хватало мне тогда — когда у меня был шанс. Она была знающей, открытой, внушала доверие и была женщиной, созданной для мужчины. У меня были деньги и карьера. И мне некуда было идти.

С 2500 долларов в неделю мой заработок в водевиле снизился до 550; я все еще была популярна, но перестала быть сенсацией. Парадоксально: хотя я чувствовала, что все время совершенствуюсь как исполнительница, шоу-бизнес становился для меня все меньше чудом и восторгом, и все больше — тяжелым физическим трудом и изнурительными репетициями. Теперь, когда моя популярность стала убывать, самое время было уйти.

Но тут мне на голову свалилось известие, что мои денежки утекли, и мне придется остаться в шоу-бизнесе, чтобы платить по

счетам. Это казалось невозможным. Кто вообще способен потратить 625 000 долларов менее чем за сто лет? Я достала карандаш с блокнотом и обнаружила, что это вполне возможно и мне это удалось. Гонорар моих адвокатов составил 200 000 долларов. Дополнительный гонорар в размере 16 000 долларов был уплачен моему дяде Эдвину Макмюррею, который зашел как-то раз после развода вечерком поужинать к моему дедушке, ответил на пару моих правовых вопросов и после этого выставил счет. (Дедушка и я гневно протестовали, и дело дошло до суда, который постановил, что я должна заплатить). Мой дом стоил 90 000 долларов. Я вложила 80 000 долларов в ценные бумаги для мамы. Я вложила 75 000 долларов в безотзывный (за исключением случая тяжелой болезни) фонд в National City Bank of New York.

Я слишком доверяла советчикам, утверждавшим, что для бывшей жены Чарли Чаплина нужен антураж. Я останавливалась в самых дорогих отелях и обедала в самых дорогих ресторанах. Постоянные парикмахеры и маникюрши. Друзья и друзья друзей рассматривали меня как миссис Денежный Мешок и приходили ко мне, особенно в начале Депрессии со своими проблемами, плакали, что им нужна операция, и они вернут деньги в следующем месяце. Я отдавала тысячи долларов в долг, и никогда мне их не возвращали, а я никогда и не ждала.

Остальные деньги растворились, по крайней мере, таяли на глазах. Я хотела одарить весь мир, и почти преуспела в этом. Я всегда норовила оплатить счет, и почти всегда это удавалось. Я платила за всех. И все любили меня.

Помимо исчезновения 625 000 долларов, я обнаружила с помощью простой арифметики, что постоянно тратила больше, чем зарабатывала в водевиле. Я платила в среднем 28 долларов в день за номер в гостинице, еду и попутные мелочи за себя и Глэдис; Глэдис получала 60 долларов в неделю; мой гастрольный менеджер получал 250 долларов в неделю; мой агент имел 10 процентов от моего заработка; двум моим пианистам я платила по 250 долларов каждую неделю. Я оплачивала железнодорожные билеты не только для Глэдис, пианистов и для себя, но и для жен пианистов. Я платила, платила и платила. Страховка, реклама, новые сценические платья, новые песни, транспортировка декораций, чаевые, лекарства, налоги.

И ничто не возвращалось ко мне.

Я начала не на шутку пить. Я ни разу не пропустила и не испортила выступления из-за алкоголя, но я стала зависимой: мне нужна была порция, чтобы начать утро, и пара глотков каждый час, чтобы быть в форме в течение всего дня. Я не была

экспериментатором, который в конечном итоге выбирает один вид алкоголя. Мне годилось все — виски, ром, джин — вкус каждого был не лучше другого, главным для меня был эффект. Любой алкоголь мог стимулировать меня, когда я хотела чувствовать себя самой милой и популярной девушкой на вечеринке, мог успокоить меня, когда я не находила себе места, мог ввести меня в полузабытье, когда мне нужно было уснуть.

Алкоголь подавлял мой аппетит в отношении как еды, так и мужчин. Я могла жадно набрасываться на чипсы и орешки на импровизированных сборищах после спектаклей, но дома, в гостинице или в кафе я нередко заказывала еду, а когда ее приносили, не могла заставить себя потрудиться над ее пережевыванием. Глэдис качала головой и жаловалась, что при таком рационе даже птичка зачахла бы. Я же пила, смеялась и поддразнивала ее: «Чего ты боишься, Глэдис, что меня сдует ветер? Да я крепкая, как вол. К тому же, если я не ем, то и не толстею, верно?»

Что касается мужчин, то мне удалось не наделать много ошибок. Я насмотрелась, как девушки в объятиях мужчин направлялись в сторону ближайшей спальни, (выпивка придавала им храбрости), и боялась, что это всего лишь вопрос времени, когда я стану ветераном подобных ни к чему не обязывающих приключений. Конечно, у меня было несколько подобных историй, но все-таки, сохраняя остатки чувства собственного достоинства, я взяла себе за правило: никогда, как бы я ни напилась накануне, не просыпаться утром в постели с незнакомцем. И я следовала этому правилу и, если была сильно пьяна, не подпускала к себе ни одного мужчину на пушечный выстрел.

Много ли я пила? В 1935 году я не особенно считала. Отчасти потому что не слишком беспокоилась, но главным образом, поскольку выпивка всегда была у меня под рукой. Я могла указать на другого и сказать: «Этого алкаша пора поместить в лечебницу». Но я не была пропойцей. Я могла смеяться и петь громче остальных на вечеринке, но никогда не устраивала истерик, подобно некоторым девушкам, никогда не швыряла стаканы об пол или в стену, никогда не причиняла гостям дискомфорт. Я всегда играла в своем шоу и делала все от меня зависящее. Мне просто было нужно знать, что бутылка под рукой, и я была уверена, что это всего лишь временное состояние; что бросить это не проблема, когда я буду готова.

Большой перерыв наступил, когда я очень в этом нуждалась. Мне предложили роль на пару с Милтон Берл в национальной компании, что было очень важно для меня. Я согласилась,

освободилась от своих обязанностей в водевиле, очень довольная, что буду играть вместе с Милтон, которая вскоре стала одной из моих лучших подруг, — уверенная, не знаю почему, что это путешествие будет очень важным для меня и я каким-то образом найду себя.

Мы репетировали четыре недели, и это было так трудно и интересно, что мысль выпить мне просто не приходила в голову. Мы все были полны надежд. К несчастью, национальная компания оказалась не очень-то национальной. Через восемь недель шоу закрылось.

Я восприняла провал шоу как свой собственный и вернулась к бутылке. Я часами сидела в кресле, не двигаясь — разве только для того, чтобы налить выпивки или закурить сигарету, — поглощенная математической игрой под названием: «Куда делись 625 000 долларов?» Я испытывала непреодолимую тягу позвонить детям и маме по междугородной связи, но Глэдис отговаривала меня, потому что мой язык заплетался. Тогда я говорила: «Ладно, я буду ждать». И немедленно звонила. Иногда я звонила, а мама говорила, что дети проводят уик-энд с отцом, и спрашивала: «Почему ты пьешь?» В другие разы я звонила и разговаривала с каждым из мальчиков по часу или больше, радуясь, какие они милые молодые люди, и прикусывая язык, чтобы не закричать: «Приезжайте ко мне, дети! Приезжайте и позвольте вашей маме любить вас!» Мама спрашивала, что я делаю на Востоке, что я хочу доказать, зачем я пью, и почему я не еду туда, где мне надлежит быть.

— Я не знаю, мама… — говорила я.

На самом деле я знала. Я была вдали от этих трех человек, которых любила, потому что мне было стыдно показаться им на глаза. Я была пьяницей. Мама этих чудных замечательных мальчиков — была пьяница. И трусиха. И неудачница, полная неудачница. И притворщица: сколько я поднимала шуму по поводу своего желания быть взрослой, а теперь не умела принять собственную зрелость.

Мой агент Луи Ирвин пригласил меня в свой офис через пару недель после фиаско с мюзиклом и предложил тур в Европу.

— Твоя карьера под угрозой, дорогая, — сказал он, дымя сигарой. — Но я заключил своего рода сделку с европейскими агентами. Ты сможешь играть в театрах British Gaumont Theatre Chain по Британским островам и в паре второсортных театров. Если ты согласна отправиться по этому маршруту, а честно говоря, только на таких условиях они согласны заказывать тебя, они гарантируют тебе звездный статус в афише выступлений

«Кафе Депаree» в Лондоне.

Он покосился на меня в ожидании восторгов.

— Ты сдвинешься, наконец, с мертвой точки, и уверяю тебя, я тебе не мог бы предложить даже жалкое подобие их гонораров, а доверие «Кафе Депаree» все оценят по достоинству, когда ты вернешься домой. Уверен, это поможет твоей карьере.

Я вздохнула.

— Боже, как бы я хотела обнять тебя, Луи, но я совершенно не в том состоянии. Так нельзя начинать тур.

— В чем проблема?

— Во мне, — сказала я. — Что-то я утратила. Я ненавижу себя — то, во что превратилась. Я пью, словно какой-то маленький человечек с плеткой сидит у меня на плече и погоняет: «Пей, пей!» Я боюсь вернуться в Калифорнию и встретиться со своими детьми, потому что они такие чистые, а я чувствую себя такой грязной. Меня словно разобрали на части, ты меня понимаешь?

Давая мне прикурить, Луи видел, как дрожит моя рука.

— Это вне моей компетенции, милая. Тут нужен психиатр, или даже Анонимные Алкоголики. Я просто бизнесмен. Я довольно давно знаю, что ты в беде. Но я знаю и то, что на выступлении ты никогда не проколешься. С одной стороны, если ты не согласишься, и я буду давать тебе небольшие подработки то там, то здесь, нет никаких гарантий, что ты исправишься. А с другой стороны, если ты поедешь в Европу и покажешь им шороху, все будут тебе аплодировать, все будут тебя любить, может быть, маленький человечек с плеткой отправится куда-нибудь в другое место поискать счастья. Что ты теряешь? У тебя есть настоящий шанс выиграть.

Луи Ирвин, благослови его господь, не мог ошибаться более жестоко. Мне было что терять в Европе. И это случилось.

Глава 20

Вначале 1936 года мы с Глэдис поплыли в Англию. В конечном счете меня убедило предпринять это путешествие то, что Нью-Йорк начал угнетать меня. От постоянной выпивки меня невыносимо трясло, мутило и тошнотворно сосало под ложечкой. И лишь очередной глоток избавлял меня от этого состояния. Каким-то образом мне удалось убедить себя, что виной всему — городской шум, всегда неожиданные взрывы шума. Я не выносила постоянный грохот, доносящийся с улицы в окна моей комнаты, где я пила в надежде, что алкоголь заглушит звуки.

Сначала путешествие оказалось волшебным лечением. Атмосфера расслабления, покоя, соленый воздух помогли мне успокоиться, словно я лежала в мягком теплом коконе. Я пила, но только во время еды, и только шампанское. Я проводила время, уютно укутавшись в кресле на палубе, читая или болтая с Глэдис. Я ела все подряд. К счастью, мне удавалось спать без мучительных сновидений.

Каждый вечер в течение всего путешествия шел какой-нибудь новый фильм. Накануне нашего прибытия в Англию шел фильм Чарли Чаплина «Новые времена».

Когда капитан корабля, красавец типа Уильяма Пауэлла разыскал меня и пригласил быть его гостьей во время демонстрации фильма, я была в панике от перспективы оказаться в большой комнате, полной иностранцев, созерцающих Чарли и знающих, кто я. Я просто не знала, что ответить капитану. Я пошла в свою каюту и велела Глэдис сказать, что я больна и приношу свои извинения. Едва она ушла, я откопала бутылку скотча, которую спрятала среди белья, когда распаковывала чемоданы, и о которой особенно не вспоминала до этого момента. Я распечатала ее и остановилась, только прикончив и забывшись сном. Когда мы прибыли в Ливерпуль, Глэдис с трудом привела меня в чувство.

В Лондоне, в номере люкс отеля «Дорчестер» меня ожидали цветы, фрукты, сладости и шампанское. Несмотря на протесты Глэдис, я опорожнила не менее пяти бокалов шампанского, оделась и отправилась встретиться с Джеком Харрисом за коктейлем в «Кафе Депаree». Джек, сердечный и терпеливый человек, беззастенчиво льстил мне, как он счастлив, что я буду выступать у них. На подготовку выступления, включающего не только мой традиционный репертуар, но и песни, популярные в Англии, оставалась неделя. В целом я проявила сговорчивость, хотя твердо настаивала на двух пунктах. Я потребовала от

Харриса уничтожить плакаты, изображающие позади моего имени и фото черные усики, шляпу-котелок, трость и огромные башмаки. Я также ответила решительным «нет» на предложение позировать для фотографий с Милдред Харрис, первой женой Чарли, выступавшей тогда в ночном клубе в захолустном районе.

Репетиции прошли достаточно хорошо, но за пределами клуба я чувствовала себя ужасно. Мои нервы были на пределе, и в какие-то моменты я почти отключалась. Я знала, что пью слишком много, а ем слишком мало, но не догадывалась, что за исключением моих обязательств, связанных с выступлениями в клубе, я утратила способность контролировать свое время.

Никому, даже Глэдис, я не могла признаться в том, что ужасные симптомы, которые начали проявляться в Штатах, теперь расцвели пышным цветом. Я настолько не ощущала вкуса пищи, что мне надо было видеть, что я ем. Я утратила чувство цвета и видела голубое — розовым, а черное — зеленым. Мое гипертрофированное восприятие звуков в Нью-Йорке стало еще больше беспокоить меня здесь, в Лондоне: неожиданный звук простой шпильки, брошенной на стеклянную полку, мог буквально заставить меня передернуться.

Но самым пугающим было то, что случилось с моим обонянием. Каждый естественный запах казался мне странным и зловещим. Я могла выпить недостаточно, или могла перебрать — результат был один: все запахи ассоциировались у меня с ядом. «Они» — кем бы «они» ни были — преследовали меня. Они добавляли что-то прямо в воздух, которым я дышала, чтобы отравить меня. Я старательно избегала признаваться в чем-то подобном Глэдис, так как пока еще здоровый уголок в моей психике знал, что страхи необоснованны, что это патология, что это кратковременные галлюцинации, которые исчезнут, что надо только сделать еще один маленький глоток — ну, два, — и все эти странности пройдут, и все опять встанет на свое место. Я по-прежнему не утруждалась подсчетами количества выпивки, которую вливала в себя, втайне опасаясь, что если сделаю это, то ужаснусь. Теперь уже дело было не в количестве. Мои привычки день ото дня могли варьировать, но результат был почти всегда один и тот же. В один день я могла опорожнить две бутылки виски или джина за шесть-восемь часов и впасть либо в бесчувствие, либо в состояние неконтролируемой паники, в то время как в другой день я могла добиться того же эффекта, выпив не больше двух порций.

К моему бесконечному удивлению я произвела огромное впечатление своим премьерным выступлением, хотя была очень натянутой и с трудом выдавливала из себя звуки. Кафе,

оформленное в стиле салона шикарного пассажирского лайнера, было заполнено красиво одетыми женщинами в сопровождении кавалеров, облаченных в смокинги, роскошной публикой, готовой щедро заплатить, чтобы быть постоянными посетителями «Депарее» и за один сезон послушать Беатрис Лилли, Гертруду Лоуренс, Хелен Морган и — невероятно — Литу Грей Чаплин. Аплодисменты возродили меня к жизни. Отзывы были благожелательными, и в двух из них на следующий день утверждалось, что я могла бы быть звездой и без имени Чаплина, — то же самое писали и некоторые репортеры в Соединенных Штатах.

После каждого ночного шоу Глэдис разворачивала очередную кампанию по моему возвращению обратно в «Дорчестер», чтобы я приняла теплую ванну и поспала, но Глэдис не понимала, что мне нужно отвести душу. Меня приглашали в ночные клубы — а кроме них, алкоголь после полуночи нигде не подавали, — и я соглашалась. Пока я находилась в теплой компании вновь обретенных друзей и поклонников, которые любили меня такой, какой я была, или, по крайней мере, делали вид, что это так, я справлялась с собой и призраки меня покидали. Липкий страх неизбежно подступал, когда я возвращалась в номер, но, охмелевшая от комплиментов и уставшая от работы, я проглатывала пару ночных порций и отключалась до трех-четырех часов следующего дня.

Однажды ранним утром я отправилась одна в ночной клуб, где выступала Милдред Харрис. Я не собиралась этого делать, но любопытство взяло верх. Моими фотографиями был увешан весь Лондон, но когда я вошла в клуб и направилась к темному бару, никто меня не узнал, именно этого я и хотела.

Клуб был довольно паршивый, и горстка посетителей, сидящих за столами и за барной стойкой, показались мне неприятными. Милдред Харрис сидела за пианино и пела одну за другой стандартные меланхолические песни гортанным, унылым голосом, который был не плох и не хорош, а скорее это был голос усталого профессионала, уверенного в том, что ему заплатят, как бы там ни было. Посетители болтали, не обращая на нее внимания, и казалось, ее это не волновало. Некогда явно хорошенькая, голубоглазая блондинка переходила от мелодии к мелодии, прихлебывая из стакана и делая время от времени затяжку от своей сигареты, явно тяготилась, скучала и ждала, когда закончится ее выступление. Когда, наконец, это случилось, она побрела к концу барной стойки в противоположной от меня стороне, не обращая внимания на скудные аплодисменты.

Я посмотрела, как бармен подливает ей в стакан, и

направилась к ней. Она сидела, ссутулившись, и выглядела бесцветной и изношенной, хотя ей было немногим больше тридцати. Стареющая женщина скользнула по мне глазами, но слегка вздернула брови, когда я представилась и спросила, могу ли присесть рядом.

Она пожала плечами.

— Здесь свободная страна, как утверждают. Интересно, с чего это вы решили снизойти до нас, миссис Чаплин II. Что будете пить?

В следующие полчаса она в свойственной ей медлительной манере подкалывала меня, саркастически поздравляла с присвоением имени Чарли, о чем в некоторых газетах написали: «Вторая Золотая Лихорадка», и сообщила, что если я пришла посмотреть на неудачницу и предложить свою помощь, то лучше мне убираться в свой роскошный район, поскольку она ни в чем не нуждается.

Я была терпелива и не придала значения оскорблениям. Я старалась не вести себя покровительственно, поскольку ничего подобного и не ощущала. Только поняв, что оставаться рядом с этой несчастной, мрачной женщиной больше неуместно, я поняла, и то, зачем на самом деле приходила. В своем отчаянном стремлении избавиться от призраков, мучивших меня, я думала о ней как о единственной женщине, которая понимает Чарли так, как я. Я пришла к этой усталой, потерянной и, наверное, неисправимой женщине в надежде найти у нее ключ к собственному спасению!

Я хотела дать ей денег, все, что у меня было, но не осмелилась. Когда я поднялась, чтобы уйти, она посмотрела на меня.

— У вас ведь два сына от Чарли? Я видела их фотографии в журналах. Красивые. Хорошие мальчики?

— Да.

Она печально кивнула.

— Считайте, что вам повезло. У меня был ребенок от Чарли, слышали, наверное? Он прожил три дня и умер. Чарли тяжело это пережил. Забавно: единственное, что я помню о Чарли, это, как он плакал, когда ребенок умер.

Я попыталась сказать что-то, но она подняла свой стакан и мягко скомандовала:

— Отправляйтесь домой, леди. А благотворительностью займитесь в каком-нибудь другом месте.

Работа в «Кафе Депарее» закончилась вместе с моей способностью быть трезвой и трудоспособной во время шоу. Глэдис старалась прятать от меня каждую бутылку, которую

могла найти, но я неизменно оказывалась умнее; я всегда знала больше потаенных мест, чем она. Мы ездили по провинции и выступали перед хорошей дружественной публикой, но теперь я вела себя, как дрессированное животное, выполняя все, что от меня требовалось и не заботясь об аплодисментах, как Милдред.

Прежде чем отправиться в Шотландию, мы вернулись в Лондон. Глэдис горячо настаивала на отмене тура:

— Зачем это тебе нужно? Ты смертельно устала. Ты буквально ходячий скелет. Ты просто загнешься, если не отдохнешь хорошенько.

— Все будет хорошо. Я должна выступать. Я дала слово.

В ночь накануне пасхального воскресенья я погрузилась в свой привычный алкогольный ступор, но через несколько часов поднялась из постели. Сердце так билось, что, казалось, готово выскочить из груди. Я кинулась к Глэдис с криком:

— Немедленно в больницу. Я умираю!

Она выпрыгнула из постели и принялась искать одежду, пока я металась, словно дикое животное в клетке. Каждый нерв во мне дрожал, я не могла ждать. Я выскочила из ее комнаты, из гостиничного номера и нажала кнопку лифта в коридоре. Но и лифта я не могла дождаться. Я нашла лестницу и помчалась вниз пролет за пролетом, перепрыгивая через три-четыре ступеньки. Я выбежала через холл гостиницы и рванулась в крутящуюся дверь, и, оказавшись на сырой, холодной улице, заметила, что там никого нет, а на мне только ночная рубашка. Хотя это была глубокая ночь, появились люди, готовые помочь, но я могла только кричать из последних сил:

— Глэдис! Глэдис! Глэдис!

Она вылетела наружу и набросила на меня пальто, ворча, что я простужусь до смерти. Кто-то вызвал для нас такси. Мы сели в него, и, приказав водителю вести нас в больницу, Глэдис обняла меня и принялась утешать: «Все будет хорошо, Капитан. Все будет хорошо». Сердце стучало, как барабанная дробь, и меня отчаянно трясло.

Из-за Пасхи в больнице оказались только неопытные врачи. Один из них взял меня под руку, когда я попыталась пройти мимо него, и вместе с другим врачом повел в приемную. Глэдис последовала за нами, рассказывая все, что знала, чтобы объяснить этот необъяснимый приступ. Я сопротивлялась, когда меня укладывали на белый стол, и кричала, умоляя защитить меня от тех, кто пытается меня отравить.

Они сделали мне успокоительное, которое начало действовать практически сразу. Не знаю, сколько времени я провела на столе, но я была относительно спокойна, когда один

из них сказал Глэдис:

— Это нервное истощение. Она перегружена стимуляторами — слишком много алкоголя, по-видимому. Ей нужно остаться здесь на ночь, а потом ей сделают полное обследование.

Глэдис была полностью за. Но я — нет. Чувствуя себя намного лучше и в глубине души страшась того, что мне могут сказать доктора, я поднялась, улыбнулась и сказала:

— Не будут ли господа так любезны оставить леди и дать ей возможность одеться? Я чувствую себя уже хорошо и вполне способна держаться на ногах.

Они возражали, и Глэдис громче всех. Я настаивала и победила. Глэдис, шумно выражая протест, повезла меня обратно в отель, где я поняла, что готова заснуть. Что эти докторишки могли знать об истории физической и душевной болезни Литы Грей Чаплин? Конечно, это сердцебиение было предупреждением со стороны моего изношенного организма; это и без докторов было понятно. И я прислушаюсь к этому предупреждению — пообещала я себе. Я должна поспать, но в отеле, а не на больничной койке, на которой, возможно, кто-то когда-то даже умер.

Несколько дней я была под впечатлением, пока делались последние приготовления для поездки по Шотландии. Я не пила ничего, за исключением красной микстуры, которую мне выписал один из врачей в качестве седативного средства, и мои нервы были в лучшем состоянии, чем когда-либо за все время, как я покинула США. Глэдис по-прежнему была против поездки. Я же настаивала, что эта работа встряхнет меня. Ей пришлось признать, что теперь здоровая краска вернулась к моим щекам.

Тесные театры в Абердине и Эдинбурге уступали «Депарее», но публика была очень доброжелательна и я старалась из всех сил.

Теперь я почувствовала себя такой здоровой, что начала снова пить.

Не слишком много. Вино и пиво. Разве это алкоголь? Так я начала утолять жажду или голод — в зависимости от того, какое объяснение казалось более убедительным, — вином и пивом. Глэдис это не слишком радовало, но даже она вынуждена была признать, что это вполне терпимо в сравнении с тем, как я издевалась над собой раньше.

Одна проблема: вино и пиво, даже в постоянно нарастающих количествах, редко давали мне что-то большее, чем легкое опьянение. Теперь я чувствовала себя более крепкой, и даже хорошо ела, так какой же вред может быть от разумного

употребления виски?

Беда была в том, что скоро стало ясно: небольшое количество скотча — замечательно, а немного больше виски — еще лучше. К тому моменту, как мы были готовы уехать в Глазго, я снова вернулась к выпивке. С одной разницей: теперь я пьянела, и мне становилось плохо за считанные минуты, после пары глотков.

Глэдис угрожала то побить меня, то бросить, то найти доктора и привести ко мне. Потом за ночь до отправления в Глазго у меня началась неукротимая рвота. Стоя на коленях перед унитазом и выворачиваясь наизнанку, я подняла вверх правую руку и поклялась:

— В следующий раз, Глэдис, если увидишь меня за выпивкой, даю тебе право смело бить меня промеж глаз.

На поезде в Глазго, несмотря на то, что я продолжала принимать прописанное мне седативное средство, я начала впадать в туманное состояние. Глядя из окна на дивную зелень Шотландии, я думала, что вижу грозную фигуру Уильяма Рэндольфа Херста, стоявшего в поле и наблюдающего, как я проезжаю мимо. «Херст влиятельный человек. Он сделает для меня что угодно, он может сделать так, чтобы тебя убили», — сказал мне Чарли. Чушь. Нелепая фантазия. Тем не менее массивный Херст стоял, протягивая ко мне огромные руки и отдавая приказ убить меня. Я закрыла глаза, открыла их, и — какое облегчение — увидела, что это было всего лишь пугало, и теперь оно отдалялось от меня.

Эта безумная фантазия повторялась снова и снова всю дорогу.

— Что происходит, Капитан? — спрашивала Глэдис. — Ты как-то странно ведешь себя.

Я смеялась, отчаянно стараясь сдерживать свою дрожь.

— Это все ты. Ты слишком долго думаешь над своими картами. Мы играем или нет?

Что-то подсказывало мне, что когда мы приедем в Глазго, я найду способ сразу же показаться доктору. Что-то со мной было не то, мягко говоря. Я чувствовала себя паршиво, как никогда, словно зверски напилась, хотя ни единой капли во мне не было. На самом деле я была напичкана седативными препаратами. Я не чувствовала времени, а в горле неотступно стоял сдавленный крик, который никак не мог выйти наружу.

Мрачная погода в Глазго, куда мы прибыли, действовала угнетающе. Гостиница, заказанная для нас, казалась жалкой после «Дорчестера», и даже менее роскошных отелей, в которых мы останавливались, прибывая в Европу, но я была слишком измучена и напряжена, чтобы подняться с места и требовать

лучших условий. Пожилая женщина, подтвердившая заказ, принялась выражать восторги по поводу Чарли Чаплина, бывшего ее любимым киноактером, и, удалившись на секунду, вернулась с коллекцией шотландских и английских журналов, которые предложила дать мне почитать, уверяя, что там множество прекрасных статей о Чарли. Я не стала говорить, что ее щедрость не к месту, я давно привыкла, что иностранцы, узнав, кто я, начинают искренне пытаться поделиться со мной своей любовью к Чарли. Я взяла журналы, поблагодарила ее и обещала вернуть их.

Нам с Глэдис показали мрачную комнату с одним шкафом, двумя бюро и единственной постелью. Она распаковывала вещи, а я переоделась в халат в надежде, что ванна взбодрит меня и позволит провести вечер в более или менее нормальном состоянии. Я прихватила с собой десяток журналов и отправилась в ванную комнату в конце коридора.

По крайней мере, вода из крана шла теплая, что не всегда бывало даже в некоторых куда более приличных европейских гостиницах. Лежа в ванне, я могла провести время, читая истории о Мирне Лой, или Кларке Гейбле или Кэри Гранте или еще каких-нибудь голливудских знаменитостях.

Чарли Чаплин и Полетт Годдар.

Вот они на теннисном корте, на яхте, на премьере. Они выглядели такими счастливыми рядом друг с другом. Прекрасно. Мне-то что до них? Наша история с Чарли давно в прошлом, это все дела давно минувших дней, так что, всего тебе хорошего, простая Полина Леви из Лонг-Айленда. У меня все не так плохо. У меня два прекрасных сына и карьера, и я достаточно хорошенькая, и вокруг меня роятся мужчины. У меня есть деньги, или у меня были деньги, что в общем-то тоже хорошо. Так что какое мне дело до них, а им до меня?

Я захлопнула журнал, вылезла из ванны, надела халат и поспешила обратно в комнату.

— Ну, это было… — начала бодро Глэдис, и замолкла, увидев, как я подхожу к белью, которое она разложила на кровати. — Что-то не так, Капитан?

— Нет, — ответила я, вытираясь досуха. — Просто хочу прогуляться.

Она осторожно предложила:

— Я с тобой.

— Нет, я сама, — сказала я и начала быстро одеваться. — Я хочу немного побыть одна. Тебе никогда не хочется побыть одной?

— Капитан, когда ты начинаешь вести себя, как сейчас, я

знаю, что…

— Ну вот, заладила! Я не собираюсь напиваться. Слышишь? Я просто хочу немного погулять! Если ты не можешь понять такую простую вещь своей дурной башкой, почему бы тебе не собрать свои манатки и не отправиться к себе домой? Никто по тебе скучать не будет!

Я быстро оделась в первое, что подвернулось под руку, и вырвалась наружу. Сырой воздух ударил в лицо, но я упорно двигалась вперед, словно у меня была конкретная цель. Да, думала я. Доигралась. А почему бы не пойти дальше и не обозвать ее похлеще? Кто она такая, эта Глэдис Томпсон? Единственный человек, который не бросает меня, слушает и успокаивает, как мать, и никогда не говорит: «Я же говорила», которая убирает за мной и терпит меня. Единственный человек, благодаря которому я до сих пор жива.

Я вошла в первую попавшуюся пивную. Это было явно заведение для мужчин, не то место, куда ходят семьей. Но когда я заказала двойную порцию скотча, меня не выгнали. Напиток помог, а второй двойной скотч помог еще больше, но мой внутренний звоночек пока еще работал, и он не позволил мне заказать третью порцию. Я расплатилась и вернулась в отель, комната была пуста. Итак, Глэдис ушла. Я не стала проверять на месте ли ее вещи. Я просто села на кровать, скрестив ладони поверх колен, и оплакивала хорошие дела, не сделанные мной, и хорошего человека, каким могла быть.

Вошла Глэдис. Мне было стыдно смотреть ей в глаза, стыдно даже говорить.

— Все в порядке, Капитан? — спросила она. — Я искала тебя внизу. Делай что угодно, но не выходи на улицу без пальто в такую погоду.

Мне ужасно хотелось заплакать, когда она прикоснулась ко мне, и я обняла ее. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу.

— Прости меня, пожалуйста, прости меня, — шептала я.

— За что? — спросила она. — Успокойся и собирайся в театр.

За кулисами я трясла головой, надеясь, что она прояснится. Прозвучало вступление, и я вышла на сцену, радуясь аплодисментам.

Теперь я чувствовала себя хорошо, я контролировала себя. Я пропела «I'm wife of the Life of the Party» так, словно никогда прежде не пела ее на публике, с необычайным задором, юмором. Мои первые зрители в Глазго были в экстазе, и я начала следующий номер, и следующий, я вкладывала все свое умение, все, чему научилась в этом невероятном и таком иногда радостном шоу-бизнесе. Я была в ударе. Я была Лиллитой

Макмюррей — Литой Грей — Литой Грей Чаплин, — которая не всегда нравилась себе, но которая чувствовала, знала, что это шоу будет лучшим, будет ее вершиной. Я знала, что жива и стою пока еще чего-то, и эти люди не стали бы аплодировать мне и любить меня только из-за Чарли. Я была на вершине блаженства, когда начала песню: «It's My Mother’s Birthday Today».

На словах «It's my mother’s bir..» я остановилась.

Дирижер почувствовал что-то, дал оркестру проиграть следующий куплет и попытался дать мне возможность начать второй раз.

«It's my…»

Я споткнулась. Сотни людей смотрели на меня, мои плечи затряслись, и я начала плакать.

Больше я не пыталась справиться, бороться, извиняться и начинать снова. Я стояла здесь на широкой сцене перед сотнями людей и плакала. Слезы свободно текли по щекам. Музыки больше не было. Публика притихла. Я не убежала. Я осталась. Я рыдала. Я упала на колени, протянула руки вперед и просто рыдала.

Занавес опустили, и заиграла музыка для номера акробатов, выступавших вслед за Литой Грей Чаплин.

Глава 21

Провал в памяти.

Лондон, санаторий, и никто не хочет говорить мне правду.

Со мной возятся люди в белых халатах с непроницаемыми лицами, но никто не хочет честно сказать мне, как я попала сюда из Шотландии, сколько времени они меня тут держат. Может быть, меня привезли сюда, чтобы убить. Все отвечают на каждый мой вопрос, все очень милы, несмотря на эти непроницаемые лица. Все говорят, что я в безопасности, что мне нужен отдых, хорошее питание и скоро я смогу отправиться домой. Я знаю, что они лгут. Все они в заговоре против меня, и под видом лекарств они заставляют меня принимать яд. Он медленно, но верно убивает меня. Я молю: сделайте это быстро, покончите с этим. Я молю: пожалуйста, не убивайте меня, отпустите меня домой, и я ничем вас больше не потревожу.

Провал.

Я на корабле, плывущем от Саутгемптона в Нью-Йорк, лежу в постели шесть дней, глядя в потолок каюты и наблюдая фигурки на нем. Здесь Чарли, Бродяга, Малыш беззаботно кривляется, а потом смотрит на меня и холодно произносит: «Убирайся, маленькая шлюха». Я закрываю глаза, но продолжаю слышать его.

Когда корабль прибывает в Нью-Йорк, Глэдис помогает мне спуститься с трапа. Нас уже ждут Луи Ирвин и мой друг, Адриан Дройсхут Я целую их обоих, извиняюсь за свой внешний вид — я вешу менее 40 килограммов — и благодарю за заботу. Луи объясняет, что меня готовы принять на обследование и лечение в Институт неврологии.

«Я в ваших руках», — говорю я бодро, мысленно поздравляя себя с тем, что после долгого ненормального периода наступил светлый этап, и внезапно чувствую волну недовольства его заявлением и ловлю его и Адриана на том, что они обмениваются заговорщическими взглядами. «Я чувствую себя уже лучше», — лгу я.

Они ловят такси, и Глэдис садится впереди рядом с водителем. Заднее сиденье очень просторное, но неуютно от ощущения, что Адриан и Луи специально сели по бокам, чтобы я не могла убежать. Как только мы рассаживаемся по местам и двери захлопываются — о этот отвратительный звук! — Адриан предлагает мне сигарету. Я напрягаюсь от страха и подозрения.

— Что вы туда положили? — спрашиваю я.

— В каком смысле, Лита?

Я чувствую, что меня понесло, но не могу остановиться.

— Вы положили туда яд. Вы дождаться не могли, чтобы я закурила.

Они всячески убеждают меня, что я в безопасности. Они везут меня в больницу, где у всех белые халаты и непроницаемые лица. Я хочу сопротивляться, но вместо этого начинаю плакать. Доктора и сестры целыми днями трудятся надо мной, чтобы успокоить меня, но каждую минуту бодрствования я провожу в слезах, неукротимых слезах страха и горя. Я знаю, что м-р Херст послал кого-то из Калифорнии убить меня, и умоляю докторов защитить меня. Мне пятнадцать лет, и я беременна от Чарли, а Чарли не хочет на мне жениться.

На краешек моей постели подсаживается доктор. Я беру его за руку и молю:

— Пожалуйста, женитесь на мне… не говорите «нет»… пожалуйста, обещайте мне жениться…

Он говорит мягко с доброй улыбкой:

— Потрясающее предложение, но боюсь, я уже женат.

Я цепляюсь за него и кричу:

— Ну и что? Вы должны на мне жениться! Кто-то ведь должен на мне жениться! Пожалуйста, пожалуйста… ну, пожалуйста!

Холодные простыни. Меня ведут в ванную комнату и надевают резиновый круг на шею. Хотят утопить меня? Да, связать и утопить. Я умоляю их помочь мне, понять меня, взять все деньги и отдать Чарли. Я не хотела их. Я не заслужила их. Я ничего не заслужила. Они отводят меня в комнату и объясняют, что есть такое лечение электрическим шоком, которое мне поможет, что это не страшно и нужно успокоиться.

Длинные, темные ночи с огромными тенями медсестер на стенах. Дни с этими штуками на моих висках, с этими штуками вокруг лодыжек, меня уверяют, что мои дети не мертвы, что с ними все в порядке, и что вообще все будет хорошо, а я не могу в это поверить.

Проходят недели. Постепенно уходит паника, прекращаются слезы. Приезжает мама из Лос-Анджелеса и забирает меня домой. Я сижу в кресле-каталке, и два носильщика помогают мне выбраться из поезда.

Каким-то чудом Луи Ирвин убирает все упоминания о моей болезни из документов, за что я ему всегда буду благодарна.

Когда погода теплая, я сижу, уставившись в пространство, на заднем дворике бабушкиного дома, зная, тем не менее, что в один прекрасный день каким-то образом выберусь из этого тумана. Мама заботится обо мне, а мальчики старательно делают вид, что их мать вовсе не развалина.

Удивительно вовремя в моей запутанной жизни появляется Генри Агирре. У него дом неподалеку отсюда, и в один прекрасный день моя тетушка приводит его познакомиться. Я вежлива, но не слишком дружелюбна, хотя он — очень приятный молодой человек, просто разговаривать с кем-то или даже слушать выше моих сил.

Поначалу он для меня просто милый юноша, который забегает посидеть со мной. Потом, по мере моего возвращения к жизни, я начинаю видеть его достоинства. Это прекрасный молодой человек, которого действительно волнует, что я побывала в преисподней и постепенно начинаю обретать равновесие. Что такое болезнь, ему известно; будучи танцором, он заразился малярией во время тура на Востоке и долгое время мучился от нее. Очень осторожно он подводит меня к тому, что я начинаю понемногу рассказывать о себе.

Генри берет меня с собой покататься на машине, все еще обращаясь со мной как с выздоравливающей — хотя и без чрезмерности, — и его нежность ободряет меня, заставляет почувствовать себя желанной. Я рассказываю ему о своем падении, в гораздо более подробных деталях, чем могла бы рассказать маме. Разговоры помогают мне, а его отказ от корректив и цензуры — еще больше. Он уверен, что сам не выжил бы, если бы судьба не привела его к д-ру Эдварду Франклину, который сотворил с ним чудо, и который может и меня вернуть к жизни. Через неделю, когда голова проясняется еще больше, я соглашаюсь пойти к нему.

С д-ром Франклином, упитанным лысым человеком, у нас мгновенно складывается взаимопонимание. Он выслушивает меня внимательно в течение двух часов и после этого обещает через три месяца полностью вылечить. Он посылает в Нью-Йорк за моими медицинскими и психиатрическими заключениями, а пока они в пути, назначает мне ежедневные горячие ванны и массажи, и три раза в неделю — инъекции глюконата кальция. Более того, он постоянно готов выслушать меня и ответить на вопросы, помогая приводить в порядок мои мозги и мое хилое эго, пока сам врачует мое тело.

Его предсказание подтверждается. Через три месяца я бодра и здорова. Едва ли я способна завоевать приз за лучшее психическое здоровье, но я ем, сплю без таблеток и более спокойна, чем когда-либо в жизни.

Мы едем с Генри Агирре в Санта-Монику и женимся. Это кажется разумным шагом, но мной движут ложные соображения: я думаю, что брак с мальчиком, которого я не люблю, но которому доверяю, даст мне чувство стабильности, Генри, легкий,

покладистый человек, хочет жениться на мне, потому что беспокоится за меня.

Через несколько месяцев мы разводимся. Этот брак не должен был случиться, но заканчивается без сожалений. Когда мы понимаем, что ничего не можем дать друг другу в эмоциональном отношении, мы расходимся по взаимному согласию.

В 1938 году я вышла замуж за Артура Дея, довольно успешного театрального агента. Чарли-младший и Сидней посещали Военный институт, а я время от времени работала, зарабатывая на жизнь, но выступления потеряли для меня былую привлекательность. Артур появился очень в подходящий момент, это был безалаберный, нежный и очаровательный ирландец, убедивший меня, что мы будем лучшей в мире супружеской парой.

Безусловно, я любила его. Я вышла за него замуж, хотя знала, что он пил и был уверен, что мир был бы лучше, если бы все любили выпить. Я была предупреждена, что капля алкоголя для меня равносильна самоубийству, и сказала ему об этом. Он покачал головой и засмеялся.

— Слушай, детка, я не собираюсь плясать под твою дудку. Если ты желаешь быть такой серьезной, это твое дело. Я не буду мешать тебе соблюдать твои герлскаутские законы.

Через несколько дней после того, как мы поженились, начались сражения. Артур не был алкоголиком — в обычном понимании слова, — он мог прекрасно функционировать, когда это было необходимо, и когда он хотел этого. Но алкоголь настолько был частью его жизни, что нас окружали только такие друзья, которые пили слишком много. На вечеринках, слоняясь со своей кока-колой и наблюдая за гуляками, я была как бельмо в глазу. Артур начал на людях называть меня Кэрри Нейшн[8], сначала в шутку, а потом с саркастической ноткой в голосе. Остальные напивались и начинали поддразнивать меня за то, что я такая зануда, и уговаривать сделать хотя бы глоток. Артур присоединялся к ним. Я уходила, шла домой одна, а на следующий день воевала с ним.

Для меня было важно оставаться в браке, а не вернуться к маме — которая была против того, чтобы я выходила замуж за Артура Дея, еще больше, чем была против брака с Генри Агирре, — и дать ей возможность сказать: «Я же говорила».

Я сдалась и начала пить вместе с ним.

Попробовала пиво, потом вино, и нашла их воздействие приятным. В конце концов, мои прошлые проблемы с выпивкой возникли из-за того, что я пила слишком много, расстраивая свое здоровье. Сейчас мой организм был в полном порядке. Мысли о

Чарли не мучили меня больше. И пока в моей руке был стакан, у нас с Артуром все шло как по маслу.

Под его нажимом я попробовала скотч и обнаружила, что небеса не обрушились на мою голову. На вечеринке в Манхэттене, где мы жили, я выпила несколько порций виски с содовой, расслабилась, испытала счастье и прекрасно чувствовала себя на следующее утро.

За год я вернулась к тому, с чего начинала. Мысль о еде отвращала меня, снова появились кратковременные галлюцинации: я видела и слышала людей и предметы, которых на самом деле не было. Нарушение сахара в крови и кровяного давления, расшатанные нервы. Все чаще мне было трудно даже просто встать с кровати утром. И когда мне был нужен Артур, он веселился с друзьями в баре на углу.

Я ушла от Артура в 1943 году, чтобы отправиться домой в Калифорнию к д-ру Франклину, и узнать, что он умер. Дом моей мечты за 90 000 долларов стал обузой, и я была вынуждена его продать. Теперь не было и другого дома, так как с бабушкой случился удар. Чарли-младший и Сидней служили, так что мы с мамой арендовали маленький дом в долине.

Я связалась с д-ром Альбертом Бестом, преемником д-ра Франклина, и он раскопал мои старые бумаги. Он обследовал меня и твердо заявил, что если следующий глоток меня и не убьет, то уж точно я недалека от смерти, если буду пить еще больше. Серьезность его тона подействовала на меня, и я дала обещание — и сдержала его. Он пошел дальше, заявив, что я по-прежнему в опасности, если не соглашусь отправиться для полной реабилитации в санаторий.

Едва придя домой, я позвонила Чарли.

Зачем ему было разговаривать со мной? Он как раз женился на Уне О'Нил, дочери Юджина О'Нила, после развода с Полетт Годдар. Развод сопровождался скандалом; Джоан Берри привлекла его к ответственности как отца ее ребенка. Но я должна была позвонить. Больше мне было не с кем поговорить.

Его подозвали, и он подошел к телефону. Он был удивлен моему звонку, но говорил оживленно. Я не стала терять время зря. Я сказала ему, как больна. Я сказала, как отчаянно нуждаюсь во встрече с ним.

— Давай свой адрес, — отреагировал он. Он приехал, тепло поприветствовал меня, когда я открыла дверь, и не показал вида, как ужасно я выгляжу в свои тридцать пять. Мы сели в машину и отправились на побережье Лас-Флорес по направлению к Малибу. День был прохладный. С моря шел туман.

Мы начали разговаривать о мальчиках и сравнивать

впечатления, каждый из нас получал от них милые письма и фотографии. Мы согласились, что не могли и желать большего от наших замечательных сыновей. Чарли сказал:

— Значит, что-то делалось правильно. Иначе они не были бы такими.

Он выглядел, конечно, постаревшим, но морщины на лице и волосы с проседью лишь делали его еще более неотразимым. Мы ехали какое-то время молча, а потом он произнес с чувством:

— Расскажи мне о себе, Лита. Но прежде чем ты это сделаешь, позволь мне сказать тебе кое-что. У тебя все будет хорошо. Что бы ни было, у тебя все будет хорошо.

Я рассказала ему все, что со мной произошло, о своей депрессии и постоянной меланхолии. Я рассказала о том, как искала себя все эти годы: в шоу-бизнесе и за его пределами. Я говорила просто, как могла, стараясь не ныть и не звучать абсурдно.

Потрясающая проницательность и понимание человеческой натуры Чарли как артиста никогда не проявлялись в его личной жизни; сейчас он слушал напряженно, словно взвешивая каждое слово. После этого, не спуская глаз с дороги, он произнес:

— Мы все ищем себя, ищем любви, признания. Это не дается легко. А некоторые так никогда и не находят то, что ищут.

— Ну, у тебя-то это всегда было.

Он покачал головой.

— Я искал себя всю жизнь. А если и нашел, то только благодаря Уне.

— Как тебе удается всегда оставаться для меня загадкой, Чарли? — спросила я. — Почему мы никогда не понимали друг друга?

— Потому что я не понимал сам себя, — ответил он. — Я знал, что боюсь людей, боюсь боли — и это все, что я знал о себе. Я просто не мог поверить, что кто-то может любить меня. Я остро чувствовал, что я маленький человек с непомерно большой головой и маленькими руками и ногами. Я никогда не понимал женщин. Я не доверял им. Я покорял их, но не мог любить их, так как был уверен, что они не могут любить меня. Фантастика? Но это тайная история самоуверенного Чарли Чаплина.

Он замолк, словно вспоминая наши недолгие совместные годы.

— Лита, если это поможет тебе и как-то утешит, я скажу: даже когда я вел себя наиболее отвратительно, я знал, что очень разочаровываю тебя, и мне было плохо. Я оправдывал себя, говоря, что моя жизнь в работе, и я должен защищать ее, но это, конечно, самообман. Я просто не желал отдавать себя. Таким я

был с тобой, с Милдред и с Полетт. Если бы был бог, я бы молился, чтобы он не дал мне повторить подобное с Уной. Я защищал себя, когда делал тебе больно и провоцировал тебя уйти от меня. Если это поможет тебе, знай, я сожалею об этом.

На обратном пути Чарли спросил меня, насколько серьезно я отнеслась к предупреждению доктора относительно алкоголя. Я сказала, что очень серьезно, но хотя и очень напугана, зная о последствиях, я все-таки не уверена, что мне хватит мужества остановиться.

Чарли чуть не взвился:

— Это слова ребенка. Тебе тридцать пять, и у тебя вся жизнь впереди. Кроме того, у тебя двое сыновей, которые не заслуживают сиротской участи. Как это ты не уверена, что сможешь прекратить пить? Есть один способ прекратить — это прекратить. Возьми себя в руки и стой до победного. Боже мой, Лита, блуждать в потемках — это одно, но лежать и ждать гробовщика — это уже другое. Ты должна бороться! Разве чего-то можно добиться без борьбы?

Вести со мной душеспасительные беседы мог и кто-то другой. Но я слушала Чарли, который в конечном итоге воплощал и силу, и понимание, и сострадание.

Чарли отвез меня домой. Прежде чем я вышла из машины, он повторил, как мне необходима решимость. Потом он прикоснулся к моей руке и сказал:

— Подожди, Лита. Знаешь, после всех этих лет я могу сказать: я любил по-настоящему только двух женщин — тебя и свою теперешнюю жену. Мне жаль, что я не смог тогда быть настоящим мужем.

После той встречи с Чарли, которая спасла меня и побудила меня сразу же пройти курс лечения, я отправилась в санаторий. После долгого пребывания там, в том числе — одиннадцати процедур электрошока, я воскресла к новой жизни. Шок буквально вытряхнул из меня многолетний паралич души.

При каждом моем визите к д-ру Бесту он уверял меня, что мое здоровье все лучше и лучше. Именно он предложил через какое-то время, чтобы я подумала о занятии, в котором могу применить свои знания шоу-бизнеса, и именно он натолкнул меня на мысль открыть артистическое агентство. Я всерьез рассмотрела его предложение, и в 1950 году, одолжив немного денег, поскольку собственные средства почти полностью спустила на глупые прихоти и болезнь, я открыла агентство в Лос-Анджелесе.

В агентском бизнесе чрезвычайно трудно добиться успеха, но какое-то время все шло хорошо, я устроила нескольких

исполнителей на хорошую работу — в том числе Дэвида Дженссена, который потом продолжил и получил очень желанную заглавную роль в телевизионном сериале «Беглец» (The Fugitive). Но бизнес покатился под уклон, когда мой помощник ушел из агентства, забрав с собой многих перспективных талантливых звезд. Клиенты, которые остались, не могли обеспечить покрытие накладных расходов, и вскоре я оказалась в долгах. В 1952 году агентство пришлось закрыть.

Я вернулась в шоу-бизнес, но и тут удачи не было. Имя ничего не значило и давало возможность разве что выступать во второсортных клубах Лас-Вегаса. От этого я отказалась. Теперь мне было сорок четыре — не самое подходящее время начинать все сначала, особенно когда речь идет об изначально ненадежном деле. У меня не было ни малейшего желания повторить судьбу бедной Милдред Харрис.

В том же самом 1952 году мои пути с Чарли пересеклись вновь. Я жила в маленьком арендованном доме в Голливуде с мамой и Чарли-младшим. Однажды раздался телефонный звонок от адвоката, чье имя показалось знакомым, и который оказался сыном человека, бывшего одним из адвокатов Чарли двадцать пять лет назад. После пяти минут формальностей он перешел к делу.

— У нас проблема, и вы можете помочь, — сказал он. — Чарли нужна любая помощь.

Он изложил в деталях то, что я уже читала в газетах и слышала от друзей. Недавно Чарли уезжал на отдых в Европу. Власти не хотели разрешать ему въезд в Соединенные Штаты, им давно многое не нравилось: то, что он не подавал заявления на получение американского гражданства, его слабость к маленьким девочкам вдвое моложе его самого, и вдобавок в некоторых кругах его считали членом коммунистической партии.

— Они стараются сфабриковать такое дело против него, чтобы он никогда не мог вернуться назад, — сказал адвокат.

— А я тут при чем? — спросила я. Я благополучно стерла из памяти свою последнюю встречу с Чарли и помнила только его жестокость. Как смеет его представитель обращаться ко мне?

— Вас собираются вызвать в суд, — ответил он. — Его собираются обвинить в аморальном поведении. Вы имеете к этому прямое отношение, поскольку они подняли то заявление во время вашего развода с ним в 1927 году. Их интересуют такие фразы, как «неподобающее сексуальное поведение» и «извращения».

— Боже правый, — вздохнула я, хватаясь за сигарету. — Все это было так давно. Зачем вытаскивать это наружу? У меня

столько воспоминаний о недостатках Чарли, но они никак не угрожают Америке.

— Вот поэтому вы можете помочь, — сказал он. — Вас никто не просит изображать из него святого. Вас просят только о честной игре. Если оставить в стороне личные обиды, то это страшная несправедливость со стороны властей делать то, что они пытаются. Они не просто вышвырнули его из страны, что было бы нелепо. Они дождались, пока он выехал на отдых, и срочно сфабриковали дело, чтобы помешать ему вернуться. Поведение такого рода понятно в тоталитарной стране, но неприемлемо в нашей.

Он предложил мне предоставить хорошую юридическую консультацию.

Как нелепо, думала я, что из всех женщин в жизни Чарли я оказалась единственной, кого правительство могло вызвать в суд выступать против него. Адвокат сказал мне, что Уна О'Нил не может свидетельствовать против него, даже если бы пожелала. Милдред Харрис умерла в сорок три года от алкоголизма. Полетт Годдар теперь была связана с Эрихом Марией Ремарком, за которого впоследствии вышла замуж, и было неизвестно, где она находится. Джоан Берри не могла быть свидетелем, так как, согласно решению суда в связи с признанием отцовства она была помещена в психиатрическую лечебницу. Другие женщины, сыгравшие определенную роль в его жизни, либо умерли, либо были бесполезны. Эдна Первиэнс жестоко страдала от алкоголизма, и в конечном итоге несколькими годами позже ее постигла мучительная смерть. Рыжеволосая Мерна Кеннеди умерла в тридцать пять лет, как писали газеты, от сердечного приступа. Только Лита Грей с пожелтевшим заявлением о разводе была доступна.

Двадцатого октября 1952 года я отправилась в Отдел по иммиграции и натурализации Министерства юстиции США. Адвокат, который должен был представлять меня как свидетельницу, провел со мной добрые полчаса в коридоре, прежде чем началась церемония. Он проинформировал меня о моих правах в качестве свидетеля на правительственных слушаниях, предназначенных определить, будет ли дано разрешение Чарли Спенсеру Чаплину вернуться в Соединенные Штаты.

— Нервничаете? — спросил он.

— Очень, — ответила я.

— Постарайтесь успокоиться. Эти ребята знают свое дело, но когда они попытаются втоптать вас в грязь, я наброшусь на них. Там, где будет возможно, я скажу: «Это конфиденциальная

информация, касающаяся мужа и жены, и если вы не хотите отвечать на этот вопрос, вы не обязаны». Тогда вы скажете: «Учитывая, что мы тогда были мужем и женой, это конфиденциальная информация, и я предпочту не отвечать на этот вопрос».

Он вручил мне карточку, где была напечатана эта формулировка, и сказал, что будет сидеть прямо передо мной. Он был так хорошо подготовлен и настолько уверен, что я именно так и поступлю, что мне вдруг вздумалось сказать:

— Вы знаете, я ведь могу одурачить вас и вашу идеальную юридическую фирму. Я могу решить распять Чаплина.

Он посмотрел на меня так, словно я дала ему пощечину.

Один эксперт и два следователя сели за длинный стол. Присутствовал стенографист. Эксперт начал: «Настоящим ставлю вас в известность, что я инспектор по вопросам иммиграции Службы Соединенных Штатов по иммиграции и натурализации, в коем качестве уполномочен по закону принимать свидетельские показания под присягой от любого лица, относительно права иностранца находиться, въезжать, жить и оставаться в Соединенных Штатах. Я желаю получить от вас заявление под присягой касательно права Чарли Чаплина въезжать, возвращаться или оставаться в Соединенных Штатах. Ставлю вас в известность, что любое заявление, которое вы сделаете, может быть использовано против м-ра Чаплина в любых судебных процессах».

Я дала присягу и ответила на обычные вводные вопросы, такие как сколько мне лет, где я живу и т. д. Потом внезапно, милый д-р Джекил превратился в мрачного м-ра Хайда:

— До брака с м-ром Чаплином у вас с ним были интимные отношения?

— Да, — сказала я, сбитая с толку неожиданным натиском.

Оставшуюся часть слушаний, которые длились бесконечные сорок пять минут, они не сдавались. Они были искушенными инквизиторами, и ставили вопросы так, что был очевиден их настрой сокрушить Чарли. Адвокат, когда дело принимало крутой оборот, напоминал мне о конфиденциальности информации между мужем и женой, но они не были намерены церемониться. Они хорошо подготовились к слушаниям; они знали обвинения в моем заявлении о разводе наизусть, и, безусловно, изучили всю дополнительную информацию из других источников. Они знали, что мне было пятнадцать лет, когда начались наши интимные отношения с Чарли. Они знали, что мы поженились после того, как я забеременела и отказалась делать аборт.

От спальни они переключались на вопросы политики:

— Перед вашим замужеством с м-ром Чаплином в 1924 году вы обсуждали с ним политические вопросы?

— Нет, не думаю, что я знала что-либо о политике. Я и теперь не разбираюсь в ней.

— Он говорил вам когда-либо, что сочувствует коммунистическому движению? Или мировому коммунистическому движению?

— Нет.

— Вам известно, что м-р Чаплин вкладывал деньги в коммунистические организации?

— Нет, я ничего не знаю об этом.

— Встречался ли Чарли Чаплин с известными членами Коммунистической партии?

— Я не знаю, с кем он встречался. На моей памяти никаких разговоров о коммунизме не было.

Потом они вернулись в спальню. Эксперт Альберт Дел Джерико сказал:

— Позвольте мне зачитать слова заявления от 27 января 1924 года: «Примерно за четыре месяца до упомянутого развода ответчик» — имеется в виду Чарли Чаплин — «назвал знакомую девушку и сказал истице» — то есть вам, — «что он слышал о вышеназванной девушке такое, что позволяет ему считать, что она может захотеть участвовать в действиях извращенного характера, и попросил истицу» — то есть вас — «пригласить ее как-нибудь в дом, чтобы вместе развлечься». Вы помните это?

Адвокат прочистил горло и назвал это конфиденциальной информацией. Но Дел Джерико не сдавался; он насел на вопрос о так называемых извращениях:

— В вашем заявлении о разводе, находящемся в главном суде первой инстанции в Лос-Анджелесе вы утверждаете среди всего прочего, что поведение м-ра Чаплина и проявления интереса в сексуальных отношениях между вами и им были ненормальными, неестественными, извращенными и непристойными. Вы утверждали это?

Не думаю, что я полностью изменила свое мнение, как вести себя в отношении Чарли в своих показаниях. Моя горечь с годами прошла, хотя я и не была готова простить ему боль, которую он причинил мне и другим. Но м-р Дел Джерико, который всего лишь делал свою работу, начал, тем не менее, лезть мне в душу. Это стремление наказать Чарли — или кого угодно — за действия, совершенные при жизни прошлого поколения, казались мне бессовестными.

— Я не знаю, — сказала я холодно. — Заявление составляли

адвокаты. Они задавали мне вопросы, и я говорила им о том, что считала ненормальным в возрасте шестнадцати лет.

— Вы знакомы с положениями пункта 288а уголовного кодекса штата Калифорния?

— Не думаю.

— Я зачитаю вам положения пункта 288а уголовного кодекса штата Калифорния: «Любой человек, участвующий в капуляции рта одного человека с половым органом другого человека, подлежит наказанию через тюремное заключение в тюрьме штата сроком не более пятнадцати лет». У вас с м-ром Чаплином были такие отношения во время вашей супружеской жизни?

Я сказала ему, что предпочитаю не отвечать. Я ему не сказала, что, вероятно, он и сам чувствует себя идиотом, пытающимся найти преступление в том, что происходило двадцать пять лет назад между смущенной девочкой-женой и мужчиной, которого она еще не успела начать понимать.

Через сорок пять минут следователи поблагодарили меня и оставили в покое. Очевидно, я не помогла Чарли; он не вернулся в Соединенные Штаты. Но я и не причинила ему вреда. Позже до меня дошли слова благодарности Чарли за то, что я, как он выразился, не оказалась «мстительной и бессердечной».

Это послание меня, как ни странно, взволновало.

Глава 22

После того как публика плохо приняла в 1957 году «Короля в Нью-Йорке» (A King in New York) и фильм не показывали в Америке, Чарли больше не снимал кино. Тем не менее он продолжал оставаться объектом внимания. О нем писали, когда он объявил план создания фильма для Софи Лорен и нашего сына Сиднея. Писали, когда его любимая дочь Джеральдина покинула их общий с Уной дом в Швейцарии и отправилась в Англию вести образ жизни битников. Писали, когда Чарли отправился на похороны своего брата. Как бы там ни было, гения комедии Чаплина знает весь мир.

О Чарли написаны миллионы текстов, воспевающих его и проклинающих его, искренне пытающихся оценить его; и, несомненно, еще больше напишут о нем в будущем. К сожалению, в рассказах о человеке — его собственных или в изложении биографов — обычно преобладает какой-то однобокий подход. Чарли предстает либо плотоядным монстром, либо святым. Ни один из портретов не дает истинного представления о нем. Есть книги, которые комментируют каждый его шаг, начиная с рождения и заканчивая основными фильмами. Есть авторы, настолько ослепленные его величием, что объясняют его слабости как странности. И то и другое оказывает ему дурную услугу, поскольку это живой человек, и его нельзя рассматривать в одной плоскости.

Мы с Чарли были связаны друг с другом, так или иначе, в течение двадцати лет. В короткий период нашего брака я видела его в самых разных настроениях, от эйфории до продолжительной депрессии. Я была свидетелем и сострадания и жестокости, и взрывов ярости и неожиданной доброты, и мудрости и невежества, и безграничной способности любить и невероятной бесчувственности. Другие смогут лучше оценить его гений, который останется на тысячи лет после того, как его клеветники будут забыты. Но я верю — скромно или нескромно это с моей стороны, — что я знаю его, живого человека, настолько, насколько вообще его мог знать кто-либо. И, возможно (если его собственная автобиография отражает его способность к самораскрытию), лучше, чем он знает себя сам.

В этих воспоминаниях за сорок лет я критиковала Чарли. В то же время, надеюсь, я не изображала себя невинной овечкой. Психологически неустойчивые люди склонны перекладывать вину за общее поражение на других. Это делали и мы с Чарли. Каждый из нас ошибался, и у каждого была своя правота. Я не могу

говорить за Чарли, но со временем я сумела взглянуть на нашу совместную жизнь с большим пониманием, чем могла даже вообразить когда-то.

Это не значит, что наш брак не был обречен. В то время я делала все, что способна придумать романтичная, робкая, растерянная девочка, чтобы спасти брак и развивать его в позитивном направлении. И, тем не менее, я делала недостаточно, и то, что я делала, часто было неправильно. Даже сегодня я ловлю себя на мысли: что было бы, если бы я тогда обладала духом и разумом, какие, надеюсь, у меня есть сейчас.

Мой ответ всегда одинаков: это ничего не могло изменить. Чарли был легендой в свои тридцать пять — тридцать шесть лет, а я была беспомощным бесталанным ребенком пятнадцати-шестнадцати лет, и пропасть, разделявшая нас, с самого начала была бездонная. Да, многое, что он делал, кажется не менее предосудительным сейчас, чем было тогда, но все-таки едва ли я все делала правильно. Я не могла спасти брак. Но, возможно, я могла быть умнее и лучше.

Сейчас я живу в доме в Каньон-Лорел и вижу из окон Голливудские Холмы, те самые, что я видела, когда была ребенком. Они не изменились — и коричневый кустарник, и дикие цветы, и пирамидальные эвкалипты, и солнце, которое прячется в глубокой расселине, — все осталось прежним. Повсюду, и на каждом склоне этих холмов, идут автострады. Где-то там постоянный шум и гул напряженного дорожного движения, но здесь тихо и спокойно.

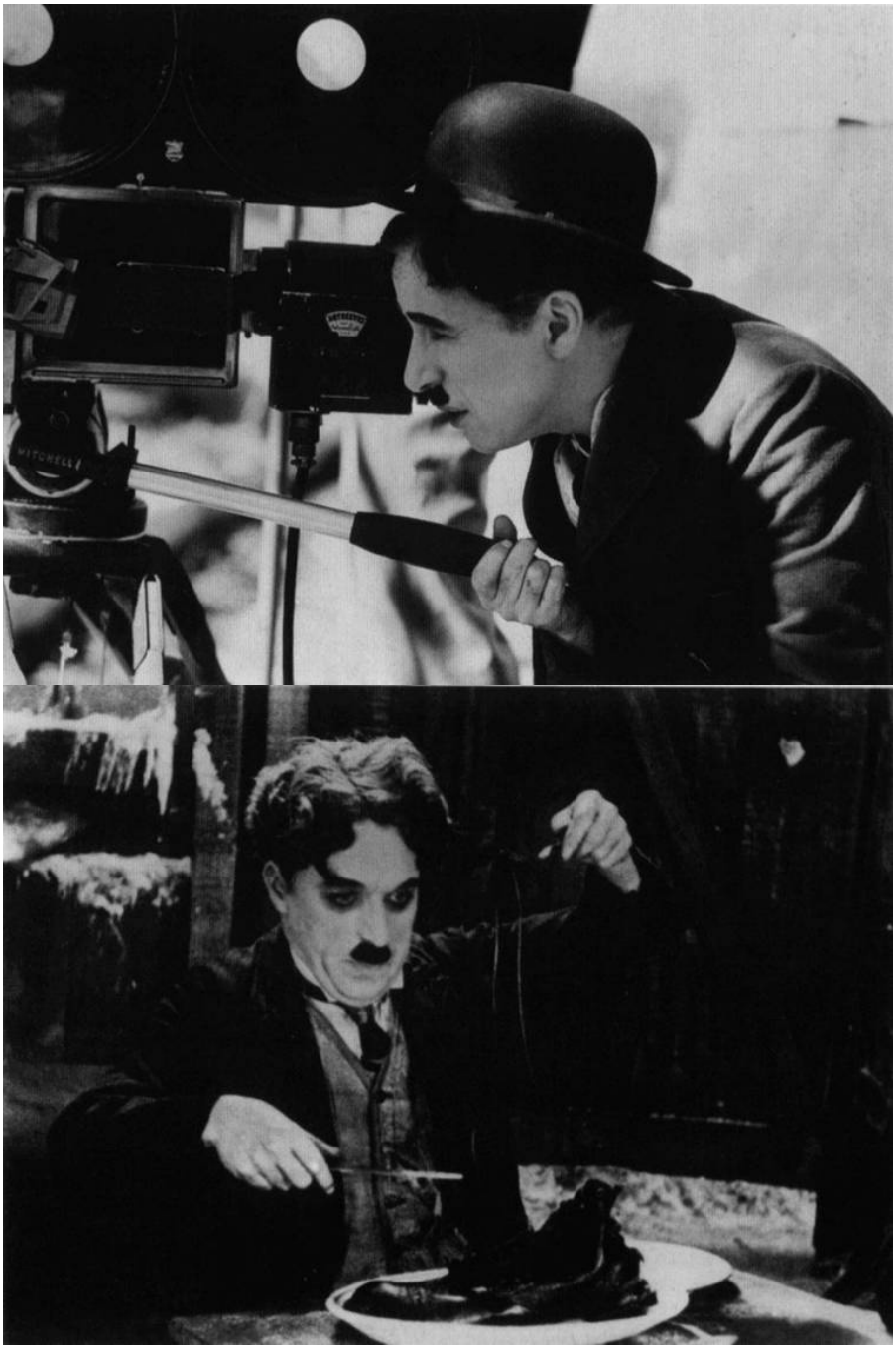
И здесь, хотя я и сожалею о прошлом, я живу настоящим. Я горжусь сыновьями Чарли. Чарли-младший пережил более чем достаточно поражений, как он мужественно признает в своей автобиографии, но его актерское будущее — и блестящее притом — не вызывает сомнений. Сидней успешно работает в театре.

Будучи зрелой, я по-своему стала даже ближе с мамой, которой годы — а она в отличной форме для своих семидесяти — тоже пошли на пользу, сделав ее более зрелой и менее зависимой. Глэдис, замечательная Глэдис, по-прежнему зовет меня Капитаном и по-прежнему распекает меня, если я выхожу в сырую погоду без пальто.

Я дома.

Лита Грей в роли Игривого Ангела

Лита Грей Чаплин



Чарли Чаплин в роли золотоискателя, «поедающего свой башмак»

Чарли Чаплин в фильме «Великий диктатор»

Д. Гриффит, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс и Чарльз Чаплин — создатели компании United Artists

Мэри Пикфорд

Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд

Чарли Чаплин и балерина Анна Павлова

Чарли Чаплин, Мэрион Дэвис и Бернард Шоу

Чарли Чаплин с Литой Грей и писательницей Элинор Глин

Чарли Чаплин с Полой Негри

Рудольф Валентино

Лилиан и Дороти Гиш

Эдна Первиэнс

Джон Берримор и Кэрол Ломбард

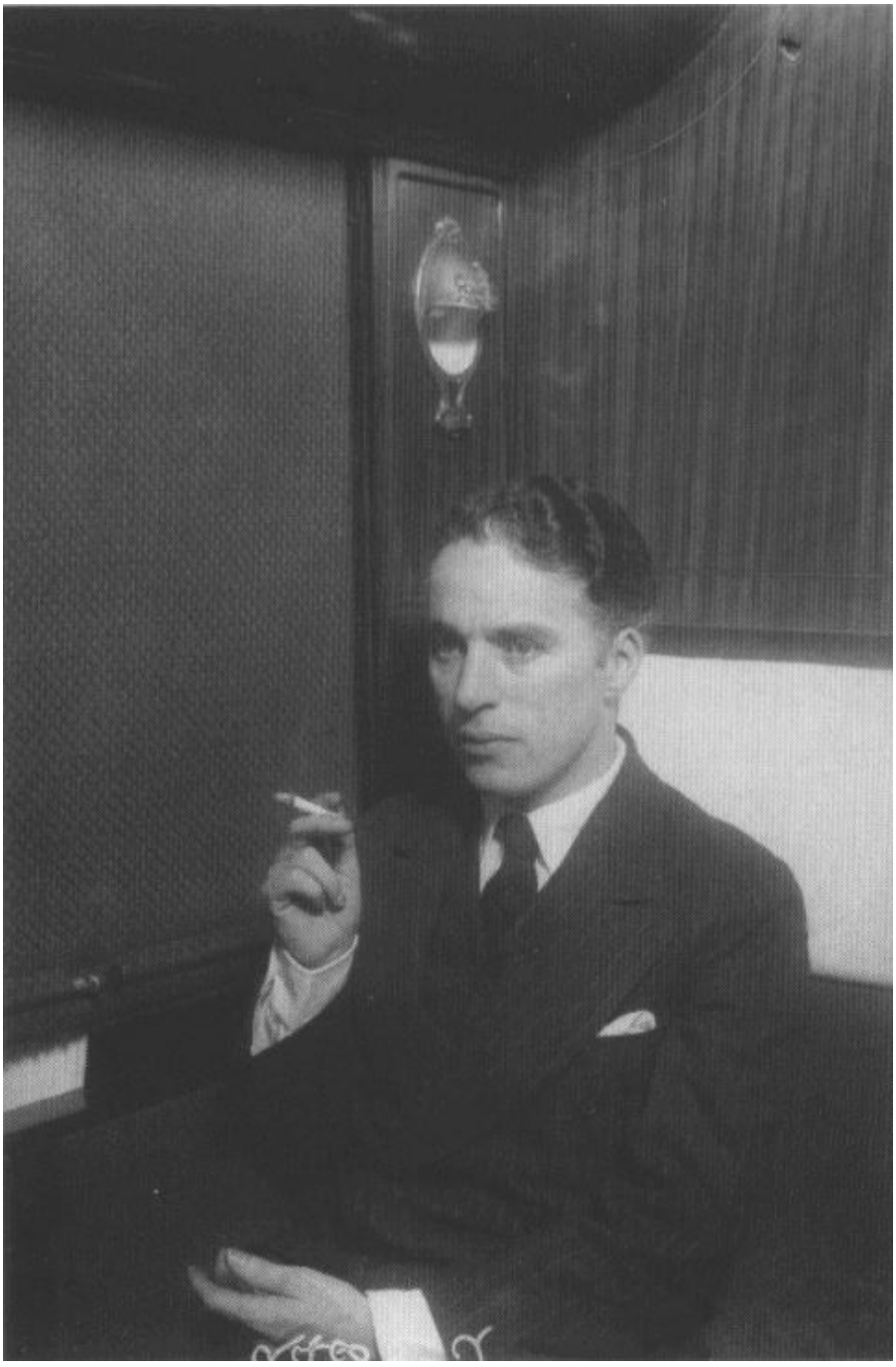
Грета Гарбо и Джон Гилберт

Медиамагнат Уильям Рэндольф Херст и Мэрион Дэвис

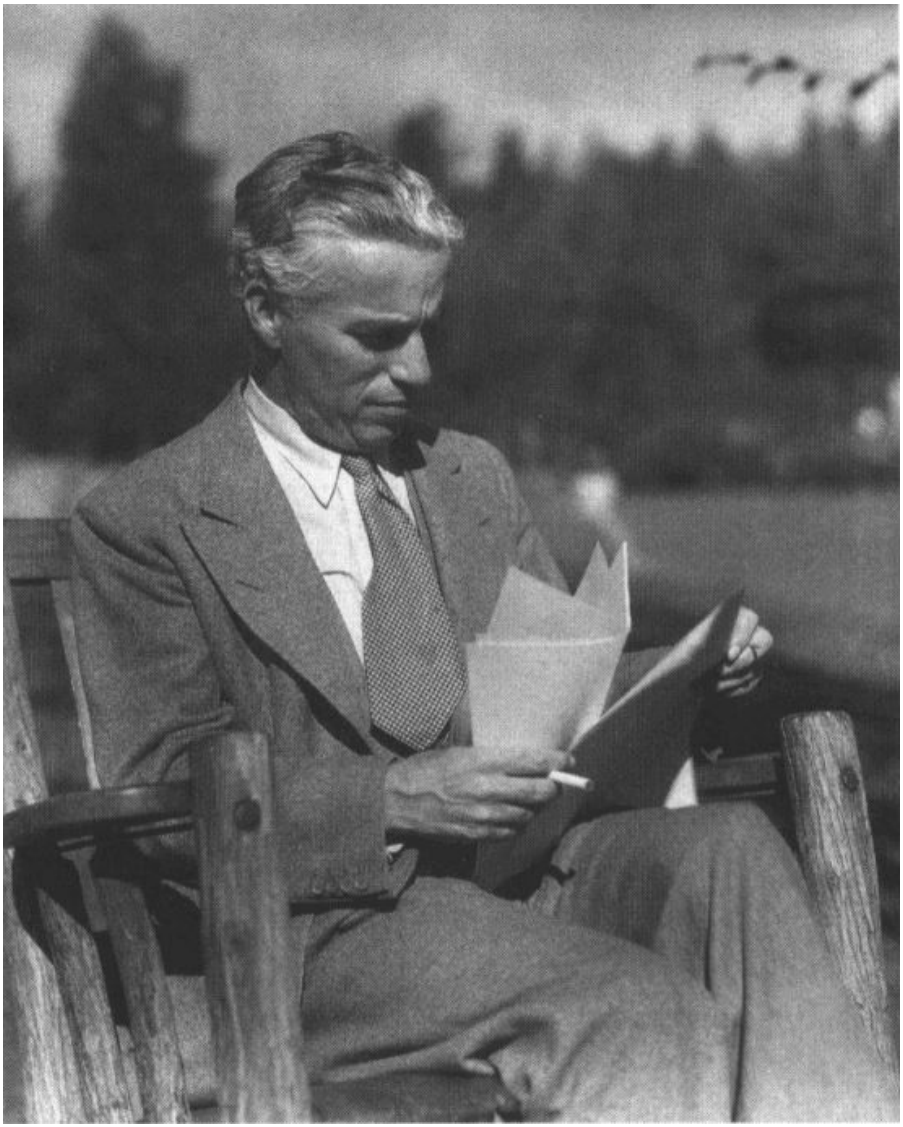
Замок Херста

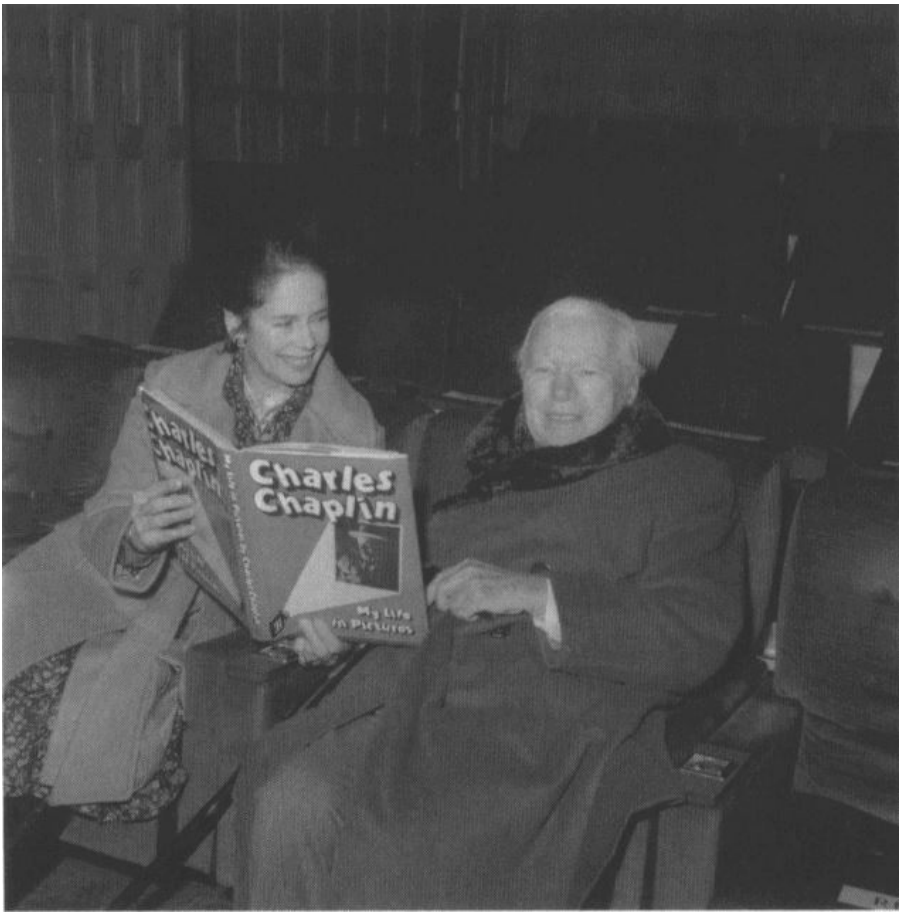
Чарли Чаплин и Полетт Годдар

Знаменитый боксер и возлюбленный Литы Грей — Джордж Карпентер



Чарли Чаплин… в разные годы жизни





С женой Уной О’Нил

Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин и миссис Эйнштейн

notes

Примечания

1

Spic — унизительное название испаноговорящих людей, mick — жаргонное обозначение ирландцев. — Прим. пер.

2

Эта короткая расправа вызвала гнев Чарли, который любил Эдну и желал, чтобы она оставила кино в лучах славы. Она появилась еще в одном фильме (не чаплинском), во французской комедии под названием «Женщина из моря» (Woman of the Sea), а потом по вполне объяснимым причинам исчезла из виду Чарли, однако, сохранил ей зарплату 350 долларов в месяц до самой ее смерти в 1956 году.

3

Название нефтяного месторождения и одноименного политического скандала, связанного с его незаконной передачей. — Прим. пер.

4

Скорее всего, имеется в виду роман Эдит Уортон. — Прим. пер.

5

Прозвище Джона Берримора. — Прим. пер.

6

Цитата из Байрона: «She walks in beauty like the night». — Прим. пер.

Имеется в виду Уильям Рэндольф Херст. — Прим. пер.

8

Известная участница антиалкогольного движения в США. — Прим. пер.